Джордж
Оруэлл

XX век
The BEST

Фунты лиха в Париже и Лондоне
Дорога на Уиган-Пирс



Фунты лиха в Париже и Лондоне. Дорога на Уиган-Пирс

Джордж Оруэлл

Аннотация
Джордж Оруэлл. Фунты лиха в Париже и Лондоне. Дорога на Уиган-Пирс
Фунты Лиха в Париже и Лондоне
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Дорога на Уиган-Пирс
Часть первая
1
2
3

4
5
6
7
Часть вторая
8
9
10
11
12
13

Аннотация

В этот сборник вошли два ранних произведения Оруэлла — первая повесть, документальная, опубликованная им под этим псевдонимом, — «Фунты лиха в Париже и Лондоне», и публицистическая «Дорога на Уиган-Пирс», посвященная жизни англичан в 1930-е годы прошлого века.

«Фунты лиха в Париже и Лондоне» — драматичная и в то же время преисполненная свойственным Оруэллу язвительным юмором автобиографическая история молодого английского интеллектуала, перебивающегося в столицах случайными заработками посудомойщика в ресторанах. Мрачный, блестящий и точный автопортрет одного из типичных представителей европейского «потерянного поколения».

Тот же саркастический пессимизм отличает и публицистическую «Дорогу на Уиган-Пирс», в которой Оруэлл исследует безотрадно-унылое существование представителей как рабочего, так и среднего класса Северной Англии, и размышляет о предпо-

сылках увлеченности его современников из разных слоев общества социалистическими идеями.

Джордж Оруэлл. Фунты лиха в Париже и Лондоне. Дорога на Уиган-Пирс

Фунты Лиха в Париже и Лондоне

О злейший яд, докучливая бедность!
Джефри Чосер

1

Париж, улица дю Кокдор, семь утра. С улицы залп пронзительных бешеных воплей — хозяйка маленькой гостиницы напротив, мадам Монс вылезла на тротуар сделать внушение кому-то из верхних постояльцев. У мадам деревянные сабо на босу ногу, седые волосы растрепаны.

Мадам Монс: «*Sacree Salope!*[1] Сколько твердить, чтоб клопов не давила на обоях? Купила, что ли, мой отель? А за окно, как люди, кидать не можешь? *Espece de trainee*![2]»

Квартирантка с четвертого этажа: «*Va donc, eh! Vieille vache!*»[3]

Следом под стук откинутых оконных рам со всех сторон разнобой ураганом летящих криков, и половина улицы влезает в свару. Рты затыкаются внезапно, когда минут десять спустя народ смолкает, заглядевшись на проезжающий отряд

---

[1] notes: 1

Чертова шлюха! *(фр.)* — Здесь и далее без специальных ссылок примечания переводчика).

[2] notes: 2

Ну и потаскуха! *(фр.)*

[3] notes: 3

Да заткнись, сволочь старая! *(фр.)*

кавалеристов.

Рисую эту сценку лишь с целью как-то передать дух улицы дю Кокдор. Не то что ничего другого тут не случалось, но утро редко проходило без таких взрывов. Атмосфера вечных скандалов, заунывного речитатива лоточников, визга детей, гоняющих ошметок апельсиновой корки по булыжнику, ночного шумного пения и едкой вони мусорных баков.

Улица очень узкая — ущелье в массе громоздящихся, жутковато нависающих кривых облезлых домов, будто застывших при обвале. Сплошь гостиницы, все до крыш набиты постояльцами, в основном арабами, итальянцами, поляками. На первых этажах крохотные «бистро», где шиллинг обеспечивал щедрую выпивку. В субботу вечером примерно треть мужчин квартала перепивалась. Велись сражения из-за женщин; арабские чернорабочие, гнездившиеся по углам самым убогим, выясняли свои таинственные распри с помощью стульев, а подчас и револьверов. Полицейские патрули ночью улицу обходили только парами. Место, что называется, сомнительное. Тем не менее среди грохота и смрада жили также обычные добропорядочные французы: прачки, лавочники, прочие пекари-аптекари, умевшие, сидя по

тихим норкам, скапливать неплохой капиталец. Вполне типичная парижская трущоба.

Моя гостиница называлась «Отелем де Труа Муано» («Трех воробьев»). Ветхий, мрачный пятиэтажный муравейник, мелко порубленный дощатыми перегородками на сорок комнатушек. В номерах грязь вековая, так как горничных не водилось, а мадам Ф., нашей *patronne*[4], подметать было некогда. По хлипким, спичечной толщины стенам многослойно наляпаны розовые обои, предназначенные маскировать щели и, отклеиваясь, давать приют бесчисленным клопам. Их вереницы, днем маршировавшие под потолком будто на строевых учениях, ночами алчно устремлялись вниз, так что часок-другой поспишь и вскочишь, творя лютые массовые казни. Если клопы слишком уж допекли, жжешь серу, изгоняя насекомых за переборку, в ответ на что сосед устраивает серное возжигание в **своем** номере и перегоняет клопов обратно. Жилось тут негигиенично, зато, благодаря славному нраву мадам Ф. и ее супруга, уютно. Стоило житье от тридцати до полусотни франков в неделю.

Состав народонаселения переменчивый, по

---

[4] notes: 4
Хозяйка *(фр.)*.

преимуществу из иностранцев, являвшихся часто без багажа, квартировавших неделю, затем снова исчезавших. Кого тут только не было — сапожники, землекопы, строители, каменотесы, старьевщики, студенты, проститутки. Встречались фантастические бедняки. На одном из чердаков обитал молодой болгарин, шивший элегантную обувь для американских магазинов. С шести утра до полудня сидел на койке, ежедневно изготовляя дюжину пар и зарабатывая этим тридцать пять франков, остальную часть дня слушал профессоров в Сорбонне. Юноша готовился к поприщу богослова, и труды по теологии раскладывались вверх корешками на полу, засыпанном обрезками кожи. В другом номере проживали русская дама с сыном, называвшем себя художником. Пока сынок болтался из кафе в кафе Монпарнаса, мать по шестнадцать часов в сутки штопала: носок за двадцать пять сантимов. Был номер, что сдавался сразу двоим жильцам — служившему днем и работавшему в ночную смену. Был также номер, где на единственной кровати спали вдовец и две его чахоточные взрослые дочери.

Попадались фигуры крайне своеобразные. Парижские трущобы — сборный пункт личностей

эксцентричных, выпавших в особую свою, почти бредовую колею, бросивших даже притворяться нормальными или хотя бы приличными. Нищета избавляет от общих правил так же как деньги от труда. У некоторых из жильцов образ жизни отличался неописуемым чудачеством.

Скажем, чета Ружиер. Парочка старых, лилипутского роста оборванцев занималась весьма курьезным ремеслом. Вообще-то они торговали открытками на бульваре Сен-Мишель. Фокус в том, что открытки продавались наглухо запечатанным пакетом — как порнография, являясь просто видами старинных замков на Луаре. Покупатель это обнаруживал чересчур поздно; жалоб, разумеется, не поступало. Наторговывая недельную сотню франков и соблюдая строгую экономию, Ружиеры умудрялись всегда держать себя в привычном полуголодно-полупьяном равновесии. Зловоние из их каморки шибало в нос уже на предыдущем этаже. По уверению мадам Ф., супруги Ружиеры ни разу за четыре года не раздевались.

Или Анри, работник городской канализации. Угрюмый, долговязый и кудрявый, слегка напоминал романтичного рыцаря в своих высоких болотных сапогах. Странностью Анри было

полное, кроме чисто служебной надобности, безмолвие — молчал буквально целыми днями. Всего лишь год назад хорошо обеспеченный шофер, регулярно пополнявший банковский счет, Анри в один прекрасный день влюбился, натолкнулся на отказ и в бешенстве поддал любимой крепким ударом футболиста. От пинка девушка зажглась безумной страстью, пару недель они прожили вместе, растратив тысячу из кубышки Анри. Затем красотка изменила. Анри всадил ей в руку нож и отправился на полгода за решетку. Пронзенная ножом, девушка полюбила Анри жарче прежнего; размолвка была забыта, молодые люди договорились, что Анри, отсидев срок, купит такси, они поженятся и начнут вить свое гнездо. Но через две недели ветреница вновь изменила, так что ко дню выхода Анри на свободу ждала ребенка. С ножом Анри уж больше не кидался, а снял все свои сбережения и запил, получив в итоге еще месяц тюрьмы, после чего нанялся в службу канализации. Ничто не могло вытянуть из Анри хоть словечко. Спросишь его, почему он решил копаться в городских стоках, ничего не ответит, лишь покажет скрещенные запястья, изображая наручники, и мотнет головой на юг, в сторону тюремных стен. Невезение,

видно, разом отшибло у него мозги.

Или вот англичанин Р., полгода живший с родителями в Патни, другие же полгода во Франции. Французский свой сезон он проводил, каждодневно выпивая четыре литра вина, по субботам — шесть литров; однажды даже совершил вояж к Азорским островам, влекомый необыкновенной для Европы дешевизной тамошних вин. Существо нежное и кроткое, Р. никогда не буянил, не ворчал и ни на миг не трезвел. До середины дня лежал в постели, а затем до полуночи сидел в любимом уголке бистро, тихо и методично набираясь. Накачавшись, тоненьким деликатным голосом вел беседы об антикварной мебели. Кроме меня Р. был единственным в квартале англичанином.

Хватало и других, не менее причудливых персон: месье Жюль, румын, имевший стеклянный глаз, но факт этот категорически отвергавший; лимузенский каменотес Фуре; скряга Руколь, умерший, правда, до моего приезда; Лоран, старик тряпичник, всегда носивший при себе клочок бумаги, с которого перерисовывал свою подпись. Было бы, вообще говоря, заманчиво изложить несколько биографий. Однако я пишу об окружавших меня курьезных типах лишь потому,

что все они часть темы. А тема моего рассказа — бедность, впервые коснувшаяся меня здесь. Здешняя трущоба и диковинные здешние судьбы преподали первый наглядный урок нищеты, положив основание дальнейшим моим упражнениям в этом предмете. Вот почему следует дать некое общее представление о том, что же вокруг творилось.

2

Жизнь нашего квартала. Ну, хотя бы наше бистро при входе в «Отель де Труа Муано». Крохотный полуподвальчик, кирпичный пол, мокрые от вина столики, фотография похорон с надписью *Credit est mort*[5], красные головные платки рабочих, отхватывающих ломти колбасы складными тесаками, пышущее здоровьем лицо мадам Ф., ослепительной крестьянки из Оверни, то и дело глотающей рюмочки малаги «для желудка», перестук костяшек в играх на аперитив и песни про *Les Fraises et les Framboises*[6], про Мадлен, озадаченную *Comment epouser un soldat, moi qui aime tout le regiment?*[7], и чрезвычайно откровенная демонстрация нежных чувств. Чуть ли не вся гостиница сходилась вечерами в нашем бистро; думаю, трудновато найти лондонский паб, где бы хоть в четверть так веселились.

---

[5] notes: 5
Кредит скончался *(фр.)*.

[6] notes: 6
Земляники и малинки *(фр.)*.

[7] notes: 7
Как пойти замуж за солдата, если люблю я целый полк? *(фр.)*

Речи порой звучали странные. Как пример, приведу монолог малыша Шарля, одного из местных чудаков.

Чтобы представить этого высокообразованного отпрыска благородного семейства, который, сбежав от родных, ныне существовал на получаемые изредка денежные переводы, вообразите пупсика с тугими розовыми щечками, шелком каштановых волос и вишенками ярко красных влажных губ. Ножки у него малюсенькие, ручки неправдоподобно коротки, на пальцах младенческие ямочки; говорит, пританцовывая, как бы не в силах обуздать шаловливую резвость. И вот три часа дня, и в бистро никого кроме мадам Ф. да парочки безработных, но перед кем выступать, Шарлю все равно, ведь есть возможность поразглагольствовать о собственной персоне. Витийствует подобно оратору на баррикаде, звучно модулируя фразы и патетично взмахивая руками. Поросячьи глазки возбужденно блестят, смотреть на него слегка муторно.

Любимый сюжет рассуждений Шарля — любовь.

«*Ah, l'amour, l'amour! Ah, que les femmes m'ont*

tue![8] Да, *messieurs et dames*[9], женщины меня сгубили, сгубили окончательно и безнадежно. В двадцать два года изнурен, истощен до капли... Но какие тайны открылись мне, в какие бездны я заглянул! Это ли не триумф — обрести высочайшую мудрость, постичь сокровенный смысл бытия, бытия человека поистине *raffine, vicieux*[10]...

...*Messieurs et dames*, вам грустно, о, конечно. *Ah, mais la vie est belle*[11] — я умоляю вас, оставьте грусть и устремитесь к радости!

Наполним же кубки самосским вином,

Забудем о наших печалях!

Ах, как прекрасна жизнь! Слушайте, дамы и господа! Я, столь многое познавший, раскрою, объясню вам сущность любви. Я покажу вам, что есть подлинная любовь, подлинная утонченность любовной страсти, высшее из наслаждений, доступное лишь посвященным. Я расскажу вам о счастливейшем дне моей жизни. Увы, минули

---

[8] notes: 8
Ах, любовь, любовь! Ах, это женщины меня сгубили! *(фр.)*

[9] notes: 9
Дамы и господа *(фр.)*.

[10] notes: 10
Утонченным, порочным *(фр.)*.

[11] notes: 11
Но жизнь прекрасна *(фр.)*.

времена, когда я упивался таким блаженством. Оно навек покинуло меня — и чувство, и даже желание его канули безвозвратно.

Слушайте же, господа. Это случилось два года тому назад; мой брат — он, кстати, адвокат — наведался в Париж, имея от семьи поручение разыскать меня и пригласить на ужин. Мы с братом ненавидели друг друга, но всегда соблюдали должное почтение к воле родителей. И мы отправились в ресторан, где после третьей бутылки бордо братец изрядно захмелел. Доставив его к нему в отель и купив по дороге бренди, я заставил единоутробного выпить целый стакан — уговорил, что это замечательно трезвит. Он выпил, тотчас рухнув словно бездыханный, мертвецки пьяный. Я подхватил тело, оттащил, привалил спиной к кровати, затем исследовал карманы. Тысяча сто франков! Оставалось поторопиться вниз, схватить такси и умчаться. Адреса моего братец не знал — безопасность гарантировалась.

Куда идет мужчина с тугим бумажником? Естественно, в бордель. Вы не предполагаете, конечно, что меня соблазнял какой-нибудь пошлый разврат, услада чумазых рыл? Перед вами, черт возьми, не дикарь! С тысячей франков, как вы понимаете, можно дать волю прихотям самым

утонченным. Только в полночь нашлось наконец нечто подходящее. Вдали от бульваров я свел знакомство с очень изысканным юношей лет восемнадцати — смокинг, стрижка *a l'americaine*[12], — мы разговорились в тихом бистро, обнаружили сходство вкусов, поболтали о том, о сем, о способах развлечься. Вскоре взяли автомобиль и поехали.

Такси остановилось возле узкой безлюдной улочки. Мерцало пятно единственного фонаря, на выщербленной мостовой чернели лужи, по одной стороне тянулась глухая монастырская стена. Мой гид подвел меня к высокой развалюхе с темными окнами и постучал. Послышались шаги, задвижка лязгнула, дверь приоткрылась. Вылезла рука — огромная кривая лапа с жадно загнутой прямо перед нашими лицами ладонью.

Гид мой, поставив ногу в дверную щель, спросил: «Сколько?». «Тысячу, — прохрипел женский голос. — Деньги вперед, иначе ходу нет».

Я вложил тысячу франков в хищную лапу, а остальные сто отдал милому юноше, который пожелал мне приятной ночи и удалился. Слышно было, как за дверью бормочут, считая купюры,

---

[12] notes: 12
Под американца *(фр.)*.

затем тощая старая ворона, вся в черном, высунув нос, долго и подозрительно меня разглядывала прежде чем впустить. Внутри темно, не видно ничего кроме трепещущего газового огонька, ярким отсветом на стене только сгущавшего окружающий мрак. Пахло пылью и крысами. Старуха, молча запалив свечку от рожка, так же молча заковыляла впереди по каменному коридору к лестнице.

«*Voila!*[13] — проговорила она. — Спускайтесь в подвал и делайте что хотите. Ничего не увижу, не услышу и ничего не буду знать. У вас свобода, ясно? Полная свобода».

Ах, господа, надо ли описывать — *forcement*[14], вы и сами это изведали — эту дрожь ужаса и восторга, пронзающую человека в подобные мгновения? Ощупью я стал пробираться вниз; тихо, ни звука, только шелест собственного дыхания и шорох своих шагов. На нижней лестничной площадке под рукой обнаружился электрический выключатель. Я нажал кнопку, и массивная гроздь из дюжины стеклянных красных шаров залила весь подвал багровым светом. И не подвал

---

[13] notes: 13
Ну вот! *(фр.)*

[14] notes: 14
Неизбежно *(фр.)*.

предстал передо мной, а спальня — огромная, вызывающе роскошная спальня, полная до краев оттенками багрянца. Вообразите только, *messieurs et dames*! Красный ковер на полу, красные обои, красный плюш кресел и даже потолок красный везде горящее, бьющее в глаза красное. Душное красное, будто светящееся сквозь хрустальные чаши крови. В глубине помещения гигантская квадратная кровать с красным, как и все остальное, покрывалом; на постели девица в красном бархатном платье. При виде меня она сжалась, попытавшись закрыть колени коротенькой юбчонкой.

Я замер в дверях. Позвал: «Иди же ко мне, цыпочка».

Она испуганно захныкала. Тогда одним прыжком я на кровати; девица вертелась, отворачивалась, но я схватил ее за горло — вот так, накрепко! Она билась и молила о пощаде, но я не ослаблял железной хватки, упорно запрокидывая ей голову и неотрывно глядя в глаза. На вид ей было лет двадцать; широкое коровье лицо напудрено и нарумянено, но все еще лицо глупой девчонки, и в глупых голубых глазенках вместе с бликами красной люстры бился тот сумасшедший страх, узреть который нам дано лишь во взглядах по-

добных женских существ. Несомненно, какая-то крестьянка, проданная родителями в рабство.

Без единого слова я, резко дернув, скинул ее на пол. И набросился на нее как тигр! Ах, восторг, несравненные радости былого! Вот, *messieurs et dames*, что я взялся вам изъяснить, — *voila l'amoure!* Вот любовь подлинная, вот единственно достойный объект стремлений, вот то, рядом с чем все ваши искусства, идеалы, взгляды, теории, благородные позы, возвышенные речи бесцветны и бесплотны словно пепел. Какое из земных сокровищ окажется для человека, познавшего любовь — истинную любовь, — выше хотя бы тени, призрака этого восторга?

Снова и снова повторял я свои все более свирепые атаки, опять и опять девица пыталась спастись. Она взмолилась о пощаде, но в ответ прозвучал мой хохот. «Пощадить? — рассмеялся я. — По-твоему, я здесь для этого? За это, по-твоему, брошена тысяча франков?» И клянусь, господа, если бы не цепи проклятого закона, я бы ее тогда угробил.

Ах, как она кричала, с какой отчаянной, горчайшей мукой! Но никто не услышал — под парижскими мостовыми мы были скрыты подобно фараонам в их пирамидах. Слезы ручьем

текли по девичьим щекам, размывая пудру длинными грязными канавками. О, золотые дни! Вам, *messieurs et dames*, вам, не изощрившим любовный пыл, трудно и почти невозможно оценить сладость моего наслаждения. Да и сам я, простившись с юностью, о, моя юность! никогда уже не смогу вкусить жизни столь восхитительной. Кончено!

Да, все в прошлом — в невозвратном прошлом. Ах, скудость, краткость, тщетность человеческой радости! Ибо на самом деле — *car en realite* — сколько же длится высочайшее воспарение любви? Нисколько: миг, мгновение, секунду. Секунда блаженного экстаза, вслед за которой прах и пустота.

Итак, всего на миг я взмыл к вершине счастья, затрепетал чувством острейшим и тончайшим из всех возможных... И тут же мгновение пронеслось, а я, покинутый, остался — но зачем? Вся моя страсть, моя свирепость вдруг исчезли, осыпались сухими лепестками увядшей розы. А я остался, безразличный, истомленный, полный напрасных сожалений; в этой внезапной перемене чувств я испытал даже некую жалость к хнычущей на полу девице. Не гнусно ли, что нас подстерегают ловушки столь пошлых эмоций? На

девчонку я больше не взглянул, единственным желанием было скорей убраться. Поспешив вверх по ступеням, я выбежал из дома. Тьма и жуткий холод, камни булыжника вторили стуку моих каблуков глухим пустынным звоном. Деньги все разлетелись, не нашлось даже мелочи на такси, и я пешком добирался обратно, в свою холодную одинокую келью.

Вот, *messieurs et dames*, то, о чем обещал я вам поведать. О сущности Любви. О лучшем, счастливейшем дне моей жизни».

Специфическим экземпляром был этот малыш Шарль. Описываю я его исключительно ради иллюстрации пестроты нравов, расцветавших на почве квартала Кокдор.

3

Мое житье-бытье на улице Кокдор длилось примерно года полтора. В один прекрасный летний день я обнаружил себя исчерпавшим финансовый запас до жалких четырех с половиной сотен и не имеющим сверх того ничего кроме тридцати шести франков в неделю за уроки английского. Прежде о будущем не думалось, но тут уж стало ясно, что надо срочно что-то предпринимать. Решив начать подыскивать работу, я первым делом — очень мудро, как оказалось, — авансом отдал двести франков в счет оплаты своего номера еще на месяц. Оставшихся денег плюс гонораров от учеников вполне хватало прожить этот месяц, в течение которого место наверное бы отыскалось. Я намеревался сделаться гидом или, может, переводчиком какой-нибудь из туристических компаний. Увы, злой рок нанес опережающий удар.

В гостиницу явился молодой итальянец, представился наборщиком, хотя выглядел несколько сомнительно, так как длинные баки вдоль щек — цеховой знак занятий либо криминальных, либо сугубо умственных — никак не позволя-

ли определить разряд клиента. Обеспокоенная двусмысленным впечатлением, мадам Ф. строго попросила деньги вперед. Итальянец заплатил, поселившись на неделю. За эти дни он успел изготовить копии нескольких ключей и в ночь перед исчезновением обчистил дюжину комнат, включая и мою. Хорошо еще, вор не вытряхнул все из карманов, я мог бы остаться вовсе без гроша. Остался с капиталом в сорок семь франков (семь шиллингов, десять пенсов).

Планы искать работу рухнули. Нужно было научиться жить на шесть франков в день, а это поначалу не позволяет слишком отвлекаться. Тогда и начался мой личный опыт убогой бедности, ибо шесть франков в день если не пропасть нищеты, то вполне ощутимое вступление в ее пределы. Шесть франков — шиллинг, с этой малостью знающий человек в Париже держится. Но дело хитрое.

Вообще, интересно — первые собственные ощущения бедняка. Предчувствовал, что рано или поздно это настигнет, ждал, робел, готовился, столько раз представлял, а в реальности все неожиданно. Думалось, простота — нет, поразительные сложности. Думалось, кошмар — нет, унылая серая скука. И та особая, чисто бедняц-

кая **жалкость**, которую для себя открываешь, поневоле учась всяческим мизерным уловкам, крохоборству.

Открываешь еще одну непременную спутницу нищеты — потаенность. Внезапно сброшенный на уровень шести франков в день, признаться в этом, разумеется, стыдишься, пыжишься притворяться, что все по-прежнему. Изворачиваешься враньем, оплетающим по рукам и ногам и плоховато помогающим. Перестаешь, например, отдавать белье в стирку, а на вопрос поймавшей тебя у подъезда прачки невразумительно бормочешь, и прачка, убежденная, что ты переметнулся к ее конкурентке, с этого дня твой вечный враг. Хозяин табачной лавки неотвязно интересуется, отчего ты стал меньше курить. Скапливаются письма, на которые хотел бы, да не можешь ответить, так как слишком дороги марки. И потом стол — пожалуй, гнуснейшая проблема. На время каждой трапезы уходишь якобы в ресторан и слоняешься, созерцая голубей Люксембургского сада. Провизию затем тащишь к себе тайком, в карманах. Питаешься хлебом с маргарином или же хлебом с вином, причем даже сорт продуктов определяется общим враньем. Хлеб вместо серого ты должен покупать ржаной, поскольку он

хоть и дороже, зато круглый, то есть удобнее для контрабандной карманной доставки. На хлеб по франку в день. Иногда ради соблюдения декора приходится выпить стаканчик — соответственно нехватка пищи на шестьдесят сантимов. Белье становится ужасным, кончаются мыло и бритвы. Необходимо подстригаться, результат самостоятельных попыток столь дик, что бежишь к парикмахеру, возвращая достаточно приличный вид ценой дневного рациона. С утра до вечера ложь, и дается она недешево.

Выясняется крайняя ненадежность шести франков в день. Подлые бедствия то и дело лишают пропитания. Истратив последние восемьдесят сантимов на кружку молока, кипятишь его над спиртовкой, во время этой процедуры замечаешь ползущего по рукаву клопа, щелкаешь ногтем — хоп! насекомое падает прямо в молоко. Ничего не поделать: молоко выплескиваешь, сидишь голодным.

Идешь в булочную купить фунт хлеба, ждешь, пока впереди отпускают тоже фунт. Но небрежная продавщица отрезает чуть больше: «*Pardon, monsieur*», — щебечет она, — не возражаете побольше на два су?». Хлеб по франку за фунт, в кармане ровно франк. Представив, что и тебе

вдруг предложат доплатить два су, вынудив сознаться в их отсутствии, спасаешься паническим бегством. Лишь многие часы спустя отважишься снова зайти сюда за хлебом.

Решаешь франк потратить на килограмм картофеля, но одна из монет оказывается бельгийской и зеленщик ее бракует. Выскальзываешь из лавки с тем чтобы уже никогда там не появляться.

Забредаешь в респектабельный квартал, видишь идущего навстречу приятеля и, скрываясь, ныряешь в ближайшее кафе. В кафе, однако, надо что-нибудь заказать, так что последние полфранка дарят тебе чашечку кофе с плавающей сверху дохлой мухой. И череда подобных бедствий бесконечна, являясь частью берущей за горло нужды.

Открываешь, что такое — быть голодным. С комком хлеба и маргарина на дне желудка ходишь, глазеешь на витрины. Везде еда, гигантские, оскорбительно расточительные груды: свиные туши, корзины горячих булок, пирамиды желтых плит масла, связки колбас, горы картофеля, огромные, как точильные камни, швейцарские сыры. От вида всей этой массы съестного переполняешься сопливой жалостью к себе. Роятся планы схватить батон и сожрать на бегу, до того как поймают; не решаешься исклю-

чительно из трусости.

Открываешь неотделимую от бедности хандру; тянутся дни, когда дел никаких, а сам ты, вялый, недокормленный, ко всему безразличен. Полдня валяешься в кровати, ощущая себя истинным бодлеровским *jeune squelette*[15]; возродить «кости, изнывшие от пыток» могла бы лишь еда. Экспериментально устанавливаешь, что после недели на хлебе и маргарине мужчина больше не мужчина, только брюхо с какими-то деталями.

Вот она — описывать можно и дальше, но суть та же, — жизнь на шесть франков в день. И многие в Париже так существуют: упорные художники и студенты, проститутки в полосе невезения, всяческий безработный люд. Жители целого своего округа, предместья нищих.

Я осваивал этот стиль бытования около трех недель. Сорок семь франков быстро испарились, пришлось выкручиваться на те тридцать шесть в неделю, что приносили уроки английского. С деньгами по неопытности я управлялся плохо, иногда обрекая себя на абсолютно голодный день. Тогда продавал что-нибудь из вещей: украдкой выносил в пакетах и тащил в скупку на улицу

[15] notes: 15

«Молодым скелетом» *(фр.)*. Из стихотворения Ш. Бодлера «Веселый мертвец» (Шарль Бодлер. Цветы зла. Перевод Эллис. Л., 1970, с. 109).

Монтань Сент-Женивьев. Скупщиком там был рыжий еврей, наглейший хам, впадавший при виде клиентов в ярость, будто наши визиты его разоряли. «*Merde!*[16] — кричал он. — **Опять** явился? Тебе что тут? Бесплатный суп?». Платил он немыслимо мало. За шляпу, стоившую мне двадцать пять шиллингов, почти не ношеную, бросил пять франков, пять дал за прекрасные ботинки, за рубашки кидал по франку. Всегда норовил не купить, а обменять, пихнув тебе какой-то хлам и прикинувшись, будто сделка состоялась. Однажды на моих глазах, взяв у старухи еще вполне приличное пальто, сунул ей в руку два белых бильярдных шарика и мигом вытолкал, не дав опомниться. Приятно было бы разбить мерзавцу нос, если бы это было по карману.

Трехнедельные тяготы и страхи обещали несомненное ухудшение: надвигался срок платы за гостиницу. Однако стало вовсе не так плохо, как представлялось. На подступах к нищете делаешь среди прочих открытие, которое уравновешивает много других. Узнаешь и хандру, и жалкие хитрости, и голод, но вместе с тем и величайшее спасительное свойство бедности — будущее исче-

[16] notes: 16

Буквально — «дерьмо!» *(фр.)*; популярное ругательство в значении «черт!», «черт бы побрал!».

зает. В определенном смысле, действительно чем меньше денег, тем меньше тревог. Единственная сотня франков повергает в отчаянное малодушие; единственные три франка не нарушают общей апатии: сегодня три франка тебя прокормят, а завтра это слишком далеко. Маешься тоской, но не боишься. Смутно раздумываешь: «Через пару дней придется просто голодать — кошмар ведь?». И рассеянная мысль тускнеет, уползает куда-то в сторону. Хлебно-маргариновая диета неплохо, надо сказать, лечит нервы.

И еще одно чувство, дарующее в нищете великое утешение. Думаю, каждому, кто узнал почем фунт этого лиха, оно знакомо. Чувство облегчения, почти удовлетворения от того, что ты наконец на самом дне. Часто говорил себе, что докатишься, ну вот и докатился, и ничего, стоишь. Это прибавляет мужества.

4

Мое преподавание английского внезапно завершилось. Наплывал зной, и один желторотый ленивец, изнемогая над грамматикой, меня уволил. Другой питомец, не предупредив, куда-то переехал, оставшись должным мне двенадцать франков. Я оказался с тридцатью сантимами и без крошки табака. Полтора дня я не ел, не курил, а затем, призванный голоданием к решительности, сложил наличное имущество для срочной сдачи в ломбард. Так наступил конец лжи о благополучии, ведь вынести чемодан из гостиницы без разрешения мадам Ф. я не мог. Помню, однако, ее удивление, когда я обратился к ней с просьбой вместо того чтобы вытащить вещи тайком, популярнейшим трюком нашего квартала было «смыться по-тихому».

Первый раз я увидел французский ломбард. Через величественный каменный портал (естественно, со скрижалью «*Liberte, Egatite, Fraternite*»[17] такой-то, на пятьдесят франков?». Иногда предлагают всего пятнадцать фран-

[17] notes: 17
«Свобода, Равенство, Братство» *(фр.)*.

ков, даже десять, даже пять — сколько бы ни назначалось, слышит это вся комната. Когда я появился, клерк с оскорбленным выражением лица крикнул: «*Numero* 83, сюда!» и, мотнув головой, присвистнул, словно подзывая пса. *Numero* 83, бородатый старик в застегнутом до горла пальто и с бахромой на брюках, пошел к прилавку. Клерк молча швырнул ему узел, не стоивший, по-видимому, ничего. Узел упал на пол и развернулся, продемонстрировав четыре пары теплых кальсон. Грянул общий невольный смех. Бедняга *Numero* 83, подобрав кальсоны и бормоча что-то, поплелся прочь.

Вещи, которые я отдавал вместе с чемоданом, стоили при покупке более двадцати фунтов и были в хорошем состоянии. Предполагая, что цена им фунтов десять и дадут четверть (ждешь в ломбарде обычно четверть цены), стало быть франков триста, я не тревожился. Ну, в худшем случае получу двести.

Наконец прозвучал мой номер: *Numero*[18] 97!

— Да, — поднялся я.

— Семьдесят франков?

Семьдесят франков за вещи стоимостью десять

---

[18] notes: 18
Номер *(фр.)*.

фунтов! Но спорить не приходилось; некто пытался возражать, и заклад его тотчас был отвергнут. Взяв деньги и квитанцию, я вышел. Одежды у меня осталось лишь то, что было на мне (пиджак с почти протертыми локтями, пальто, которое еще годилось для ломбарда), и одна сменная рубашка. Позднее, к сожалению слишком поздно, я узнал, что не стоит посещать ломбард с утра. Французские конторщики, как вообще большинство французов, до обеда в дурном расположении духа.

Завидев меня, убиравшая бистро мадам Ф. бросила швабру и поспешила мне навстречу. В глазах заметная тревога насчет квартирной платы:

— Ну как? Сколько вам дали за все вещи? Что, маловато?

— Двести франков, — быстро проговорил я.

– *Tiens!*[19] — вскинула брови мадам Ф. — Совсем, **совсем** неплохо. Дорога уж, видно, эта английская одежда!

Ложь избавила от весьма неприятных объяснений и, как ни странно, подтвердилась. Спустя несколько дней мне заплатили ровно двести франков, давно обещанные за газетную статью. С

---

[19] notes: 19
Вот как! *(фр.)*

болью, однако же немедленно и до сантима весь гонорар я отдал в счет дальнейших недель у мадам Ф. Так что, хотя жить пришлось впроголодь, все-таки была крыша над головой.

Найти работу стало совершенно необходимо, и тут мне вспомнился один русский приятель, официант по имени Борис, который, вероятно, мог бы помочь. Мы познакомились в палате муниципальной клиники, где мне лечили артрит левого колена; Борис тогда приглашал заходить в случае любых затруднений.

Оригинальную личность Бориса, долгое время ближайшего моего сотоварища, надо вкратце обрисовать. Это был крупный, явной военной стати красавец лет тридцати пяти, правда, из-за болезни, от длительного постельного режима чудовищно растолстевший. Как у всех русских беженцев, за плечами жизнь, полная приключений. Родители, расстрелянные в Революцию, были из богачей, сам Борис всю войну прослужил офицером Второго сибирского полка, лучшего, по его словам, отряда российской армии. В эмиграции работал сначала на фабрике по производству щеток, затем рыночным грузчиком, потом мойщиком посуды и дорос, наконец, до официанта. Заболел он, когда служил в «Отеле Скриб», имея

в день по сотне франков чаевых. Мечтой Бориса было стать метрдотелем, накопить пятьдесят тысяч и завести аристократический ресторанчик на Правом берегу.

О войне Борис вспоминал как о счастливейших временах. Война и армия являлись его страстью. Прочтя бесчисленные сочинения по военной истории, он мог в тонкостях разобрать детали тактики и стратегии Наполеона, Кутузова, Клаузевица, Мольтке и Фоша. Все связанное с армией радовало его сердце. «Клозери де Лила» сделалось его любимым парижским кафе лишь потому, что рядом стоял памятник маршалу Нею. Когда нам с ним случалось вместе добираться до улицы Коммерс, то, если мы ехали на метро, он непременно выходил не на ближайшей станции «Коммерс», а на «Камброн», столь сладостно напоминавшей ему доблесть генерала Камброна, который в битве под Ватерлоо на предложение сдаться ответил кратким *Merde!*

Революция оставила Борису только его медали и пакет полковых фотографий — их он сохранил даже тогда, когда буквально все ушло в ломбард. Чуть ли не каждый день снимки раскладывались на кровати и комментировались:

– *Voila, mon ami!*[20] Вот взгляни-ка, это я во главе моей роты. Молодцы ребята, богатыри, а? Не то что крысята-французики. В двадцать лет капитан — неплохо? Да, капитан Второго сибирского, а отец-то был полковником.

Ah, mais, mon ami[21], жизнь это взлеты и падения! Капитан русской армии и вдруг, бац! революция — все прахом, ни гроша. В шестнадцатом году неделю снимал люкс в «Отеле Эдуард VII», в двадцатом туда попросился ночным сторожем. Побывал сторожем, уборщиком, кладовщиком, плонжером[22] и смотрителем клозета. И сам давал лакеям чаевые, и принимал с поклоном.

Эх, однако знавал я что такое жить джентльменом, *mon ami*. Не ради хвастовства скажу, на днях пробовал вспомнить, сколько любовниц у меня было, и вышло больше двухсот. Да, за двести точно... Эх, ладно, *ca reviendra*[23]. Победа с тем, кто не сдается! Выше нос!...»

---

[20] notes: 20
Вот, мой друг! *(фр.)*

[21] notes: 21
Ну что же, друг мой *(фр.)*.

[22] notes: 22
От французского *plongeur* — мойщик посуды (в ресторане).

[23] notes: 23
Еще поживем! *(фр.)*

Натура Бориса поражала странной двойственностью. Он постоянно тосковал о доблестной армейской службе, но в то же время, потрудившись официантом, вполне усвоил соответственные идеалы. Хотя никогда не умел накопить даже тысячи франков, свято верил в возможность завести собственный ресторан и разбогатеть. Все официанты, как я потом обнаружил, так думают и говорят, это их примиряет со своим лакейским положением. Борис охотно, ярко рассказывал о работе в отелях.

«Обслуживать гостей — играть в рулетку, — повторял он. — Можешь умереть нищим, можешь за год сколотить капитал. Жалование тебе не платят, только на чаевых — десять процентов к счету да еще пробки сдашь, комиссионные возьмешь с винных компаний. Места есть, где такие чаевые! Бармен в «Максиме», например, за смену имеет пятьсот франков. А в сезон так и больше... Я сам, бывали дни, по двести набирал — это в Биаррице, в самый разгар. Все там тогда, от менеджера до последнего плонжера, вертелись двадцать часов в сутки; месяц подряд двадцать часов носишься, часика три поспишь и снова. Так ведь уж стоило того — две сотни в день...

...Не знаешь никогда, откуда вдруг удача тебе

блеснет. Вот как-то, я тогда работал в «Руайаль», один американец перед ужином зовет, велит подать пару дюжин коктейлей с бренди. Я ему на подносе приношу все двадцать четыре стакана. «А ну, гарсон, — говорит мне клиент (пьяный в дым), — я сейчас пью дюжину и ты дюжину, и если сразу выпьешь, а потом дойдешь до двери, получишь от меня сто франков». Я дошел — он дал сотню. И неделю каждый вечер я тот же фортель исполнял: дюжина коктейлей в глотку, сто франков в руку. Потом, к зиме уже, слух прошел, будто моего клиента под суд за океан отправили — растратчик. Что-то в них все-таки есть милое, в этих американцах, разве нет?

Борис мне нравился, и мы прекрасно проводили время, играя в шахматы, беседуя о героизме и чаевых. Борис советовал мне пойти в официанты. «Поживешь наконец по-человечески, — уговаривал он. — Когда имеешь место, сотню в день и симпатичную подружку, так очень славно. К писательству, говоришь, тянет? Сочинять это трепотня. Писателю один путь в люди выйти — жениться на дочке издателя. А вот официант из тебя получился бы отменный, только усы сбрить. У тебя главное, что нужно официанту, — ростом высок и по-английски говоришь. Лишь бы вот

чертова моя нога стала сгибаться! Ты, *mon ami*, если совсем прижмет, сразу ко мне — устрою запросто».

Не представляя, чем буду питаться, чем платить за жилье, я вспомнил приглашение Бориса и решил навестить его немедленно. Вряд ли меня так просто, как он обещал, возьмут официантом, но мыть посуду я наверное сгожусь, эту работу он, конечно, раздобудет. Летом, говорил мне Борис, найти место плонжера — только спросить. Было великим облегчением вспомнить, что есть хотя бы один дельный друг, способный оказать покровительство.

5

Незадолго до этого Борис прислал записку, где значился его адрес на улице Марше де Блан Манто. Лаконичный текст извещал лишь о том, что «все более-менее нормально» — следовало полагать, мой приятель снова в «Отеле Скриб», вновь ежедневно набирает свои сто франков. Воспрянув духом и кляня себя за глупость, я недоумевал, почему раньше не сообразил пойти к Борису. Мне уже виделся уютный ресторан с румяными поварами, жарящими шипящие омлеты под веселые песенки о любви, уже представлялись роскошные пятиразовые трапезы. Я даже промотал два с половиной франка на пачку сигарет «Голуаз» в предвкушении скорого благоденствия.

Утром я разыскал улицу Марше де Блан Манто, с некоторым шоком обнаружив, что это трущоба вроде моей. Гостиница Бориса была кромешнейшей местной дырой. Из тьмы подъезда несло мерзкой кислятиной, смесью помоев и порошкового супа — известного «Бульона Зип», двадцать пять сантимов пакетик. Сердце слегка екнуло: употребляющие «Бульон Зип» либо голодают, либо на грани голода. Возможно ли, что у Бориса

сто франков в день? Сидевший у входа хозяин хмуро ответил мне, что русский дома, «на самый верх». По узкой винтовой лестнице я полез на шестой этаж, с каждым пролетом запах «Бульона Зип» крепчал. Борис не отозвался на мой стук, я толкнул дверь и вошел.

Чердачная комнатушка метров девять, свет через тусклое оконце в потолке, меблировка — железная койка без тюфяка, стул, кособокий умывальник. Длинная цепь клопов плавным зигзагом медленно струилась по стене над постелью. Борис спал, живот круглым высоким холмом вздымал грязную простыню, голая грудь пестрела укусами насекомых. При моем появлении он проснулся, протер глаза и глухо застонал:

— Черт бы его! Ох, черт, спина проклятая! Ей-богу, напрочь спина переломана!

— Что случилось? — кинулся я.

— Да спина вдребезги, вот что! На полу валялся всю ночь. Ох, дьявол, боль в спине — тебе не передать!

— Борис, мой дорогой, ты заболел?

— Не заболел, только оголодал до смерти — сдохну с голода, если вот так и дальше. Мало того что на полу спи, я которую неделю с двумя франками в день. Кошмар! В тяжкую пору застал

ты меня, *mon ami*.

Не стоило, пожалуй, спрашивать, продолжалась ли служба Бориса в «Отеле Скриб». Я сбегал вниз и купил ему хлеба. Борис набросился на хлеб, съел полбуханки, почувствовал себя гораздо лучше и, сев в постели, рассказал, что с ним случилось. После выхода из больницы на работу его не взяли, так как он еще сильно хромал, все свои деньги он истратил, все вещи заложил, настали дни, когда он голодал по-настоящему. Неделю ночевал у причала под Аустерлицким мостом, на свалке винных бочек. Последние же две недели жил в этой конуре у одного еврея, механика. Дело в том (следовало изложение каких-то путаных обстоятельств), что еврей задолжал Борису триста франков и теперь в виде расплаты пустил спать у себя на полу, а также ежедневно выдавал два франка на еду. Два франка кормили чашкой кофе с тремя рогаликами. Когда еврей в семь утра уходил, Борис покидал отведенное ему спальное место (прямо под потолочным оконным люком, откуда капал дождь) и перекладывался на кровать. Спалось и тут ужасно из-за клопов, но хоть спина немного отдыхала.

Большое было разочарование — придя за помощью, найти Бориса в ситуации еще более

плачевной. Я объяснил, что у меня осталось меньше шестидесяти франков и мне необходимо срочно найти работу. Борис тем временем, доев буханку, пришел в бодрое, разговорчивое настроение. Кинул безмятежно:

— Бог мой, о чем ты беспокоишься? Шестьдесят франков — состояние! Будь добр, подай-ка мне ботинок, *mon ami*. Я собираюсь уничтожить передовые части клопов, едва мерзавцы войдут в пределы досягаемости.

— Но ты считаешь, возможно найти какую-то работу?

— Возможно? Никаких сомнений. На самом деле, у меня уже есть кое-что. Есть новый русский ресторан на улице Коммерс — вот-вот откроется. И *une chose entendue*[24], что я там буду метрдотелем. Тебя на кухне пристрою запросто. Пять сотен в месяц плюс питание, иной раз даже чаевые.

— А пока? Скоро мне опять платить за комнату.

— О, что-нибудь найдем! У меня на руках уйма козырей. Например, люди, которым я давал в долг, — в Париже таких полно, кто-нибудь непременно вскоре отдаст. И ты подумай обо всех тех

---

[24] notes: 24
Дело решенное *(фр.)*.

дамах, которые меня любили! Женщины, знаешь, никогда не забывают; только шепни — мгновенно выручат. Кроме того, еврей мой говорит, что собирается украсть какие-то магнето из гаража и будет платить по пятерке в день, чтобы их чистили перед продажей. Уже на этом сможем продержаться. Ты не волнуйся, *mon ami*. Деньги достать проще простого.

— Ну так пошли сейчас и найдем место.

— Сейчас, *mon ami*. Без куска не останемся, не бойся. Дело обычное, капризы солдатской фортуны — сотни раз я бывал в переделках и похуже. Главное, не тушуйся, помни правило Фоша: *Attaquez! Attaquez! Attaquez!*[25].

К полудню Борис наконец решился встать. Весь его нынешний гардероб составляли один костюм, одна сорочка, воротничок, галстук, пара почти сносившихся ботинок и пара драных носков. Еще имелось пальто, отложенное для заклада на случай самой последней крайности. Имелся также чемодан, истертая дешевая картонка, но вещь необычайно важная, создававшая у хозяина гостиницы впечатление некого имущества, без чего Борис, вероятно, был бы выгнан на улицу.

---

[25] notes: 25
Атакуйте! Атакуйте! Атакуйте! *(фр.)*

Истинным содержимым чемодана являлись фотографии, медали, различный мелкий хлам и кипы любовных писем. Несмотря ни на что Борису удавалось сохранять вид достаточно импозантный. Побрившись без мыла старым, двухмесячного срока лезвием, он завязал галстук, тщательно следя за сокрытием изъянов, и аккуратно начинил ботинки стельками из газеты. Уже полностью снаряженный, достал склянку чернил и затер пятна сиявших сквозь носочные дыры пяток. Теперь никто бы не поверил, что этот человек недавно спал под мостами.

Мы пошли в неприметное, но хорошо известное всем нанимателям и работникам отелей кафе на улице Риволи. В пещере темной задней комнаты сидели профессионалы гостинично-ресторанного дела: молодые лощеные официанты, официанты не столь лощеные и явно голодающие, толстые розовые повара, затрапезные судомойки, измочаленные старухи уборщицы. Перед каждым нетронутый стакан черного кофе. В сущности, это было бюро по найму, и плата за напитки играла роль процента за посредничество. Время от времени у стойки бара появлялись солидные важные господа, видимо рестораторы, что-то говорившие бармену, который затем вызывал

кого-нибудь из задней комнаты. На нас с Борисом он в течение двух часов внимания не обратил, и мы ушли, поскольку этикетом дозволялось с одним стаканом кофе просидеть не больше двух часов. Впоследствии, с обидным опозданием, выяснилось, что надо было бы тогда подмазать бармена; не поскупившимся на двадцать франков место обычно находилось.

Потопали к «Отелю Скриб»; час караулили у входа в надежде встретить управляющего, но он не вышел. Потащились на улицу Коммерс, где удалось только обогатиться сведениями: недостроенный ресторан закрыт, патрон в отъезде. Настала ночь. Отшагав по каменным тротуарам четырнадцать километров, мы так устали, что пришлось полтора франка истратить на метро. Ходьба замучила хромавшего Бориса, его надежды с угасанием дня стремительно тускнели. К моменту выхода на станции «Пляс Итали» он впал во мрак. Стал говорить, что место искать бесполезно и все что остается — криминал:

— Лучше грабить, чем голодать, *mon ami*. Я уж про это часто думал, прикидывал: жирный богач американец — темный закоулок под Монпарнасом — булыжник в чулке — трах! — карманы обшарить, мигом скрыться. Вполне реально, раз-

ве нет? Лично я бы не дрогнул — войну отвоевал, не забывай.

Преступный план Борис в итоге все-таки отверг, поскольку нас, парочку иностранцев, легко выследить.

По прибытии ко мне в номер еще полтора франка были истрачены на хлеб и шоколад. Проглотив свою долю, Борис мгновенно, будто по волшебству, утешился (еда, видимо, действовала на его организм с силой крепчайшего коктейля). Взял карандаш и принялся составлять список тех, кто наверняка даст нам работу:

— Завтра найдем что-нибудь, *mon ami*, я носом чую. Фортуна улыбнется. Да и мозги у нас обоих в порядке — человек с мозгами голодным не останется.

На что способен человек с мозгами! Мозги из ничего добудут деньги. Вот у меня был друг, поляк, истинный гений, и что ж, ты думаешь, он делал? Покупал простенькое золотое колечко и закладывал за пятнадцать франков. Потом — знаешь ведь, как небрежно в конторах квитанции заполняют? — где клерк поставил *en or*[26], он

---

[26] notes: 26
Из золота *(фр.)*.

приписывал *et diamants*[27], где было «пятнадцать франков», исправлял на «пятнадцать тысяч». Ловко, а? И тут же, как ты понимаешь, свободно мог под эту свою квитанцию занять тысчонку. Так что вот пораскинул я мозгами...

До поздней ночи Борис сиял уверенной надеждой, рассказывал, как мы с ним станем официантами в Ницце или Биаррице, как заживем в шикарных комнатах и, набив кошельки, заведем себе подружек. Слишком уставший чтобы еще километра три пешком шагать к себе в гостиницу, ночевать он остался у меня на полу, подушкой послужили ботинки со свернутым поверх них пиджаком.

[27] notes: 27
И бриллиантов *(фр.)*.

6

Работа и назавтра не нашлась, и еще три недели фортуна хмурилась. Двухсотфранковый гонорар спас меня от квартирной катастрофы, но все прочее складывалось хуже некуда. День за днем мы с Борисом дрейфовали сквозь толпы парижан со скоростью двух миль в час, шлялись туда-сюда уныло, голодно и абсолютно безрезультатно. В один день, помнится, двенадцать раз пересекали Сену. Часами слонялись возле служебных входов; дождавшись начальника, подходили с искательной улыбкой, заранее сняв шляпу. Ответ следовал неизменный: ни в хромых, ни в неопытных не нуждались. Как-то нас чуть было не наняли. Поскольку Борис говорил, выпрямившись и спрятав палку за спиной, начальник не заметил больной ноги. «Да, — кивнул он, — нужны двое на склад. Пожалуй, подойдете, заходите». Но едва Борис сделал шаг, фиаско: «А-а, вы хромаете, — *malheureusement*...[28]».

Мы регистрировались в агентствах, шли по любому объявлению, но бесконечная ходьба лишала

---

[28] notes: 28
К сожалению *(фр.)*.

расторопности, и мы, казалось, всюду на полчаса опаздывали. Был случай, нас почти уже приняли мыть вагоны, но в последний момент предпочли отдать места французам. Однажды встретилось объявление, что цирку требуются рабочие с обязанностями двигать скамейки, убирать мусор и во время представления становиться ногами на две тумбы, чтобы под этой живой аркой бегал лев. Придя за час до обозначенного времени, мы нашли очередь из полусотни соискателей. Львам, очевидно, присущ особый магнетизм.

Бюро, где я давным-давно стал на учет, прислало *petit bleu*[29], сообщив о желании некоего господина из Италии брать уроки английского. В petit bleu значилось «срочно» и предлагалось двадцать франков в час. Нас с Борисом охватило смятение. Вот он, отличный шанс, и ускользает — нельзя же явиться к ученику в пиджаке с драными локтями. Потом нас осенило, что достаточно благопристоен пиджак Бориса; брюки от моего костюма, правда, не подходили, но они были серыми, а потому могли сойти за якобы фланелевые. Пиджак, огромнейший, пришлось надеть небрежно, нараспашку и все время дер-

---

[29] notes: 29
Телеграмма, посланная парижской пневматической почтой *(фр.)*.

жать руку в кармане. Я торопливо выбежал, не пожалел семьдесят пять сантимов на автобус. В бюро, однако, ждало известие о том, что господин передумал и покинул Париж.

Борис мне рекомендовал сходить на Центральный рынок, попробовать наняться грузчиком. Я пришел в половине пятого утра, когда заваривалась самая работа, высмотрел бригадира, низенького толстяка в котелке, и направился к нему. Прежде чем дать ответ, тот быстро схватил мою руку и ощупал ладонь:

— А ты как, сильный?

— Очень, — лживо уверил я.

– *Bien*[30]. Покажи себя, ну подыми-ка эту штуку.

Рядом стояла колоссальная корзина с картофелем. Я ухватился за нее и понял, что не только поднять, даже сдвинуть ее не в состоянии. Толстяк пожал плечами и отвернулся. Я пошел прочь. Минутой позже искоса оглянулся: грузчики поднимали эту корзину на телегу **вчетвером**. Весила она центнера полтора. Бригадир сразу понял, что я не гожусь, и нашел способ меня спровадить.

Подчас, в очередном приливе светлых надежд,

---

[30] notes: 30
Хорошо, ладно *(фр.)*.

Борис тратил пятьдесят сантимов на марку и отправлял какой-нибудь из бывших возлюбленных письмо с просьбой о помощи. Ответила наконец лишь одна. Та, что когда-то кроме пылких ласк получила еще двести франков в долг. От ожидавшего внизу конверта со знакомым почерком Борис восторженно обезумел. Схватив письмо, мы полетели к нему на чердак, как дети с краденными леденцами. Борис прочел и молча передал листок мне. Послание гласило:

«Мой Обожаемый и Драгоценный Зверик! Как изумительно было раскрыть Твое письмо, строки которого напомнили дни нашей дивной любви и поцелуи Твоих горячих губ. Эти чудесные воспоминания волнуют сердце, словно бы аромат засушенных нежных фиалок. А про те двести франков, что Ты пишешь, о нет! никак. О мой Единственный, Ты не познаешь, какая боль во всей моей душе от Твоих затруднений! Но чего ж ожидать человеку? В этом мире для каждого присуждены страдания. И мне судьба тоже ужасно жестокая. Сестричка заболела (ах, бедняжка, как она мучилась!), на докторов ушло кошмар сколько. Ни франка не осталось, клянусь Тебе, у нас самих сейчас до крайности трудные времена. Не унывай, мой Зверик, главное — не унывать!

Помни, что страшные черные тучи когда-нибудь уходят и потом к нам опять сияют лучи зари. Верь, Драгоценный мой, я не забуду Тебя навек. И прими бесконечных поцелуев от той, которая будет вечно любить Тебя до гроба, Твоя Ивонн».

Письмо настолько разочаровало Бориса, что он улегся на кровать и отказался в тот день ходить искать работу. Моих шестидесяти франков хватило кое-как протянуть пару недель. Фальшивые уходы в ресторан я прекратил, мы ели у меня в номере, устраиваясь один на стуле, другой на краешке кровати. Борис сдавал в общую кассу свои два франка, я добавлял три-четыре — покупались хлеб, сыр, картошка, молоко и над спиртовкой варился суп. Поскольку из посуды были лишь кастрюлька да чайная чашка, то каждый раз завязывался любезный спор, кому есть из кастрюльки (порция больше), кому из чашки, и всякий раз, к моему тайному негодованию, Борис первым сдавался на кастрюльку. Иногда вечером мы еще ели хлеб, а иногда не ели. Белье делалось все грязнее и противней, и уже три недели прошло с тех пор, когда я принимал ванну; Борис же, по его словам, в ванне не мылся месяцами. Примирял с такой жизнью лишь табак. Курева у нас имелось вволю, так как Борис успел где-то свести знакомство с

одним солдатом (рядовых в армии бесплатно снабжают сигаретами) и закупил у него пачек тридцать по полфранка.

Борису в нашей ситуации жилось гораздо хуже, чем мне. Пешие марши и ночевки на полу покоя не давали его больной ноге, и со своим гигантским русским аппетитом он сильнее терзался голодом, хотя внешне вроде нисколько не худел. А вообще поражал веселым нравом и талантом бесконечно надеяться. Всерьез уверял, что у него есть собственный святой покровитель, и порой, когда приходилось совсем туго, высматривал в канавах деньги, говоря об обычае святого милосердно подбрасывать двухфранковые монеты. Однажды мы томились на улице Руайяль, возле русского ресторана, где хотели просить работу. Вдруг Борис решил срочно зайти в Церковь Мадлен, поставить там полфранковую свечку его святому покровителю. Вернувшись, сообщил, что для страховки торжественно возложил почтовую марку (тоже за пятьдесят сантимов) как жертвоприношение всем бессмертным богам. Должно быть, боги и святые не ладили между собой; во всяком случае, работу мы тогда упустили.

Иногда утром Борис просыпался на дне отчаяния. Лежал в кровати, чуть не плача, проклиная

еврея, у которого жил. Еврей последнее время начал капризничать насчет выдачи ежедневных двух франков и, того хуже, напустил на себя важный, снисходительный вид. Борис говорил, что мне, англичанину, не понять, сколь мучительно русскому благородному человеку оказаться под еврейской пятой.

«Еврей, *mon ami*, — философски определял он, — это истинный еврей! Даже порядочности ему не хватает стыдиться этого. Подумать только, что российский офицер — не помню, говорил ли я тебе, *mon ami*, что служил капитаном во Втором сибирском? Да, капитаном, а отец-то полковником был. И вот я, куском хлеба обязанный еврею. Евреи это...

Вот я тебе расскажу, кто это. Как-то в начале войны шли мы маршем, остановились на ночлег в одной деревне. Жуткий старый еврей, борода рыжая как у Иуды, прокрался в мое помещение для постоя. Спрашиваю, чего ему надо. «Ваша честь, — говорит он, — я привел вам красивую юную девушку, только семнадцать исполнилось. И будет все лишь пятьдесят франков». — «Спасибо, — отвечаю, — не хватало мне еще подхватить заразу». — «Заразу! — кричит еврей, — *mais*,

monsieur le capitaine[31], об этом можете не беспокоиться, это же моя собственная дочь!». Вот тебе еврейский характер[32].

Рассказывал я уже тебе, *mon ami*, что в царской армии считалось дурным тоном даже плевать в еврея? Нечего, мол, на него тратить слюну русского офицера. Да, эти евреи...»

В подобном настроении Борис обычно чувствовал себя совершенно больным и разбитым. До вечера лежал в замызганных, кишащих паразитами простынях, курил и читал старые газеты. Иногда мы играли в шахматы. Доски не было, ходы мы записывали на обрывке бумаги, позже сами сделали доску из фанерки от ящика, вместо фигур использовали пуговицы, бельгийские монеты и прочую дребедень. К шахматам Борис относился с характерной для многих русских страстью. Все приговаривал, что шахматные правила в точности соответствуют правилам боев любовных и военных и, научившись побеждать в одном виде сражений, непременно будешь выходить победителем во всех других. Еще он

---

[31] notes: 31

Но господин капитан *(фр.)*.

[32] notes: 32

Ирония Оруэлла здесь в том, что Борис пересказывает ему сюжетную завязку очень трагического рассказа И. С. Тургенева «Жид».

говорил, что над шахматной доской совершено забываешь о голоде, однако в моем случае это явно не подтвердилось.

7

Деньги мои быстро таяли — до восьми франков, четырех, одного, до двадцати пяти сантимов, а двадцать пять сантимов уже не деньги, ничего на них не купишь кроме газеты. Несколько дней мы ели хлеб всухомятку, потом на двое с лишним суток я остался без единой крошки во рту. Опыт не из приятных. Люди, здоровья ради голодающие по три недели и больше, уверяют, что начинаешь великолепно себя чувствовать с четвертого дня, — не знаю, никогда не заходил далее третьего. Наверное все ощущается иначе, когда бросаешь есть по доброй воле и с постепенной тренировкой.

В первый день я, чересчур вялый для поисков работы, занял удочку и пошел к Сене рыбачить на приманку из дохлых мух. В Сене много плотвы, но рыба за время блокады Парижа набралась хитрости, и ни одну с тех пор не выловишь, разве что сетью. На второй день я хотел заложить пальто, но показалось слишком далеко пешком тащиться до ломбарда, и я лениво провалялся, читая «Записки Шерлока Холмса». Единственное, к чему был способен, голодая. Голод вызывает абсолютное размягчение тела и мозгов, больше

всего похоже на дикую слабость после гриппа. Как будто сделался медузой или кровь тебе, выкачав, заменили тепленькой водичкой. Главное в моих впечатлениях от голодания это полнейшая апатия; это и еще постоянно сплевываешь, причем слюна необычайно белая, пушистая, вроде хлопьев кукушкина льна. Причины такого симптома мне неизвестны, но любой голодавший наблюдение подтвердит.

На третье утро я вскочил бодро, почувствовав необходимость экстренных действий, и решил пойти к Борису, напроситься хотя бы день-другой делить с ним его двухфранковый паек. Придя, застал Бориса на кровати, в приступе бешеного гнева. Лишь я вошел, он крикнул, задыхаясь:

— Стащил обратно их, мерзавец! Он обратно стащил их!

— Кто? Кого?

— Еврей! Мои два франка украл, собачий сын, ворюга! Ограбил дочиста, пока я спал!

Как выяснилось, накануне ночью еврей категорически впредь отказался от выплат ежедневного пособия. Они спорили-спорили, в итоге еврей все-таки согласился дать два франка, сделав это, сказал Борис, наигнуснейшим образом — прочтя нотацию о своих милостях и вымогая униженную

благодарность. А под утро, пользуясь мирным сном Бориса, потихоньку забрал деньги.

Вот так удар! Зря я, конечно, размечтался, обнадежил брюхо (грубейшая ошибка, когда ты голоден). Однако, слегка меня удивив, Борис в отчаяние отнюдь не впал. Облокотившись на подушку, он зажег трубку и начал сосредоточенно размышлять вслух:

— Так, *mon ami*, положение критическое. У нас на пару двадцать пять сантимов, и, думается мне, еврей вряд ли еще когда-нибудь мне выдаст мои два франка. И вообще он становится невыносимым. Ты не поверишь, негодяй так обнаглел, что вчера ночью женщину привел, когда я спал тут на полу. Скотина подлая! Но есть новость похуже: еврей нацелился сбежать. За гостиницу он уже неделю не платил — вздумал разом и деньги сэкономить и от меня скрыться. Если еврей смоется, я останусь без жилья, а патрон, черт его дери, в счет долга конфискует мой чемодан! Нам надо действовать решительно.

— Хорошо. Только что мы можем? По-моему, нам остается лишь заложить наши пальто и что-нибудь поесть.

— Это да, обязательно, но для начала я должен вытащить отсюда свое имущество. Подумать

страшно — заберут мои фотографии! Ну, план готов. Мне надо опередить еврея, смывшись раньше него. *Foutre le camp*[33] — внезапное хитрое отступление, понимаешь ли. Хорош маневр?

— Борис, мой дорогой, но каким образом? Тебя же днем сразу поймают.

— Ну так, стратегию конечно надо выстроить. Патрон тут караулит ненадежных жильцов, уже ученый. Они с женой целыми днями по очереди внизу стерегут — ох и скупердяи эти французы! Я, однако, придумал способ со всем справиться, если ты поучаствуешь.

Не ощутив себя в тот миг настроенным как-то особенно участливо, я спросил о конкретном содержании плана. Борис подробно изложил:

— Слушай. Прежде всего необходимо заложить наши пальто. Сходи к себе, возьми свое пальто, потом вернись и вынеси мое, упрятав под своим. Сдай их в ломбард на улице Франк Буржуа — двадцатку, если повезет, дадут. Затем спустись к Сене, набей карманы камнями, принесешь — сложишь в мой чемодан. Угадываешь мысль? А я тем временем заверну в газету побольше моих вещей, спущусь и спрошу у патрона адрес

---

[33] notes: 33
Удрать *(фр.)*.

ближайшей прачечной. Заговорю таким, знаешь, развязным, небрежным тоном, что патрон мне поверит насчет похода к прачке. Если что и заподозрит, сделает как всегда, грошовая душонка: влезет сюда, попробует мой чемодан на вес. Учует тяжесть — будет думать, что добра много. Стратегия, а? Я потом вернусь, все остальное вынесу просто в карманах.

— Так, а чемодан?

— А-а, это? Что ж, бросить придется. Ерунда, дешевка, стоил-то всего двадцать франков. И вообще, что-нибудь уж всегда оставляешь при отступлении. Ты вспомни о Наполеоне — бросил под Березиной целую армию!

Борис так воодушевился этим проектом (именовавшемся у него *une ruse de guerre*[34]), что забыл про терзавший его голод. Главный дефект плана — втихую смывшись, негде будет голову приклонить, — он игнорировал. Ruse de guerre вначале сработала отлично. Я сходил домой, взял свое пальто (прогулка в девять километров на пустой изголодавшийся желудок) и сумел вынести тайком пальто Бориса. Затем возник барьер. В ломбарде служащий, злобный, с брезгливой

---

[34] notes: 34
Военная хитрость *(фр.)*.

миной, настырный коротышка — типичный французский чиновник, отверг наши пальто под тем предлогом, что вещи не упакованы. Положено, заявил он, вещи сдавать в чемоданах или коробках. Все рушилось, ибо никакой тары мы не имели, а на последние двадцать пять сантимов даже коробку было не купить. Вернувшись, я сообщил дурную весть.

— *Merde!* — чертыхнулся Борис. — Положение усложнилось! Ну ладно, выход-то всегда найдется. Сложим пальто в мой чемодан.

— Но как мы чемодан твой пронесем мимо патрона? Он даже в закуток свой не уходит, сидит всегда возле открытой двери. Нет, невозможно!

— Нет? Легко же ты сдаешься, *mon ami*! А где хваленое британское упорство, о котором мне доводилось читать? Смелей! Прорвемся.

Недолго поразмышляв, Борис представил план новой операции. Сложнейшей ее составной задачей было отвлечь внимание патрона секунд на пять, чтобы хватило проскользнуть с чемоданом, но у патрона имелась только одна слабость — *le Sport*, беседа о котором могла бы притупить его бдительность. Борис изучил репортаж о велосипедных гонках в каком-то старом номере «Пти паризьен», потом, разведав обстановку на

лестнице, спустился и все-таки смог заставить патрона разговориться. Я, между тем, стоял в готовности на нижнем лестничном марше, держа под мышкой оба пальто и другой рукой обхватив чемодан. Был уговор, что Борис кашлянет в момент, по его мнению благоприятный. Ждал я, дрожа, ведь каждую секунду из дверей напротив места портье могла выйти жена хозяина и тогда полный крах. Однако вскоре Борис кашлянул — я пулей пронесся мимо, радостно возблагодарив свои не скрипнувшие башмаки. План, может быть, и не удался бы, не обладай Борис мощными богатырскими плечами, перекрывшими обзор со сторожевого поста. Блестяще также проявилась его выдержка; смеясь, он болтал самым беспечным образом и так громко, что заглушал любой мой преступный шорох. Наконец-то я очутился на безопасном расстоянии от подъезда, Борис вскоре нагнал меня и мы удрали.

И вот, после всех этих наших подвигов, оценщик в ломбарде вновь отказался принять пальто. Он объявил мне — откровенно упиваясь чисто французским своим педантизмом, — что *carte d'identite*[35] недостаточно: я должен предъявить

[35] notes: 35
Удостоверение личности *(фр.)*.

паспорт или же адресованные мне конверты. Пачки таких конвертов имел Борис, но у него с *carte d'identie* был непорядок (требовавшее уплаты за перерегистрацию, удостоверение не продлевалось), так что нельзя было оформить залог и на его имя. Нам ничего не оставалось, как поплестись, едва волоча ноги, ко мне, чтобы, взяв нужный документ, пойти закладывать пальто в ломбард на бульваре Порт Руайяль.

Оставив Бориса в номере, я направился туда. Придя, узнал, что заведение закрыто и не откроется до четырех. Было лишь полвторого, я с утра отшагал уже двенадцать километров, проголодав уже шестьдесят часов. Казалось, судьба решила позабавиться серией чрезвычайно неостроумных шуток.

Затем счастье словно по волшебству переменилось. Я брел обратно улицей Брока — вдруг на булыжнике сверкнула монетка в пять су. Кинувшись на добычу, я с трофеем побежал к дому, схватил последнюю нашу, такую же монету и купил фунт картофеля. Горючего в спиртовке хватило лишь слегка обварить клубни и соли не было, но мы сожрали картошку мигом, с кожурой. После чего возродились к жизни и сели играть в шахматы, дожидаясь открытия ломбарда.

В четыре я стоял возле ломбардного прилавка. Особых надежд не питал: если мне здесь за целый ворох прекрасных добротных вещей дали семьдесят франков, на что рассчитывать за два старых пальто в картонном чемодане? Борис надеялся на двадцать франков, я на десять, а то и пять. А могли вовсе меня забраковать, как беднягу *Numero* 83. Уселся я в первом ряду — не хотелось видеть усмешки и ухмылки, когда мне назначат пять франков.

Наконец выкликнули: «*Numero* 117!»

— Да, — встал я.

— Пятьдесят франков?

Шок был почти таким же, как тогда, впервые, когда я услыхал «семьдесят». До сих пор уверен, что клерк попросту перепутал номера — даже продать оба наши пальто за пятьдесят франков было немыслимо. Поспешно удалившись, я появился на пороге комнаты, руки за спиной, на губах ни слова. Борис сидел за шахматной доской, глаза его нетерпеливо вскинулись:

— Ну? Сколько дали? Меньше двадцати? Но десять-то уж дали? *Nom de Dieu*[36], пять — это наповал. Нет, *mon ami*, **не говори**, что пять. Если ты

---

[36] notes: 36
Ну уж, ей-богу *(фр.)*.

скажешь, что дали пять, ей-богу, всерьез начну выбирать, где утопиться!

Я бросил на стол полусотенную бумажку. Борис сделался белым как мел, потом вскочил и стиснул мою руку, едва не раздавив ее. Мы побежали, накупили хлеба, мяса, вина и спирта для спиртовки, и устроили настоящее обжорство. Сытый Борис преисполнился таким оптимизмом, какого мне еще не доводилось в нем наблюдать.

— Ну что я тебе говорил? Капризы солдатской фортуны! Утром с пятью су, а теперь взгляните-ка на нас. Я всегда утверждал — деньги достать проще простого. И это заставляет вспомнить об одном друге с улицы Фондари, которого пора бы навестить, — вытянул у меня, мошенник, четыре тысячи. Величайший прохиндей в трезвом состоянии, но — любопытная игра природы — становится кристально честным, когда напьется. Пойдем разыщем его. Очень может быть, что пару сотен и вернет. *Merde!* Двести уж пускай отдаст, *allons-y!*[37]

Мы отправились на улицу Фондари и приятеля разыскали, и он был пьян, но двести франков мы не получили. Едва они с Борисом встретились,

---

[37] notes: 37
Пошли! *(фр.)*

посреди мостовой началась жуткая перебранка. Приятель заявил, что он не должен Борису ни гроша, напротив — Борис ему должен четыре тысячи, и оба беспрестанно взывали ко мне как арбитру. Сути их спора я так и не уловил. Они ругались и ругались, сначала на улице, потом в бистро, потом в ресторане *prix fixe*[38], куда мы заходили ужинать, потом в другом бистро. В конце концов, два часа обвинявшие друг друга в воровстве, приятели дружно загуляли, пропив деньги Бориса подчистую.

Ночевал Борис в квартале Коммерс у сапожника, тоже русского эмигранта. Что касается меня, то в моем кармане еще оставалось восемь франков, я был накормлен и напоен до отвала, располагал надежным запасом курева — действительно волшебное преображение после пары нерадостных деньков.

---

[38] notes: 38
Твердых (т. е. дешевых) цен *(фр.)*.

8

С двадцатью восемью франками в руках можно было возобновить наши попытки найти работу (двадцать франков Борис, на непонятных условиях остававшийся под кровом сапожника, сумел занять у этого русского друга). Друзей, по преимуществу таких же бывших офицеров, Борис имел множество и повсюду. Одни служили официантами или мыли посуду, другие водили такси, кое-кого кормили женщины, кому-то повезло вывезти из России деньги и сделаться владельцем гаража или танцзала. Вообще, русские беженцы в Париже — народ выносливый, крепкий в работе, терпевший злоключения гораздо лучше, нежели это удалось бы англичанам тех же сословий. Были, конечно, исключения. Борис рассказывал об одном русском князе, который часто пробавлялся в дорогих ресторанах. Разузнавал, служит ли в зале кто-нибудь из русских офицеров и, пообедав, дружески подзывал того к столу.

— А! — начинал князь. — Оба мы, стало быть, старые вояки? Плохи теперешние времена? Ничего, ничего, русский солдат страха не знает. Какого полка?

— Такого-то, сударь, — отвечал официант.

— Храбрый, доблестный полк! Помню, смотр ему делал в 1912 году. Да, между прочим, неприятность — бумажник я оставил дома. Русский офицер, знаю, в беде не бросит, выручит франков на триста.

Имевший триста франков официант деньги давал и, разумеется, навек терял. Князь весьма бойко таким манером зарабатывал. И вероятно, официанты не особенно возражали быть им обманутыми. Князь есть князь, хоть и в изгнании.

От кого-то из соотечественников Борис услышал про выгодное дельце. Дня через два после того как были сданы в ломбард наши пальто, он довольно таинственно спросил:

— Скажи, *mon ami*, есть у тебя политические убеждения?

— Нет, — ответил я.

— У меня тоже никаких. То есть, конечно, вечная верность отечеству, но остальное все — ...! А что это там Моисеем говорилось насчет поживы от египтян? Ты англичанин и библию наверняка читал. Я что хочу сказать — ты бы не прочь слегка подзаработать от коммунистов?

— Разумеется, не прочь.

— Ладно! В Париже действует подпольное рус-

ское общество, от которого, может, будет для нас толк. Они там коммунисты, и как бы сами по себе, а на самом деле большевистская агентура: обхаживают эмигрантов, сманивают к большевикам. Мой друг, вступивший в это общество, думает, что и нам с тобой там помогли бы кое-чем.

— Но чем же? Мне, во всяком случае, ничем, я ведь не русский.

— То-то и оно. Они вроде корреспонденты каких-то московских газет и хотят статьи про политику Англии. Появимся у них сейчас, так могут заказать эти статейки тебе.

— Мне? Но я ничего не смыслю в политике.

— *Merde!* Они тоже. Кто ж **действительно** что-либо смыслит в политике? Проще простого — перепишешь из английских газет. Нет ли парижских выпусков «Дейли Мейл»? Спиши оттуда.

— Но «Дейли Мейл» газета консерваторов, ненавидящих коммунистов.

— Ну, списывай из «Дейли Мейл» наоборот, тогда уж точно не ошибешься. Нельзя нам, *mon ami*, упустить этот шанс, тут светят сотни франков.

Идея мне совершенно не понравилась — парижская полиция строго следит за коммунистами, особенно сурово за иностранцами, а я уже вызы-

вал недоверие. Несколько месяцев назад шпик заметил меня в дверях коммунистической редакции, и было довольно много проблем. Поймают еще на визитах в тайное общество — может кончиться высылкой. Шанс, однако, виделся слишком соблазнительным чтобы им пренебречь. В тот же день друг Бориса, очередной официант, повел нас на секретное рандеву. Названия улицы не помню — какая-то бедная улочка к югу от Сены, где-то возле Палаты депутатов. Друг Бориса призывал к величайшей осторожности. Мы с видом случайных фланеров прошлись по улице, отметив для себя подъезд, куда нам предстояло войти (там была прачечная), а затем прогулялись обратно, внимательно водя глазами по стеклам окон и витрин. Если пристанище коммунистов уже стало известно, его наверняка держали под наблюдением, и мы ушли бы, увидав кого-то похожего на шпика. Мне было страшновато, но Борису приключения заговорщиков нравились; как-то совсем позабылось, что идет он торговаться с убийцами своих родителей.

Уверившись, что вокруг чисто, мы юркнули в подъезд. Гладившая белье прачка-француженка сказала, что к «русскому господину» через двор, затем вверх по лестнице. Мы одолели несколько

маршей и остановились — перед нами высился угрюмый молодой человек с шевелюрой, растущей чуть не от бровей. Подозрительно глядя на меня, он жестом загородил дорогу и обратился ко мне по-русски.

– *Mot d'ordre!*[39] — рявкнул он, не дождавшись ответа.

Я испуганно замер. Паролей я не ожидал.

— *Mot d'ordre!* — повторил русский.

Шедший позади друг Бориса вышел вперед и что-то сказал: назвал пароль или дал объяснение. Это, надо полагать, удовлетворило мрачного молодого человека, так как он проводил нас в комнатушку с замазанными мелом окнами. Обстановка убогой конторы, по стенам плакаты русским шрифтом, громадный аляповатый портрет Ленина. За столом сидел русский, небритый и без пиджака, — надписывал адреса на бандеролях наваленных рядом газет. Со мной он заговорил по-французски, с сильным акцентом.

— Крайнее легкомыслие! — раздраженно воскликнул он. — Почему вы явились без белья?

— Без белья?

— Все, кто приходят к нам, идут с бельем, будто

---

[39] notes: 39
Пароль *(фр.)*.

бы в прачечную здесь внизу. Следующий раз имейте при себе большой узел. Недопустимо наводить на след полицию.

Стиль оказался даже более конспиративным, чем я предполагал. Борис уселся на единственный свободный стул, и пошли долгие переговоры по-русски. Вел диалог только небритый, а привалившийся спиной к стене угрюмый, не отказавшись, видимо, от своих подозрений, молча сверлил меня глазами. Было так странно — находиться в потайной комнатке с революционными плакатами, слушать чужие, совершенно непонятные слова. Русские говорили быстро и страстно, то улыбаясь, то пожимая плечами. А я раздумывал, о чем же они. Вероятно, называют друг друга «батенькой», «голубчиком» или «Иваном Александровичем», как персонажи русских романов. И обсуждают революционность; небритый, наверно, заявляет: «Мы никогда не спорим, диспуты — игры буржуазии! Наши аргументы — дела!». Потом я выяснил, что речь шла не совсем об этом. Требовалось двадцать франков вступительного взноса, и Борис обещал (всего франков у нас имелось лишь семнадцать). В конце концов, тряхнув наш драгоценный финансовый запас, Борис авансом заплатил пять.

Угрюмый, явно подобрев, присел на край стола. Небритый начал по-французски меня опрашивать, делая на листке пометки: «Являетесь ли коммунистом?» — «Сочувствую, хотя ни в каких партиях никогда не состоял». — «Знаете ли политический климат в Англии?» — «О, конечно, конечно!». Я упомянул разных министров, обронил несколько презрительных замечаний о лейбористах. «А как насчет *le Sport*? Сможете ли давать статьи о *le Sport*?» (Футбол и социализм как-то таинственно связаны на континенте). — «О да, еще бы!». Оба подпольщика важно кивали головами. Небритый сказал:

– *Evidemment*[40], вам глубоко и досконально известна обстановка в Англии. Возьметесь сделать серию статей для московской воскресной газеты? Подробности мы уточним.

— Охотно.

— Тогда, товарищ, завтра ждите нашего сообщения утренней почтой. Или же днем. Ставка у нас — сто пятьдесят франков за статью. И не забудьте в следующий раз прийти с бельем. *Au revoir*[41], товарищ!

---

[40] notes: 40
Вполне очевидно *(фр.)*.

[41] notes: 41
До встречи *(фр.)*.

Мы спустились по лестнице, осторожно выглянули из прачечной и, убедившись, что улица пуста, ускользнули. Борис был вне себя от радости. В экстазе ринулся к ближайшей табачной лавке, купил сигару за полфранка. Вышел, постукивая тростью, лучась улыбкой:

— Ну наконец-то! Наконец-то! Вот теперь, *mon ami*, фортуна по-настоящему нам улыбнулась. Надул ты их отменно. Слыхал, как он тебя стал называть «товарищем»? Сто пятьдесят франков за статью — *Nom de Dieu*, экая удача!»

Наутро, услышав шаги почтальона, я стремглав побежал вниз за письмом, но, увы, письма не было. Остался дома до дневной почты — снова мне ничего. Прождав три дня и не дождавшись никакой весточки, мы потеряли надежду, решив, что, вероятно, для статей нашелся другой автор.

Дней через десять нами снова был совершен визит в подпольное бюро, не забыты были и меры конспирации: узел «белья» смотрелся очень убедительно, — тайное общество испарилось! Гладильщица в прачечной не знала ничего кроме того, что *ces messieurs*[42] съехали несколько дней назад после определенных затруднений из-за

---

[42] notes: 42
Эти господа *(фр.)*.

квартплаты. Какими идиотами мы там стояли с нашим узлом! Утешало, что потеряли только пять франков, не двадцать.

Больше нам никогда не приходилось слышать об этом тайном обществе. Кем, чем являлись его организаторы, неведомо. Лично я полагаю, они не имели отношения к партии коммунистов; думаю, это были просто аферисты, дурачившие русских беженцев, выжимая фиктивные членские взносы. Дело довольно безопасное, и несомненно, мошенники еще им промышляют по другим городам. Смышленые ребята, роли свои играли превосходно, контору оформили образцовой подпольной явкой, а штрих с узлами белья — гениально.

9

Еще три дня мы шлялись в поисках работы, возвращаясь ко все более скромным порциям супа и хлеба в моем номере. Наметилось два проблеска надежды. Во-первых, Борис услышал о вероятном месте в «Отеле Икс» около площади Конкорд, а во-вторых, вернулся наконец патрон нового русского ресторана на улице Коммерс. Мы пошли познакомиться с хозяином. В пути Борис говорил об огромных деньгах, которые мы вскоре заработаем и о важности впечатления, которое надо сейчас произвести:

— По одежке, по одежке встречают, *mon ami*. Дайте мне новый костюм — через час я займу тысячу франков. Какая жалость, что, будучи при деньгах, мы воротничок не купили. Вывернул сегодня свой наизнанку, а что толку? — с обеих сторон пакость. Голодный у меня вид, *mon ami*?

— Выглядишь бледным.

— Проклятье, будешь бледным на хлебе и картошке! Таким бледным, что всякому захочется тебя пнуть. Погоди-ка!

Перед зеркалом ювелирной витрины Борис нахлестал себя по щекам, и мы быстро, пока

румянец не отхлынул, зашагали представляться патрону.

Патрон был невысоким плотным господином, очень изысканным, с волнистой сединой, в шикарном двубортном фланелевом костюме и благоухал духами. Бывший полковник русской армии, рассказывал про него Борис. Присутствовала и супруга хозяина, толстенная француженка, чье очень белое лицо с яркими алыми губами напомнило мне отварную телятину с томатом. Патрон сердечно приветствовал Бориса, они заговорили по-русски. Я в некотором отдалении ждал момента поведать о баснословном своем посудомоечном искусстве.

Затем патрон повернулся ко мне. Я неуклюже, но как можно угодливее шаркнул. Наслушавшийся от Бориса о самой низкой рабской категории плонжеров, я приготовился к презрению и спеси. С неожиданной благосклонностью, патрон потряс мне руку.

— О, так вы англичанин? — воскликнул он. — Но это же прелестно! И, полагаю, излишне спрашивать, играете ли в гольф?

– *Mais certainement*[43], — сказал я, угадывая

---

[43] notes: 43
Ну разумеется *(фр.)*.

нужный ответ.

— Всю жизнь лелею мечту о гольфе. Не будете ли столь любезны, дорогой *monsieur*, не поясните ли хотя бы несколько основных приемов?

По– видимому, это был русский обычай вести дела. Патрон внимательно прослушал мои объяснения разницы между клюшкой и кочергой, затем внезапно заявил, что все entendu: как только ресторан откроется, Борис станет метрдотелем, а я плонжером и впоследствии, если бизнес пойдет удачно, даже смотрителем клозета. Я спросил, когда ожидается открытие. «Ровно через две недели», — царственно ответил *patron* (он умел необыкновенно величаво взмахивать рукой, стряхивая сигаретный пепел). — «Ровно через две недели, день в день!». Затем он с нескрываемой гордостью повел нас по ресторану.

Тесноватое помещение состояло из бара, столовой и кухни, размером со среднюю ванную комнату. Убранство в дешевом «старинном» стиле (патрон именовал его «нормандским»: перекрестья темных фальшивых балок на белой штукатурке и т п.), название для пущей средневековости придумано — «Трактир Жана Коттара». Имелся рекламный листок, где среди прочего вранья о местных достопримечательностях со-

общалось, что в харчевню на месте нынешнего ресторана любил захаживать Карл Великий, — изюминка, восхищавшая патрона. Бар украшали академически исполненные непристойные сладострастные аллегории в пышных рамах. Напоследок нам подарили по дорогой сигарете, прощальный обмен любезностями, и мы раскланялись.

Я ясно чувствовал, что ничего хорошего от этого ресторана не дождаться. Патрон выглядел жуликом, хуже того — жуликом неумелым, и возле задних дверей сумрачно топтались двое, несомненные кредиторы. Но Бориса, уже считавшего себя метрдотелем, обескуражить было невозможно.

— Получилось! Успех — всего-то пару недель продержаться! А что такое парочка недель? Жратва? *Je m'en fous!*[44] Нет, вообрази, через какие-нибудь три недели буду с милашечкой! Брюнеткой, интересно, или блондинкой? Ладно, любая хороша, лишь бы не слишком тощенькая.

Два следующих дня прошли уныло. На последние шестьдесят сантимов было куплено полфунта хлеба с долькой чеснока. Хлеб натирают чесно-

---

[44] notes: 44
Плевал я! *(фр.)*

ком, чтобы дольше обманывать язык вкусом еды. Почти все время мы просидели в Ботаническом саду. Борис пытался камнями подстрелить гулявших ручных голубей, но не попал ни разу; кроме этого нас развлекало составление обеденных меню на старых конвертах. Вконец оголодавшие, мы даже не пытались думать о чем-либо кроме съестного. Помню обед, выбранный наконец Борисом: дюжина устриц, борщ (отличный суп из красной свеклы с горкой сметаны), раки, цыпленок *en casserole*[45], говядина со сливами, молодой картофель, салат, жирный пудинг, сыр рокфор, литр бургундского и старый бренди — относительно еды Борис держался интернациональных взглядов. Позже, в эру преуспеяния, мне доводилось видеть, как он без всяких затруднений справлялся с трапезами приблизительно того же объема и ассортимента.

Когда деньги иссякли, разыскивать работу я перестал, и был еще один день голодовки. В открытие «Трактира Жана Коттара» мне не верилось, другого ничего не предвиделось, но лень охватила такая, что я мог лишь валяться на кровати. Затем внезапный поворот судьбы. Вечером,

---

[45] notes: 45
Тушеный *(фр.)*.

часов в десять с улицы раздался призывный клич. Я подошел к окну — ликующий Борис победно махал тростью. Прежде всего он кинул мне вынутый из кармана, согнутый пополам батон:

— *Mon ami, mon cher ami* — спасены! Угадай?

— Неужели ты нашел работу?

— В «Отеле Икс» около площади Конкорд — пять сотен в месяц и кормежка. Сегодня уже выходил. Черт возьми, как я лопал!

У него, хромого, полсуток отработавшего на ногах, первой заботой было ночью потащиться за три километра меня обрадовать! А днем он велел дожидаться его в саду Тюильри на случай, если выйдет приволочь мне какой-нибудь еды. В назначенное время возле скамейки появился Борис. Достал из-под жилета большой бумажный сплющенный кулек: телячьи фрикадельки, ломти хлеба, кусочек камамбера и эклер.

— *Voila!* Больше не смог вынести, швейцар — ушлая сволочь.

Довольно неуютно жевать объедки на глазах у толпы посетителей парка, особенно в Тюильри, где всегда полно хорошеньких барышень, но голодному не до того. Я ел, а Борис мне рассказывал, что у него место в служебном кафетерии, что обслуживать кафетерий унизительно, это для

официанта страшное падение, однако временно, до открытия «Трактира Жана Коттара», сойдет. Мы договорились о ежедневных встречах в Тюильри, куда Борис будет мне приносить поесть сколько сумеет. Наша система действовала, я кормился исключительно результатами покраж. Три дня спустя проблемы разом разрешились — один из плонжеров «Отеля Икс» уволился и по рекомендации Бориса место досталось мне.

10

«Отель Икс» — грандиозный дворец с парадной колоннадой; сбоку незаметной крысиной норкой ниша — служебный вход. Пришел я туда утром, без четверти семь. Вереница мужчин в лоснящихся потертых брюках торопливо втекала внутрь под контролем пялившегося из своей конуры швейцара. Я ждал, вскоре явился *chef du personnel*[46] (должность вроде помощника управляющего) и начал задавать вопросы. Измотанный итальянец с бледным круглым лицом спросил, имею ли я опыт плонжера, услышал мое «имею», искоса поглядел на мои уличавшие во лжи руки, но, узнав, что перед ним англичанин, оживился и согласился меня взять.

— Как раз искали человека попрактиковаться в английском, — пояснил он. — Клиенты сплошь американцы, а мы тут по-английски только и знаем «...»! — Он произнес словцо, которое карябают на стенках лондонские мальчишки. — Ладно, пошли.

Мы спустились по винтовой лесенке глубоко

---

[46] notes: 46
Заведующий персоналом *(фр.)*.

вниз, в узкий коридор, с потолком таким низким, что местами мне приходилось нагибать голову. Невыносимо душно и очень темно, еле светились желтоватые редкие лампочки. Сумрачный лабиринт, тянувшийся, казалось, на много миль (вообще-то, вероятно, и километра не было), вызывал полное ощущение глубокого корабельного трюма: тот же жар, та же теснота, резкий горячий запах пищи и гудящий, дрожащий шум от кухонных печей, точь-в-точь как от пароходной машины. Мы шли мимо дверей, из которых летели обрывки брани, падали яркие отсветы пламени, раз до костей пробрало сквозняком из холодильной кладовой. Вдруг что-то сзади меня яростно толкнуло — стофунтовая глыба льда, которую перевозил грузчик в синем переднике. Следом мальчишка тащил на плече огромный брикет телятины, щека прижата к влажной мясной мякоти. Отпихнув меня с криком «*Range-toi, idiot!*»[47], носильщики промчались. Под одной из лампочек было нацарапано: «Скорей найдешь в ноябре летний день, чем в «Отеле Икс» честную женщину». Все это выглядело диковато.

Очередной поворот вывел к прачечной, где

[47] notes: 47
Посторонись, болван! *(фр.)*

из рук тощей старой мумии я получил синий передник и кучу застиранных тряпок. Оттуда шеф сопроводил меня в берлогу под основным подвалом — я еле втиснулся между раковиной и газовыми плитами; жарища градусов сорок пять и потолок, мне лично не позволявший во весь рост распрямиться. *Chef du personnel* объяснил, что я должен обслуживать находившуюся надо мной маленькую столовую, где питались служащие высших разрядов, — носить туда еду, убирать помещение и мыть посуду. Стоило начальнику уйти, сверху в дверь просунулась свирепо вращающая глазами голова официанта, тоже итальянца.

— Англичанин, да? Ну а я тут за все ответственный. Давай трудись! — Официант энергично изобразил тумак и шмыгнул носом. — Станешь отлынивать, — последовала серия крепких пинков по косяку, — рога мигом сверну, у меня не взбрыкнешь. И в любой заварухе я всегда прав, понял? Так что старайся!

Я весьма ретиво взялся за дело. Не отрываясь (на все передышки меньше часа), проработал с семи утра до девяти вечера: мытье посуды, затем уборка столиков и подметание полов, затем полировка стаканов, чистка ножей, затем доставка

пищи, затем снова мытье посуды, затем доставка еще большего груза еды и мытье еще более высоких гор посуды. Работа легкая, справлялся я неплохо, скверно было только с походами на кухню.

Кухня эта превосходила всякое воображение — настоящая адская пещера, удушающая дымом и чадом, слепящая огненными бликами, оглушающая криком, стуком, лязгом и грохотом. Железо раскалено, и кроме самих печей вся металлическая арматура обмотана холстиной. В центре у плит крутится дюжина поваров; несмотря на белые колпаки пот с их лиц катит градом. Вокруг прилавки, осаждаемые толпами официантов и плонжеров с подносами. Голые по пояс поварята шуруют в топках или вычищают песком громадные медные кастрюли. Все бешено торопятся. Шеф-повар, багровый, с роскошными усами, беспрерывно выкрикивает: *Ca marche deux?ufs brouilles! Ca marche un Chateaubriand aux pommes sautees!*[48], изредка отвлекаясь на проклятья в адрес плонжеров. Прилавков было три, и по невежеству я первый раз сунулся со своим подносом не туда. Шеф-повар, крутя ус, подошел и,

[48] notes: 48

Готово, два яйца-меланж! Готово, один картофельный соте-шатобриан! *(фр.)*

брезгливо смерив меня взглядом, бросил повару, готовившему завтрак: «Видал? **Таких** вот типчиков нам присылают!», а затем мне: «Откуда ты, болван? Похоже, из Шарантона?» (В Шарантане большой приют для сумасшедших).

— Из Англии, — ответил я.

— И как это я сразу не догадался! Что ж, *mon cher monsieur l'Anglais*[49], позвольте доложить, что вы сучье отродье. А теперь *fous-moi le camp!*[50] Жди где положено!

Подобным образом меня встречали при каждом визите на кухню, и поскольку я в чем-нибудь да ошибался, ругательства так и сыпались. Из интереса я считал: за день меня обозвали «marquereau» (сутенером) тридцать девять раз.

В половине пятого итальянец сказал, что можно передохнуть, однако выходить из отеля не стоило, так как с пяти вновь начиналась работа. Я пошел покурить (курение строго запрещалось, но я, наученный Борисом, скрылся в сортире — единственном безопасном убежище). Потом труды мои продолжились, а четверть десятого, сунув голову в дверь, официант распорядился оставить

---

[49] notes: 49
Дорогой мой господин англичанин *(фр.)*.

[50] notes: 50
Пошел отсюда! *(фр.)*

недомытые тарелки. К моему удивлению, весь день клеймивший меня свиньей, тухлой салакой и так далее, итальянец вдруг сделался вполне дружелюбным. Стало ясно, что щедрой бранью меня, так сказать, проверяли на прочность.

— Кончай, малыш, — подмигнул официант. — *Tu n'es pas debrouillard*[51], но работаешь нормально. Идем-ка ужинать. Нам каждому тут полагается по два литра вина да я еще бутылочку припрятал — хлебнем на славу!

Мы превосходно поужинали тем, что оставалось после кормления старших по рангу. Мой официант, подвыпив, рассказал про все свои любовные делишки, про двух парней, которых он поколотил в Италии, про то, как ловко сумел увильнуть от службы в армии. Вблизи он оказался славным малым, чем-то все время для меня перекликался с Бенвенуто Челлини[52]. Я сидел взмокший и уставший, но поистине обновленный после солидного дневного рациона. Работа показалась нетрудной, меня бы она вполне устроила, только рассчитывать на продолже-

---

[51] notes: 51

Ты не особо шустрый *(фр.)*.

[52] notes: 52

Имеется в виду легендарная авантюрная жизнь великого скульптора эпохи Возрождения.

ние не приходилось: взят я был «экстренным» — на одну смену за единовременные двадцать пять франков. Из этой суммы щурившийся мерзким хорьком швейцар изъял полфранка, якобы страховой сбор (чистое вранье, как позже выяснилось), а также приказал мне снять пальто и, выйдя из конурки, ощупал с головы до пят, очень старался найти ворованные продукты. Затем подошел *chef du personnel*, который стал, подобно официанту, дружелюбен, уверившись в моем трудовом рвении:

— Возьмем, если ты хочешь, постоянным. Метрдотелю страшно нравится, как произносят названия блюд у англичан. Так что, подпишешься на месяц?

Вот и работа, и я был бы счастлив схватить ее. Но русский ресторан, где открытие через две недели? Не очень-то красиво пообещать работать месяц и посреди срока уйти. Признавшись, что у меня в перспективе другое место, я спросил, нельзя ли наняться на две недели? *Chef du personnel* пожал плечами — в отель людей берут не меньше чем на месяц. Очевидно, я упустил свой шанс.

С Борисом мы договорились встретиться под арками улицы Риволи. Узнав, что приключилось, он впал в ярость. Впервые на моих глазах забыл

хорошие манеры и назвал меня дураком:

— Идиот! Натуральный идиот! Что толку клянчить, добывать тебе работу, если ты вмиг ее прохлопал? Ну можно ли быть таким олухом, чтоб заикаться о другом ресторане? Одно ведь требовалось — обещать им этот месяц.

— Честнее все-таки было предупредить, что, вероятно, придется уйти раньше, — возразил я.

— Честней! Честней! Кто и когда что-нибудь слышал о чести-совести плонжеров? *Mon ami*, — он порывисто ухватил меня за лацкан и голос его потеплел, — *mon ami*, ты целый день там работал, ты видел, каково это, ты полагаешь, уборщики могут себе позволить благородные чувства?

— Наверное не могут, нет.

— Ну вот! Быстро беги обратно, скажи этому *chef du personnel*, что очень даже готов проработать месяц, что от другого места откажешься. Уволимся только тогда, когда наш ресторан откроют.

— Но как же насчет жалования, если я нарушу контракт?

Взбешенный моей тупостью, Борис хватил палкой о тротуар и заорал:

— А ты проси поденную оплату, не потеряешь ни гроша! Воображаешь, судятся с плонжером за

нарушение контракта? Не такова птица, чтобы суды из-за нее разводить!

Я понесся назад, разыскал начальника персонала и заявил о полнейшей своей готовности работать месяц, на который и был взят. Это мне был первый урок плонжерской этики. Впоследствии я понял, насколько тут нелепа какая-либо щепетильность, — к работникам в больших отелях беспощадны, их нанимают и рассчитывают по мере надобности. Под конец сезона увольняют процентов десять, даже больше. И никакой сложности заменить любого в любой момент, ведь Париж переполнен безработной гостиничной прислугой.

11

При увольнении контракт я не нарушил, ибо в «Трактире Жана Коттара» некий намек на открытие замаячил лишь месяца через полтора. Начались мои труды в «Отеле Икс» — четыре дня в кафетерии, день помощником официанта четвертого этажа, еще день на замене уборщицы столовой. По воскресеньям — о блаженство! — отдых, хотя иной раз требовалось и в воскресенье подменить кого-то из заболевших. Режим работы был такой: днем с семи утра до двух и вечером с пяти до девяти-одиннадцати, а в день, когда я служил при столовой, четырнадцать часов подряд. По нормам парижских плонжеров условия необычайно мягкие. Тяготила лишь страшная духота подземных лабиринтов. Хотя вообще служба в больших, хорошо организованных отелях считалась весьма комфортабельной.

Наш кафетерий представлял собой полутемный подвальчик шесть метров на два и чуть более двух высотой; втиснуто столько кофейников на спиртовках и хлеборезок, что с трудом проберешься, не наставив себе синяков. Светили одна тусклая голая электрическая лампочка и несколь-

ко дышавших горячими красными язычками газовых рожков. Висевший на стене термометр никогда не показывал ниже сорока трех градусов, временами доходило и до пятидесяти пяти. По одной стороне были люки пяти подъемников, напротив дверца чулана со льдом, где хранились масло и молоко. Шагнешь в чулан — мгновенно в климате прохладнее градусов на пятьдесят (мне всегда вспоминался гимн о Британии великой, которая от снежных гор Гренландии до коралловых берегов Индии). Обслуживали кафетерий Борис, я и еще двое: огромный, чрезвычайно страстный Марио, итальянец с оперной жестикуляцией полисмена-регулировщика, и странноватое лохматое существо, именовавшееся у нас Мадьяром (он, по-видимому, добрался сюда из Трансильвании или откуда-то еще дальше). Кроме Мадьяра все мы отличались не мелкой статью и вынуждены были в часы пик толкаться вместе.

Работа в кафетерии приливами. Без дела мы никогда не сидели, но настоящий шквал — на здешнем языке *coup de feu*[53] — обрушивался дважды в день. Первый *coup de feu*, когда гости, проснувшись, требуют завтрак. В восемь утра

[53] notes: 53

Выстрел; в переносном смысле «самый разгар», «критический момент» *(фр.)*.

подвал внезапно сотрясается от топота и крика, отовсюду яростные звонки, люди в синих передниках мчатся по коридорам, подъемники одновременно падают вниз и в люках гремит итальянская ругань официантов со всех пяти этажей. Не помню уже полного перечня наших дел, но нам в обязанность вменялось приготовление чая, кофе, шоколада, доставка блюд из кухни, вин из погреба, фруктов и прочего из столовой, нарезка хлеба, поджаривание тостов, свертывание рулетиков масла, раскладывание джема, открывание жестянок с молоком, отмеривание множества порций сахара, варка овсянки и яиц, сбивание мороженного, верчение кофемолок — все это для пары сотен клиентов. Кухня находилась в тридцати метрах, столовая метрах в шестидесяти. То, что мы отправляли на подъемниках нужно было регистрировать, и регистрировать тщательно — за горстку неотмеченного в квитанции сахара грозили серьезные неприятности. Помимо этого требовалось снабжать хлебом и кофе персонал и доставлять еду официантам наверху. Забот, в общем, хватало.

По моим подсчетам, ежедневно ходишь, бегаешь километров двадцать пять, и все же устают в первую очередь не мышцы, а мозги. Казалось

бы, тупая подсобная работа, проще не бывает, но необыкновенно трудно из-за гонки. Мечешься как угорелый, похоже на задачу впопыхах разложить сложный пасьянс. Только, например, возьмешься жарить тосты — бах! сверху прибывает подъемник с заказом на чай, булочки и джем трех сортов. И тут же — бах! рядом требование отправить яичницу, кофе и грейпфрут. Молнией летишь в кухню за яичницей, в столовую за грейпфрутом, чтобы вернуться к подгоревшим тостам, держа в голове «срочно — чай, кофе!» и еще с полдюжины ожидающих заказов. И тут же какой-нибудь официант неотступно ходит за тобой, пристает насчет недостающей бутылки содовой, и пререкаешься с ним, выясняешь. Кто бы мог ожидать такого умственного напряжения! Марио говорил (без сомнения справедливо), что на прочные навыки для кафетерия нужен год.

С восьми до половины одиннадцатого как в бреду. То спешишь, задыхаешься, будто жить осталось несколько мгновений, а то вдруг штиль, поток распоряжений стихает и общий минутный покой. Тогда метешь пол, насыпаешь свежих опилок и кружками глотаешь кофе, воду, вино — что-нибудь, лишь бы влага. Работая, мы обычно сосали отколотые кусочки льда. Возле горящих

газовых конфорок мутило, и питье заглатывалось литрами, через несколько часов даже фартук пропитывался потом. Время от времени мы безнадежно отставали, рискуя лишить часть клиентов завтрака, но Марио всегда вытягивал. Четырнадцатилетний стаж в кафетерии приучил его ни на миг не отвлекаться. Мадьяр был туп, я был неопытен, Борис (отчасти из-за хромоты, отчасти из-за постыдной для официанта должности) норовил увильнуть, но Марио работал великолепно. Его умение, раскинув длинные руки, одновременно варить яйца на плите и наливать кофе на столике напротив, при этом бдительно следить за тостами, руководить Мадьяром и еще напевать арии из «Риголетто» было выше всяких похвал. Патрон знал ему цену: нам всем в месяц платили по пятьсот, а Марио получал тысячу.

Кутерьма завтрака кончалась в половине одиннадцатого. Мы отскребали свои рабочие столы, убирались, вытряхивали мусор и, если все обстояло благополучно, по очереди шли курить в сортир. Можно было расслабиться; расслабиться, правда, лишь относительно, так как на перерыв давалось десять минут и никогда не получалось отдохнуть без помех. С двенадцати до двух новая волна суматохи — у клиентов ланч. Теперь мы

главным образом перетаскивали еду из кухни, соответственно получая *engueulades*[54] от поваров. Повара уже часов пять потели возле печей, и темперамент их достаточно разогревался.

Ровно в два превращение в свободных граждан. Фартуки долой, надеваем пальто, выходим и (при наличии денег) ныряем в ближайшее бистро. Странно очутиться на улице после жарких полутемных подземелий. Ослепительный свет, ясно и холодно, будто полярным летом, а как приятен бензиновый воздух после вонючей смеси испарений пищи и пота! Порой в бистро случались встречи с нашими официантами и поварами, которые тут вели себя по-приятельски, ставили выпивку. На работе мы были их рабами, но вне службы по внутреннему этикету полагалось полное равенство и *engueuledes* не допускались.

Без четверти пять возвращение. До половины седьмого заказов нет, мы заняты чисткой серебра, мытьем кофейников, другими попутными делами. Затем самый высокий за день штормовой вал — ужин! Хотелось бы на время стать Золя, чтобы достойно обрисовать эту бурю. Суть заключалась в том, что каждый из пары сотен гостей требовал

---

[54] notes: 54
Ругань, брань, головомойка *(фр.)*.

собственную трапезу, включавшую пять-шесть блюд, а полсотни людей должны были готовить кушанья, подавать, забирать потом объедки, убирать столики (всякий, знакомый с ресторанным делом поймет задачу). И при таком усиленном режиме персонал к вечеру уже совсем измотан, а многие работники пьяны. Никаких слов не хватит для изображения полной картины: беготня с грузами взад-вперед по узким лабиринтам, крик, сутолока, столкновения с подносами, корзинами, кубами льда, темень, жара, неутоленная по недостатку времени ярость вскипающих безумных ссор — неописуемо. Попавшему сюда впервые увиделось бы логово маньяков. Только позже, освоившись в отеле, я разглядел порядок в этом хаосе.

В восемь тридцать резкое торможение. До девяти мы еще не свободны, но можем растянуться на полу и дать отдых ногам, не способным даже доковылять до чулана, взять со льда что-нибудь из питья. Иногда *chef du personnel* приносит пиво (пиво официально выдавалось как экстренное средство взбадривания). Хотя кормили нас съедобно и не более, насчет спиртного патрон не скупился, каждому позволяя два литра вина в смену и зная, что без официальных двух литров

плонжер украдет три. Вдобавок в нашем распоряжении оставались многие недопитые бутылки, так что прикладывались мы и часто и усердно, — штука полезная, работается под хмельком как-то повеселей.

Подобным образом прошло четыре дня, потом еще один, когда было получше, потом другой, когда похуже. К концу недели весьма ощущалась потребность в отдыхе. У завсегдатаев бистро моей гостиницы существовал обычай крепко напиваться субботним вечером, и я, имея впереди свободный день, охотно к ним примкнул. Упившись донельзя, мы разошлись в два часа ночи с тем чтобы отсыпаться до полудня. Полшестого меня внезапно разбудили. Посланный из отеля ночной сторож сдергивал одеяло и грубо тряс меня.

— Вставай! — орал он. — *Tu t'es bien saoule la gueule, pas vrai?*[55] Ничего, очухаешься! Человек срочно нужен — работать давай иди.

— Как это работать? — сопротивлялся я. — У меня выходной.

— Выходной у него! Раз работа, так исполнять должен. Вставай!

---

[55] notes: 55
Что, здорово надрался, да? *(фр.)*

Я встал и вышел на улицу, позвоночник раздроблен, под черепом пылающий костер. Ни о какой работе речи быть не могло. Однако после часа под землей самочувствие совершенно пришло в норму. Подвальная жара не хуже турецкой бани выпаривает почти любое количество спиртного. Плонжеры пользуются этим. Возможность влить в глотку литры вина и пропотеть, пока не начались всякие неприятности для организма, — завидное преимущество жизни плонжера.

12

Лучше всего бывало мне в отеле, когда я помогал официанту четвертого этажа. Мы работали в небольшой кладовой, сообщавшейся с кафетерием через подъемный люк. Упоительная прохлада после подвала, и работа — главным образом полировка серебра и стеклянных бокалов, весьма гуманный вид труда. Официант Валенти, парень вполне приличный, наедине со мной общался почти как с равным, хотя конечно грубил при свидетелях, ибо официантам не пристало любезничать с плонжерами. В удачные для него дни Валенти подкидывал мне несколько франков от своих чаевых. Миловидный юноша двадцати четырех лет, а по виду восемнадцати, он, как и большинство официантов, следил за внешностью, умел носить одежду. В черном фраке и белом галстуке, сияя свежим лицом и пробором гладко зачесанных каштановых волос, смотрелся настоящим воспитанником Итона[56] при том что с двенадцати лет сам зарабатывал себе на жизнь,

[56] notes: 56

Старинный, самый привилегированный английский колледж, питомцем которого был и сам Оруэлл.

пробиваясь буквально из канавы. Опыт его уже включал и беспаспортный переход границы, и пятьдесят суток ареста в Лондоне за отсутствие разрешения на работу, и любовную связь с клиенткой отеля, старой богачкой, подарившей ему алмазный перстень и потом обвинившей в краже. Приятно было поболтать с ним, покуривая, выдыхая дым в шахту подъемника.

Худшим был день уборщика столовой. Тарелки, на которых приносилась еда из кухни, я не мыл, только другую посуду, приборы и стаканы, тем не менее даже это означало тринадцать часов у раковины и тридцать-сорок мокрых кухонных полотенец. Французский старомодный способ мытья посуды очень утяжеляет дело: о сушилках для посуды тут и не слыхивали, нет и мыльных хлопьев, есть лишь кусок черного глинистого мыла, упорно не желающего мылится в парижской жесткой воде. Основная работа шла в непосредственно примыкавшем к столовой грязном, захламленном чулане (одновременно и моечной и кладовой). Кроме того, на мне были доставка блюд и обслуживание официантов, чья нестерпимая наглость не однажды заставляла применять кулаки для исправления манер. Женщине, постоянной здешней судомойке, эта

публика совершенно отравила существование.

Забавно было, стоя в своей помойной конуре, представлять сверкающий лишь за двумя дверями зал ресторана. Там клиенты среди сплошного великолепия — безупречные скатерти, букеты, зеркала, золоченые карнизы, росписи с херувимами, а тут, вплотную, наша мерзкая грязища. Грязь действительно была омерзительная. До вечера на уборку пола ни минуты, и топчешься по скользкой мыльной каше салатных листьев, размокших салфеток, остатков пищи. За столиками дюжина официантов, сняв пиджаки, демонстрируя взмокшие подмышки, месит себе салаты (на больших пальцы едоков следы сметаны из горшочков). Комната провоняла потом и кислятиной. В шкафах за стопками посуды всюду напихана краденая еда. Умывальника не имелось, только две раковины с затычками, и у официантов было обычным делом ополоснуть лицо в той же воде, где споласкивалась посуда. Клиенты, однако, обо этом не подозревали. Благодаря кокосовому половику и зеркалу перед дверью в ресторан, официант, прихорошившись, выходил к гостям олицетворением опрятности.

Эти выходы стоило посмотреть. В дверях моментальная перемена — плечи расправлены,

неряшливости, суетливой нервозности как ни бывало, по ресторанном ковру плавная церемонная поступь архиепископа. Помню, как-то помощник метрдотеля, вспыльчивый итальянец, на выходе обернулся к новичку, разбившему бутылку вина (двери, по счастью, хорошо глушили звук):

– *Tu me fais chier*[57]. Какой из тебя официант, ублюдок ты поганый? Официант! Не годен даже полы скрести в борделе своей мамаши, старой потаскухи! Marquereau!

С порога он еще яростнее повторил самое популярное у итальянцев оскорбление, толкнул дверь... И грациозным лебедем поплыл с подносом через зал. Секунд десять спустя почтительно изогнулся перед столиком. Ну кто бы, видя эту обходительность, эти манеры, эту натренированную деликатность улыбок, мог сколько-нибудь усомниться в аристократизме сего подателя тарелок.

Мыть здесь посуду я терпеть не мог — не тяжело, но зверски тупо и надоедливо. Страшно подумать, что есть люди, обреченные делать это десятилетиями. Судомойке, которую я заменял, было весьма за шестьдесят, и круглый год, шесть

---

[57] notes: 57
Ты меня достал. *(фр.)*

дней в неделю ей приходилось горбиться над раковиной, постоянно терпя вдобавок хамство официантов. Будучи в прошлом, по ее словам, актрисой (на самом деле, как я полагаю, проституткой; уборщица — финал большинства дам этой профессии), она носила мало подходящий ее месту и возрасту парик яркой блондинки, рисовала на лице губки и бровки юной куколки. Что ж, видно, даже рабство по семьдесят восемь часов в неделю приканчивает человека не до конца.

13

На третий день службы в отеле *chef du personnel*, дотоле обращавшийся ко мне вполне любезно, вызвал меня и резко бросил:

— Вот что, кончай, немедленно сбривай усы! *Nom de Dieu*, где такое видано — плонжер с усами?

Я начал было возражать, но он отрезал: «Плонжер с усами — чушь! Чтобы завтра же явился без этого безобразия!»

По дороге домой я спросил Бориса, в чем дело. Он пожал плечами:

— Необходимо покориться, *mon ami*. В отеле, как ты, вероятно, успел заметить, усы только у поваров. Резоны? Резонов никаких, но так уж заведено.

Обнаружив столь же строгий параграф этикета, как невозможность повязать белый галстук к смокингу, я сбрил усы. Со временем подтекст правила прояснился: официанты усы бреют в знак сословного превосходства, запрещая ношение усов и плонжерам, а повара носят усы в знак презрения к официантам. Достаточно наглядно для представления о сложной кастовой

иерархии. У сотни с лишним человек персонала различия по старшинству типа армейских; официант или повар выше плонжера, как лейтенант относительно рядового. В верховном чине управляющий с его властью уволить кого угодно вплоть до поваров. Патрона мы никогда не видели (знали лишь то, что кушанья ему надо готовить еще внимательнее, чем клиентам); управляющий руководил всем, очень рьяно следя за дисциплиной, особенно в части увиливания от работы. Но нас, умников, подловить было нелегко. Пронизывавшую отель сеть служебных звонков штат приспособил для оповещения коллег. Сигнал «длинный-короткий-два длинных» предупреждал «начальство близко», и мы кидались изображать бурную хлопотливость.

Ступенькой ниже управляющего метрдотель. Ресторанным гостям он не прислуживал, разве что исключительно знатным особам, а командовал официантами и вообще направлял работу в зале. Его чаевые с премиальными винных компаний (два франка за пробку от шампанского) достигали двух сотен в день. Он находился на особом положении — ел у себя в кабинете, столовый прибор из серебра и возле стола пара начинающих лакеев в крахмальных белых куртках.

Чуть ниже главного официанта главный повар, получавший около пяти тысяч в месяц. Обедал шеф-повар на кухне, но за отдельным столиком и с прислуживающим поваренком. Затем шел *chef du personnel*: месячный оклад всего полторы тысячи, зато право носить черный пиджак, самому ничего не делать и рассчитывать превосходных официантов и плонжеров. Затем повара, им платили от семисот пятидесяти франков до трех тысяч; затем официанты, у которых кроме маленькой твердой зарплаты набегало в день франков семьдесят чаевых; затем швеи и прачки, затем ученики официантов (оклад семьсот пятьдесят и пока без чаевых), затем плонжеры с той же ставкой семьсот пятьдесят, затем горничные, получавшие по пятьсот-шестьсот франков, и наконец работники кафетерия — пять сотен в месяц. Мы, «кафетьеры», были самым дном, нас сообща презирали и называли исключительно на «ты».

Имелись всякие другие специальности: и конторщик, и так называемый курьер, и кладовщик, и особый кладовщик винного погреба, и бой, таскающий за клиентом чемоданы, исполняющий мелкие поручения, и грузчик, и еще пекарь, развозчик льда, ночной сторож, швейцар. Раз-

личные рабочие места занимали представители разных наций. Конторщики, прачки и повара — французы; официанты — итальянцы или немцы (француза-официанта в Париже едва ли сыщешь); плонжеры — из всех европейских стран, а также арабы и негры. Общались все, и даже итальянцы между собой, на французском жаргоне.

У каждого подразделения свои льготы. Пекарям парижских отелей выпечка с браком продается по восемь су за фунт, плонжеры делят гроши от продажи помоев на корм свиньям. И везде процветает мелкое воровство. Расхищаются продукты — порции официантов всегда больше казенной нормы (каких-либо особых неприятностей из-за этого я не замечал), у поваров на кухне то же и масштабы еще крупнее, мы в кафетерии обпивались незаконными литрами чая и кофе. На винном складе кладовщик крал коньяк. По правилам отеля официантам запрещалось припасать алкоголь, с каждым заказом на спиртное следовало идти в погреб, а там кладовщик всякий раз каплю недольет, чтобы потом приторговывать, отпуская надежным сослуживцам стопочку коньяка за четверть франка.

Попадались воры, кравшие у своих; оставленные в пальто деньги обычно исчезали. Самым

большим грабителем оказался выдававший заработок и обыскивавший нас швейцар. При моих пяти сотнях в месяц, через полтора месяца он нагрел меня на сотню с лишним. Поскольку я договорился брать поденно, он каждый вечер мне отсчитывал шестнадцать франков и ни сантима не давал за выходные (которые, конечно, тоже входили в общий счет), присвоив таким образом шестьдесят четыре франка. Мало того, иногда ведь я работал по воскресеньям, но ничего не знал о сверхурочных двадцати пяти франках, и он спокойно положил себе в карман еще семьдесят пять. Когда я понял это жульничество, доказывать что-либо было уже поздно, вернуть удалось только двадцать пять франков за последний отработанный выходной. Такие фокусы швейцар проделывал со всяким достаточно круглым дураком. Армянин, называвший себя греком, он подтвердил мне правоту поговорки: «Змее верь больше чем еврею, еврею верь больше чем греку, но никогда не доверяй армянину».

Среди официантов мелькали странные фигуры. Был некий джентльмен из хорошей семьи и с университетским дипломом, который успешно начал карьеру в солидной фирме, но, подхватив дурную болезнь, работу потерял, где-то болтал-

ся, теперь за счастье почитал прислуживать у столиков. Многие просочились во Францию без паспортов, один или двое из таковых наверняка шпионили — профессия официанта удобна и популярна в шпионском деле. Однажды полыхнула ссора между жутковато глядевшим своими чересчур широко расставленными глазами Моранди и другим официантом, у которого Моранди, по видимому, отбил любовницу. Противник, явно трусивший слабак, туманно угрожал, и Моранди издевался над ним:

— Чего ты сделаешь-то, ну чего? Ну поимел я твою кралю, три раза переспали — красота! Чего ты сделаешь-то мне?

— А донесу вот в полицию секретную, что ты — итальянский шпион!

Отрицать это Моранди не стал, он выхватил из заднего кармана бритву, молниеносно чиркнув косым крестом по воздуху, будто кому-то по щекам. Соперник дал задний ход.

Наиболее оригинальное впечатление на меня в отеле произвел один «экстренный», по соответственной расценке взятый на день вместо приболевшего Мадьяра. Это был серб, шустрый коренастый парень лет двадцати пяти, говоривший на шести языках, включая английский.

Знавший, казалось, всякое гостиничное дело, он до полудня усердно, покорно вкалывал, но только пробило двенадцать, помрачнел, работать почти перестал, украл вина и часам к двум увенчал все это откровенным бездельем с трубкой в зубах. Курение активно преследовалось и каралось сурово. Сам управляющий для выяснения проступка спустился к нам, кипя негодованием:

— Какого дьявола ты вздумал тут курить? — заорал он.

— Какого дьявола ты отрастил такое рыло? — невозмутимо ответил серб.

Богохульство, степень которого не передать; шеф-повар за такую реплику плонжера выплеснул бы тому в лицо кипящий суп. «Уволен!» — рявкнул управляющий. Серба, выдав его экстренные двадцать пять франков, немедленно удалили. Напоследок Борис спросил по-русски, что за комедию парень ломал. И серб ответил:

— Сам рассуди, *mon vieux*[58], если я в полдень работал, так должны мне этот день оплатить? Обязаны! Таков закон. А если денежки уже мои, охота надрываться? Тогда смотри, какую я завел систему: иду в отель, прошусь «экстренным», до

---

[58] notes: 58
Старина, дружище *(фр.)*.

двенадцати вкалываю, но, как полдень отбило, подымаю такой тарарам, что уж приходится меня уволить. Чистый номер? Обычно ухожу уже полпервого, сегодня в два — черт с ними, наплевать, четыре часа все равно себе оттяпал. Жаль только, по второму разу в одном месте не провернешь.

Он, видимо, обошел со своим номером уже половину парижских отелей и ресторанов. Несмотря на усиленные старания администрации защититься составлением черных списков, его шутку запросто можно было разыгрывать на протяжении всего лета.

14

Через несколько дней я уловил суть общей механики. Прежде всего в отелях новичка поражают накаты бешеной суматохи, столь отличной от ровного ритма работы у прилавков или станков, что дело видится плохо организованным. Ситуация, однако, и неизбежна, и вполне логична. Не особо замысловатые гостиничные службы принципиально не поддаются четкому регулированию. Нельзя, скажем, поджарить бифштекс за пару часов до заказа на него; надо ждать повеления клиента, а дождавшись массы разом хлынувших требований, исполнять все их одновременно и в дикой спешке. Люди здорово перегружены, что, естественно, не обходится без свар и брани. И, надо сказать, перебранки — необходимая часть процесса, темп которого никогда не достиг бы нужных скоростей, если бы всякий не клял всякого за нерадивость. Час трапезы клиентов превращает персонал в яростно мечущих проклятья демонов и заменяет почти все глаголы единственным «пошел ты!». С губ шестнадцатилетней замарашки сыплются выражения, сразившие бы даже шоферов. (Почему

Гамлет говорит «браниться, как судомойка»? Несомненно, Шекспир лично наблюдал кухонных слуг в деле). Тем не менее мы, ругаясь, ни голов, ни времени не теряли, а просто помогали друг другу уплотнить напряженные часы.

На чем в действительности держится отель, так это на преданном отношении к работе, пусть даже самой примитивной. Лентяя здесь быстро опознают и дружно заставляют убраться. Позиции у поваров, официантов и плонжеров весьма различны, но во всех живет гордость своим занятием.

Наиболее близки рабочему классу и далеки от лакейства повара. Они не получают таких денег, как официанты, зато у них выше престиж и место их значительно прочнее. Сам повар себя ощущает не прислугой, а мастером, его и называют *un ouvrier*[59] (официанта так никогда не назовут); он знает свою силу — знает, что в первую очередь от него зависит успех дела, что, опоздай он хоть на пять минут, порядок рухнет. Презирая всех работников не поварской профессии и полагая делом чести оскорблять каждого из них за исключением метрдотеля, повар гордится достигнутым долгой

[59] notes: 59
Умелый работник, мастер *(фр.)*.

практикой артистизмом — сложно не столько приготовить еду, сколько суметь приготовить ее вовремя. От завтрака до ланча шеф-повару «Отеля Икс» заказов поступало на сотни кушаний с разными сроками исполнения, и хотя самолично он готовил немногое, но инструктировал и проверял каждое блюдо. Память его изумляла. Листки с заказами прикалывались на столе, однако шеф-повар редко туда поглядывал, все держал в голове и выкрикивал какое-нибудь очередное *Faites marcher une cotelette de veau!*[60] минута в минуту. Он был невыносимо груб, но подлинный артист. За точность, отнюдь не за превосходство в ремесле, предпочитают поваров мужчин.

Совсем иной внутренний взгляд у официантов. Тоже есть гордость мастерством, но мастерством услужливым, лакейским. Дни официант проводит, непрерывно глазея на богачей, стоя возле их столиков, ловя их разговоры, примазываясь к ним улыбочками и осмотрительными шуточками — наслаждаясь неким приобщением к их расточительству. А кроме того, всегда существует собственный шанс разбогатеть; в некоторых кафе на Больших бульварах такие щедроты от гостей,

---

[60] notes: 60
Запускай телячью котлету! *(фр.)*

что сами лакеи платят хозяевам за рабочие места. Постоянно наблюдающий трату денег и грезящий об этих деньгах, официант в конце концов чувствует себя чем-то единым с клиентурой. Из кожи вон лезет, стараясь обслужить стильно, так как и самого себя он уже ощущает участником пиров.

Валенти рассказывал мне о каком-то банкете в Ницце, стоившем двести тысяч франков и потом месяцами обсуждавшемся: «Какая ж роскошь, *mon p'ti, mais magnifique!*[61] Ух ты черт! Шампанское, серебро, орхидеи — сроду такого не видал, хотя кой-чего приводилось. Ух, вот роскошь!»

— Ты ведь, однако, лишь прислуживал? — уточнил я.

— Ну да, конечно. Но какая ж роскошь!

Мораль — никогда не жалейте официанта. Например, вы сидите в ресторане, сидите уже полчаса после закрытия и представляете, что измученный официант вас презирает. Ошибаетесь. Глядя на вас, он не думает: «Лопнул бы ты, дубина!», а думает он: «Вот когда-нибудь накоплю денег и таким же господином буду сидеть». Полнейшая готовность служить тем радостям, которые его влекут и восхищают. Поэтому редко

---

[61] notes: 61

Ну, дружок, просто великолепно! (*фр.*, с вульгарным произношением).

найдешь среди официантов социалиста, поэтому и хилый профсоюз, поэтому рабочий день двенадцать, порой даже пятнадцать часов. Это снобы, душевно вполне расположенные к лакейству.

Свой особенный взгляд изнутри и у плонжеров. В их работе перспектив нет, одно выжимание соков, ни следа творчества или интереса. Сюда брали бы просто уборщиц, если б у женщин хватало сил. Все что тут требуется — постоянно быть на ногах и подолгу выносить кислородное голодание. Переменить эту жизнь невозможно, так как ничего из грошовой зарплаты не отложишь, а подыскать что-то другое, работая от шестидесяти до сотни часов в неделю, нет времени. Надеяться плонжер в лучшем случае может на чуть более теплое местечко ночного сторожа или смотрителя клозета.

Но даже у нижайшего плонжера, раба рабов, наличествует некий сорт гордости — гордость трудяги, берущего не содержанием, зато количеством труда. На этом уровне единственно доступный способ держать себя с достоинством это пахать как вол. Плонжер высшего пилотажа — «дебруйар», тот, кто самое невозможное исполнит, со всем справится, всегда изловчится (*se*

debrouiller[62]). В «Отеле Икс» при кухне работал немец, известный местный дебруйар. Однажды важному клиенту, какому-то британскому милорду, вдруг среди ночи захотелось персиков, что привело официантов в смятение, поскольку фрукты эти на складе кончились, а магазины давно закрылись. «Без паники!», — сказал немец. Ушел и через десять минут возвратился с четырьмя персиками — своровал их в соседнем ресторане. Вот что такое дебруйар. С милорда взяли по двадцать франков за персик.

Старшина нашего кафетерия Марио демонстрировал тип образцового трудяги: всецело сосредоточенный на «работенке» и призывающий к тому же остальных. Четырнадцать лет службы в гостиничных подвалах закалили его обильное врожденное благодушие до крепости стального поршня; *faut etre un dur* — «надо быть как кремень», говорил он, услышав чье-то нытье. И плонжеры частенько похвалялись «я как кремень», ощущая себя гвардейцами, а не судомойками мужского пола.

Таким образом, чувство служебной чести присутствовало во всех подразделениях и очередной

---

[62] notes: 62
Выйти из положения, выкрутиться *(фр.)*.

гигантский вал работы встречался во всеоружии соединенных сил. Вечный бой между отделами тоже определенным образом шел на пользу, так как охрана собственной льготной добычи отваживала посторонних грабителей и ловкачей.

Порядок многосоставного хозяйства с разномастным обслуживающим персоналом обеспечивался четкой задачей каждого и личной его добросовестностью. Это в отеле было хорошо. Но был и слабый пункт — усилия работников не совсем совпадали с нуждами клиентов. Гости, по их убеждению, платили за высококлассный сервис, а служащие, по их убеждению, получали за «работенку», вследствие чего высококлассный сервис преимущественно имитировался. В этом отношении отель со всеми его чудесами пунктуальности уступал худшему из наихудших частных домов.

Взять, для примера, чистоту. В рабочих помещениях «Отеля Икс» свежему глазу открывалась грязь вопиющая. По всем темным углам кафетерия присохла еще прошлогодняя гадость, а хлебница кишела тараканами. Я как-то предложил Марио истребить этих тварей. «Зачем убивать бедных букашек?» — укоризненно сказал он. Товарищи мои хохотали, когда я мыл руки

прежде чем взяться за масло. Тем не менее чистоту, причисляемую к «работенке», мы блюли. Во исполнение режима мыли рабочие столы и начищали медь регулярно; но распоряжений по-настоящему навести чистоту не поступало, да и некогда было. Мы просто отрабатывали наш урок, и так как первейшей задачей ставилась точность, берегли время, оставаясь в прежнем хлеву.

На кухне грязь была похлеще нашей. Это не фигура речи, а констатация факта, когда говорят, что французский повар способен плюнуть в суп (не тот, естественно, которым сам он намерен угоститься). Здешний повар артист, однако отнюдь не гений чистоплотности. В определенной мере небрезгливость даже необходима его артистизму: шикарный вид еды требует антисанитарной обработки. Когда шеф-повару передают для заключительного оформления какой-нибудь бифштекс, вилкой маэстро не пользуется. Он хватает мясо рукой, хлопает его на тарелку, укладывает пальцами, облизав их с целью проверить соус, перекладывает кусок, снова облизав свой инструмент, затем, чуть отступя, критически глядит на блюдо, подобно живописцу перед мольбертом, и наконец любовно завершает композицию толстыми розовыми пальцами, с утра облизанными

уже стократно. Будучи удовлетворен, шеф-повар тряпкой удаляет отпечатки пальцев с фарфоровых краев и вручает произведение официанту. И официант, конечно же, несет тарелку, запустив в соус **свои** пальцы — мерзкие, сальные пальцы, которыми он беспрерывно приглаживает густо набриолиненную шевелюру. Всякий раз, уплатив за бифштекс в Париже свыше десяти франков, можно не сомневаться в пальцевой методе приготовления. В дешевых ресторанах по-другому, там эти пакости еду минуют; куски, подцепив вилкой из кастрюли, раскидывают по тарелкам без художеств. Грубо говоря, чем выше цена в меню, тем больше пота и слюны достанется вам бесплатным гарниром.

Неопрятность присуща отелям и ресторанам, цель которых не накормить, а сразить шиком. Работник слишком занят подачей пищи, чтобы помнить, что эту пищу едят. Еда для него просто *une commande*[63], вроде того как чья-то смерть от рака для врача просто «случай». Клиент заказывает, скажем, тост. Где-то в подвале некто, разрываясь на части, обязан быстро заказ исполнить. Может ли он приостановиться с мыслью:

---

[63] notes: 63
Заказ *(фр.)*.

«Тост этот съедят — надо бы, значит, сделать его съедобным?». В голове у него только то, что выглядеть блюдо должно пристойно и отнять не больше трех минут. Пот со лба капает на хлеб — ну и что? Тост падает на пол, в месиво грязных опилок — ну и что, не с новым же возиться? Гораздо проще испачканный ломтик обтереть. По пути наверх тост опять падает, маслом вниз, — еще раз обтереть да и все. Такова система. Аккуратно в «Отеле Икс» готовили лишь самим себе и патрону. Всеобщей моральной заповедью было «гляди в оба, если хозяину, а для клиентов — наплевать, *s'en fout pas mal!*[64]» Всюду в рабочих отделах сор и гадость; за фешенебельным фасадом тайная циркуляция грязи, как работа кишечника в теле красавицы.

Помимо свинского неряшества патрон сознательно обжуливал клиентов. Главным образом, закупкой дрянных продуктов, которые повара, однако, умели стильно преподнести. Мясо в лучшем случае среднего качества, а овощи такие, что хозяйки, ходя по рынку, на них даже бы не взглянули. Сливки, продукт повышенного спроса, разбавлялись молоком. Чай и кофе худших

---

[64] notes: 64
И так, черт бы их взял, сойдет! *(фр.)*

сортов; джемы со всякой химией, из громадных жестянок без этикеток. Все вина дешевые, закупоренные, по экспертизе Бориса, как *vin ordinaire*[65]. Согласно правилам, загубив что-либо, урон оплачивали служащие, а потому испорченное ненадолго попадало в разряд отбросов. Когда официант третьего этажа уронил в шахту подъемника жареного цыпленка, приземлившегося на слой крошек, корок, липких бумажек и прочей пакости, мы вытерли его тряпкой и тут же вновь отправили наверх. С этажей доходили глухие слухи об уже побывавших в употреблении простынях, которыми без стирки, лишь увлажнив и прогладив, вновь застилали кровати. На нас патрон скупился так же, как на клиентов. В огромном хозяйстве отеля не имелось, например, ни швабры, ни совка; управляться приходилось с веником и куском картона. Уборная для персонала была достойна Центральной Азии, вымыть руки нельзя было нигде кроме раковин с грязной посудой.

Но несмотря на все это «Отель Икс» входил в дюжину самых роскошных парижских отелей и пребывание здесь стоило бешеных денег. Стан-

---

[65] notes: 65

Ординарное (низкосортное, с выдержкой менее одного года) вино *(фр.)*.

дартная цена за то, чтобы переночевать (без завтрака), — двести франков. Вино и табак вдвое дороже магазинных, хотя патрон, конечно, брал их оптом, по дешевке. Если клиент являлся или же предполагался миллионером, тарифы автоматически повышались. Однажды утром гость с четвертого этажа, сидевший на диете американец, заказал к завтраку только горячую воду и соль. Валенти был взбешен: «Какого черта! А мои десять процентов? Что, десять процентов от соли и воды?!». И подал счет за завтрак — двадцать пять франков. Клиент безропотно заплатил.

По словам Бориса, то же происходило во всех парижских отелях, по крайней мере в роскошных и дорогих. Но мне кажется, что клиенты «Отеля Икс» особенно легко клевали на дутый шик, поскольку в основном это были американцы, слегка говорившие по-английски, нисколько по-французски и абсолютно не имевшие представления о хорошей еде. Преспокойно могли набивать животы отвратительной американской «кашей», есть мармелад с чаем, пить вермут после обеда, и, заказав *poulet a la reine*[66], поливать стофранковый деликатес грубым соевым соусом. Одному

[66] notes: 66
«Цыпленок по-королевски» *(фр.)*.

клиенту из Питтсбурга каждый вечер носили в спальню ужин — виноград, яичница и какао. Быть может, водить за нос подобных персон не столь уж и грешно.

15

Каких только рассказов не услышишь в отеле. Про наркоманов, про блудливых стариков, рыщущих по отелям смазливых боев, про воровство и шантаж. Марио рассказал про то, как горничная из отеля, где он прежде работал, украла у американки бесценное бриллиантовое кольцо. Несколько дней, не давая работать, обыскивали персонал, два детектива перерыли все сверху донизу, но ничего так и не нашли — работавший в пекарне любовник горничной запек кольцо в рулет, где драгоценность тихо и укромно дождалась прекращения следствия.

Валенти как-то в минуты отдыха поведал мне одну историю о себе:

— Знаешь, *mon p'tit*, все это здорово, когда в отеле, но когда без работы, так ни к черту. Небось сам пробовал сидеть с пустым брюхом? Forcement, не то тарелки бы не мыл. Ну, я-то не чертов плонжер, я официант, а тоже было дело — и мне пять дней проголодать пришлось. Пять дней, будь они прокляты, ни корки хлеба!

Чертовы, я тебе скажу, денечки. Вся радость, хоть за комнату вперед было заплачено. Жил я

тогда в Латинском квартале, на улице Святой Элоизы в задрипанной гостинице, «Отель ***» — по имени какой-то здешней старинной шлюхи. Остался без куска и сделать ничего не могу, даже в кафе, куда ходят официантов брать, пойти не могу — полфранка на чашку кофе нету. Мог только койку пролеживать, слабнуть да слабнуть и на хороводы клоповые по стенкам любоваться. Я тебе так скажу, еще раз через это очень бы неохота.

В пятый день прямо ополоумел (сейчас думаю, точно тогда спятил). Висела там печатная картинка с личиком женским, давно приляпанная, вся уж выгорела, и вот разобрало меня — кто ж такая? Час прямо думал и в конце надумал — видно, самая та Святая Элоиза, которая здешняя покровительница. Раньше про все такое никогда, но тут-то, с голодухи, самое чудное дело в мозги заехало.

«*Ecoute, mon cher*[67], — говорю я себе, — загнешься ведь при такой жизни. Давай-ка действуй. Что б вот тебе перед этой Святой Элоизой взять да и помолиться? Стань на колени, попроси деньжат послать хоть сколько. Попробуй, хуже-то небось

---

[67] notes: 67
Послушай, мой дорогой *(фр.)*.

не станет!»

Псих, да? А надо ж чем-то от голода спасаться. Тем более, вреда вроде бы никакого. Слез с койки, стал молитву говорить:

«Дорогая Святая Элоиза, если ты есть, пошли ты мне, пожалуйста, деньжат немножко. Много-то я не прошу — купить бы хоть пару буханок да винца бутылку, силенки чтоб вернуть. Франка бы три-четыре. Поможешь если, так не представляешь, как я тебя благодарить буду. Не сомневайся — как чего пошлешь, сразу пойду, свечку тебе поставлю в твоей церкви, которая вон с краю улицы. Аминь».

Насчет свечки я потому, что слыхал — нравится этим святым, когда им для почета свечки жгут. Все решил сделать, конечно, как обещался. Хотя я в бога-то не верю и на особо чего не рассчитывал.

Ну вот, залез обратно в койку, а через пять минут стучат. Пришла Мария, толстуха деревенская, тоже там проживала. Дура совсем, но девка первый сорт, не хотелось перед ней дохляком показываться. Глянула она на меня и в голос:

– *Nom de Dieu!* Что это с тобой? Чего разлегся

посреди дня? *T'en as une mine!*[68] В точности покойник!

Вид у меня, конечно, был веселый — пять дней не жрал и не вставал почти, и уже дня три как не мылся и не брился. Комната тоже свинарник настоящий. Мария опять кричит:

— Да что стряслось?

— Стряслось! — говорю я. — Ни черта! Голодный! Пять дней во рту ни крошки, вот что стряслось.

Мария заохала:

— Прям-таки ни крошки? Чего ж? Нисколько, что ли, нету денег?

— Денег! Сама ты сообрази, стал бы я голодать-то, когда бы были? Пять су в кармане и до нитки все заложено. Кругом погляди, есть тут чего продать или закладывать? Найдешь если тут на полфранка, значит умней меня.

Мария стала смотреть кругом. Ходила, тыкалась по углам в разный хлам — и вдруг прямо вся затряслась, глазищи круглые, губищи толстые выпятила:

— Балда! — кричит. — Дурень! А **это** что?

Смотрю, из кучи раскопала керосиновый бидон

---

[68] notes: 68
Ну и вид у тебя! *(вульг. фр.)*

для той лампы, которую я уж давно с другим барахлом в заклад снес.

— И что? — говорю. — Бидон керосиновый, чего ж тут?

— Дурень! Ты в лавке, когда керосину отпускали, за бидон три франка залог давал?

Ну верно, три с полтиной тогда выложил. Всегда ведь за бидон велят залог оставить, а после, как бидон вернешь, деньги назад.

— Давал, чтоб их... — начал я.

— Вот балда! — орет Мария. И пляшет, так разошлась, я думал, полы своими дубовыми башмаками проломит точно. — *T'es louf*![69]*T'es louf*! Чего ж обратно в лавку не бежишь залог брать? Голодает, когда у него деньги перед носом! Вот дурень!

Сам теперь не пойму, как я не сообразил обратно бидон сдать. Пять дней рядом монеты были! Голову с подушки поднял: «Живо! — кричу Марии, — выручай, чертом несись на угол, к бакалейщику! Да куснуть притащи!»

Мария молча бидон хвать и вниз по лестнице загрохотала, как слон бешеный. Трех минут не прошло, назад — в одной руке кило хлеба, в дру-

---

[69] notes: 69
Ты чокнутый! *(вульг. фр.)*

гой вина пол-литра. Не до спасибо даже было, цапнул хлеб и давай зубами рвать. А ты заметил, какой у хлеба вкус, когда долго не евши? Сырой, холодный, к языку замазкой липнет, но хорош, дьявол! А вино — я бутылку в рот опрокинул и без отрыва, и прям в жилы по всему телу сила потекла. Эх, другая жизнь!

Кило хлеба сожрал, не передохнул. Мария все стояла руки в боки, глядела, как я ел.

— Ну, — говорит потом, — получше?

— Получше! — говорю. — Куда как лучше! Одно бы еще только — закурить.

Она рукой в кармане фартука пошарила, башкой мотает:

— Не, никак. Семь су осталось, а сигарет самых дешевых пачка — двенадцать су.

— Тогда, — кричу, — будет мне курево! Ну, дьявол, во валит удача! Пять су у меня есть, как раз и хватит.

Взяла Мария двенадцать су, потопала к табачнику. А я тут кое-чего вспомнил, что вовсе из головы вон. Про эту, черт ее дери, Святую Элоизу. Я же ей свечку обещал, если денег пошлет, а разве ж не сбылось? «Франка бы три-четыре» попросил — и тут же на-ка тебе три с полтиной. Никуда, значит, не денешься, должен все денежки на

свечку выкинуть. Зову назад Марию, говорю: «Не пройдет. Святая Элоиза — свечку ей обещал. На нее надо двенадцать су». И что, кретин, сам вылез? Сигарет даже после всего не купить.

— Святая Элоиза? — спрашивает Мария. — Она при чем?

— Деньжат у нее попросил и свечку обещался ей поставить, а она вот молитву приняла — денег, как ни крути, подкинула. Обида, конечно, забирает, но раз уж клятву дал, отхода нет.

— С чего это Святая Элоиза в башку тебе ударила?

— С портрета, — говорю я, — вон, на картинке.

Ну, Мария, как поглядела, от хохоту стала разрываться. Хохочет и хохочет, бегает, за бока жирные ухватилась, сейчас лопнет. Совсем тронулась девка. Минуты две говорить не могла, потом стонет:

— Балда! Чокнутый! Ты чего, впрямь перед этой картинкой на коленках стоял, молился? Да тебе кто сказал-то, что она Святая Элоиза?

— Но теперь точно, что она, — проверено!

— Дурак ты! Не Святая Элоиза это вовсе, а знаешь кто?

— Кто?

— ***! Та самая, от которой у нас и называется

«Отель ***».

Это я, стало быть, молился перед шлюхой, с наполеоновского еще времени знаменитой!

Ну и пускай, вышло-то хорошо. Мы с Марией всласть посмеялись, потолковали и вывели, что Святой Элоизе ничего я не должен. Понятно, не она мне помогла, значит и нечего на свечки ей транжириться. Так что купил я все же свою пачку сигарет.

16

Время шло, но «Трактир Жана Коттара» не обнаруживал признаков открытия. Однажды, в часы дневного перерыва мы с Борисом туда сходили — все по-прежнему, за исключением дополнительных непристойных картин и троих мрачных кредиторов вместо двоих. Патрон приветствовал нас с прежней благосклонностью, при этом очень расторопно обратившись ко мне (его будущей судомойке) и позаимствовав пять франков. Мои подозрения, что ресторан никогда не продвинется далее разговоров, переросли в уверенность. Патрон, однако, вновь назвал нам срок открытия «ровно через две недели, день в день!» и представил нас даме, назначенной заниматься кухней. Дама — уроженка Русской Балтии, метра полтора ростом и в бедрах метр поперек — сообщила нам, что прежде чем опуститься до кулинарии пела на сцене, бесконечно предана искусству и просто обожает английскую литературу, в особенности «Хижину дяди Тома»[70].

---

[70] notes: 70

Любительница английской литературы называет роман американской писательницы Г. Бичер-Стоу.

За две недели я успел привычками и едва ли не всеми помыслами войти в житейскую колею плонжеров. Жизнь не особенно разнообразная. Без четверти шесть вскакиваешь как ошпаренный, заныриваешь в заскорузлую от грязи одежду и, немытый, совершенно разбитый, выбегаешь. Брезжит рассвет, фасады темные, лишь изредка светятся окна кафе для работяг. Небо как ровно выкрашенный синим кобальтом бумажный лист с наклеенными черными силуэтами крыш. Сонные чистильщики тротуаров шаркают трехметровыми метлами, стаи оборванцев что-то выуживают из помойных баков. Торопливые фигуры рабочих и молодых, попеременно откусывающих на ходу рогалики и шоколадки работниц вливаются в подземные входы метро. Мимо угрюмо громыхают переполненные, накренившиеся трамваи. Спешишь вниз к поезду, изо всех сил пробиваешься — в парижском метро в шесть утра надо буквально биться — и, стиснутый напором густой толпы нос к носу с каким-нибудь отвратительным местным типом, дышишь отрыжкой кислого вина и чеснока. Затем спускаешься в подвалы отеля, позабыв вольный воздух до двух дня, когда солнце уже палит, а город ошеломляет массой прохожих и машин.

Свой дневной перерыв я быстро приучился проводить, либо отсыпаясь, либо, если финансы позволяли, в бистро. Кроме нескольких важничавших официантов, нашей знати, все остальные расточали временный выход на свободу тем же манером. Иногда из полдюжины плонжеров составлялась компания для посещения гнуснейшего борделя на улице Сийе, обходившегося лишь по пять с четвертью франков (чуть больше десяти пенсов). Называлось это «взять комплексный обед», детали визитов полагалось затем описывать как можно смешнее. И это был обычный, главный вариант любви. Жениться с доходом плонжера невозможно, а к тонким романтичным чувствам труды в подвалах не располагают.

Потом еще четыре часа под землей и, весь в поту, всплываешь на остывшие мостовые. Горят фонари (фонари в Париже со странным пурпурным отсветом), за рекой контур Эйфелевой башни зигзагом электрических гирлянд взлетает в небо, как огромный огненный змей. Тихо катят волны автомобилей, вдоль галереи туда-сюда прохаживаются прелестные в вечернем свете женщины. Случалось, какая-нибудь из них кидала взгляд на Бориса или меня, но, оценив непрезентабельность наших костюмов,

спешила продолжить путь. Затем вторая за день битва в метро и около десяти дома. Посидеть до двенадцати я шел обыкновенно в тот подвальчик на нашей улице, который главным образом посещался артелями арабов. Местечко боевое, многократно там при мне начиналось метание бутылок, подчас с кошмарным результатом, но арабы обычно дрались между собой и христиан не трогали. Raki, арабская рисовая водка, стоила гроши; работало это бистро круглосуточно, ибо счастливчики-арабы умели целый день трудиться и всю ночь пьянствовать.

Вот такова рутинная жизнь плонжера, и временами она казалась даже неплохой. Чувство кромешной нищеты ушло, поскольку, уплатив за гостиницу, отложив нужную сумму на табак, транспорт и субботнюю пьянку, я еще располагал четырьмя франками в день для мелких развлечений, а это роскошь. К тому же в столь упростившемся существовании было нечто, что трудно выразить, — некий отяжеляющий покой, похожий, должно быть, на покой вдоволь накормленной скотины. Жизнь, проще не придумать: сон — работа, работа — сон, и никаких пауз для размышлений, и внешний мир почти не трогает сознания. Париж плонжера это его отель, метро,

пара ближайших бистро и кровать. «Выбраться на природу» для него — отъехать на несколько улиц подальше и, усадив на колени какую-нибудь девчонку служанку, угощать ее пивом с устрицами. Выходной — проваляться до полудня, сменить сорочку, покидать внизу костяшки, выиграв или же проиграв стаканчик, поесть и снова завалиться на кровать. В сущности, важны плонжеру лишь «работенка», выпивка и сон, причем самое главное — поспать.

Однажды ночью прямо под моим окном произошло убийство. Разбуженный дикой перепалкой, я выглянул — внизу распростертое тело, в конце улицы еще мелькают фигуры удирающих бандитов. Кто-то из жильцов, выйдя посмотреть, объявил, что человек мертв, череп проломили обрезком свинцовой трубы. Помню какой-то необычный, красно-лиловый как вино, цвет крови; помню, что, возвратясь вечером, видел труп все еще лежащим на булыжнике (целый день, мне сказали, школьники со всей округи бегали поглазеть). Но что меня теперь, оглядываясь назад, поражает, это то, что спустя три минуты я лег и заснул. Так же как остальные с нашей улицы, которые выглянули, убедились, что человека прикончили, и сразу обратно в постель. Могли

ли мы, люди рабочие, из-за убийства позабыть тревогу о драгоценных, даром уходящих минутах, когда можно спать?

Голод открыл мне подлинную цену пищи, а работа в отеле — цену сна. Из физиологической необходимости сон превратился в чувственное наслаждение; не столько отдых, сколько оргия сладострастья. Кончились и мои мучения из-за клопов. Марио подсказал верное средство, каковым оказался перец. Густо наперченные простыни заставляли меня чихать, зато клопам это было просто невыносимо, и они эмигрировали в другие комнаты.

17

С недельными тридцатью франками на пропой я получил возможность вновь сделаться активным членом общества. Субботним вечерком спускаться в бистро «Отеля де Труа Муано» и хорошенько веселиться там вместе с соседями.

В двадцатиметровый зальчик набивалось десятка два гостей. Воздух мутно густел от дыма, уши глохли от принятой манеры, открыв рот, непременно орать во все горло. Беспорядочный гвалт время от времени взрывался общей дружной песней — пели «Марсельезу», «Интернационал», или «Мадлон», или же «Ягодки и малинки». Азайя, рослая неуклюжая деваха, ломившая по четырнадцать часов на стекольном заводе, затягивала *Elle a perdu son pantalon, tout en dansant le Charlston*[71]. Ее подруга Маринетт, смуглая тоненькая гордячка корсиканка, плотно сдвинув коленки, танцевала *danse du ventre*[72]. Болтавшиеся между столиками старики Ружьеры

---

[71] notes: 71
«Так отплясывала чарльстон, что у нее свалились панталоны». *(фр.)*

[72] notes: 72
Танец живота *(фр.)*.

клянчили рюмочку, приставая с бесконечной запутанной историей о ком-то, кто когда-то надул их, разорив дотла. Мертвецки бледный Р. тихонько надирался в своем углу. Пьяный Шарль, то ли шатаясь, то ли пританцовывая, едва удерживая в жирной ручке бокал фальшивого абсента, тискал женские груди и декламировал стихи. Азартно (проигравший угощал) кидали кости, метали стрелы в мишень. Испанец Мануэль тащил девушек к бару, натирая игральный стаканчик об их животы, — на счастье. Мадам Ф. у себя за стойкой ловко разливала из оловянного винного крана *chopines*[73], рядом наготове мокрое полотенце для охлаждения чувств постоянно домогавшихся ее любви клиентов. Двое сопливых ребятишек каменщика Большого Луи тянули из одного стакана сироп. Все счастливы, каждый до глубины души уверен в том, что мир этот очень приятное местечко и сейчас собрались тут лучшие из людей.

Постепенно шум несколько ослабевал. Тогда примерно около полуночи раздавалось зычное «Граждане!» и грохот опрокинутого стула. Поднявшийся с налитым кровью лицом бедокурый работяга резко стучал бутылкой по столу. Песни

---

[73] notes: 73
Пол-литровые бутылки *(разг. фр.).*

смолкали, вокруг шелестело: «Тс-с! Фуре завелся!». На чудака Фуре, каменотеса из Лимузена, прилежного труженика, раз в неделю накатывал припадок дикого пьянства. Контуженный и потерявший память, забывший все о довоенных временах, он бы давно спился, если бы не благое попечение мадам Ф. В субботу, часов в пять она посылала кого-нибудь «ловить Фуре, пока получку не спустил», а когда пойманного приводили, отбирала у него деньги, оставляя лишь на одну попойку. Однажды Фуре упустили, и его, напившегося до бесчувствия, свалившегося на площади Монж, едва не насмерть переехал автомобиль.

Особой странностью Фуре было то, что, являясь коммунистом, спьяну он круто выворачивал к бешеному патриотизму. Сев за столик поборником великих интернациональных принципов, после четырех-пяти литров вина вскакивал шовинистом, разоблачал шпионов, призывал громить всех иностранцев, и, не будучи вовремя укрощен, швырялся бутылками. Именно на этой стадии произносились его субботние речи. Всегда одно и то же, слово в слово:

— Граждане Республики! Есть ли тут среди вас французы? Если тут еще есть французы, я поднялся, чтобы напомнить — решительно напомнить

о славных днях войны. Пробил час оживить в памяти дни единения и героизма — решительно оживить дни единения и героизма. Пробил час вспомнить павших героев — решительно вспомнить павших героев. Граждане Республики, я сам был ранен под Верденом...»

Здесь он частично раздевался, демонстрируя след своей раны. Гремели аплодисменты. Речи Фуре воспринимались нами как лучшее комическое зрелище. Это был знаменитый на весь квартал спектакль, к началу которого подходили зрители из других бистро.

Ловился Фуре всегда на одну приманку. Кто-нибудь, подмигнув, требовал тишины и просил его спеть «Марсельезу». Он запевал красивым звучным басом, начинавшем взволнованно рокотать на патриотическом призыве «*Aux arrmes, citoyens! Forrmez vos bataillons!*»[74] Слезы катились по его щекам, наших насмешек он, в стельку пьяный, не замечал. С последней нотой парочка крепких парней хватала и валила певца, а недоступная его кулакам Азайя вопила «*Vive l'Allemagne!*»[75] Лицо патриота до черноты багровело от такого

---

[74] notes: 74

«К оружию, граждане! В отряды собирайтесь!» *(фр.)*

[75] notes: 75

«Да здравствует Германия!» *(фр.)*

позора. Зрители хором кричали «*Vive l'Allemagne! A bas la France!*[76]», и Фуре яростно рвался до них добраться. Но вдруг он портил всю потеху: бледнел, грустнел, тело мгновенно обмякало и, бессильное, извергало на стол потоки рвоты. Мадам Ф., взвалив подопечного как куль, тащила его к постели — утром Фуре появится тихим и смирным, купит обычный свой номер «Юманите»[77].

Столики протирались тряпкой, мадам Ф. приносила батареи бутылок и караваи хлеба, мы устраивались для основательной пьянки. Звучали песни. Бродячий музыкант играл на банджо, пять су за номер. Пришедшие из бистро в конце улицы араб с подругой исполняли танец, где кавалер манипулировал раскрашенным деревянным фаллосом размером со скалку. В шуме все чаще появлялись паузы. Начинались беседы, обсуждались любовь, война, подходящие удочки для Сены, лучшие методы *faire la revolution*[78]. Наперебой излагались истории. Успевший протрезветь Шарль захватывал здесь лидерство и

---

[76] notes: 76
«Долой Францию!» *(фр.)*

[77] notes: 77
Газета французской компартии *(фр.)*.

[78] notes: 78
Совершить революцию. *(фр.)*.

минут пять разглагольствовал о своей душе. Двери и окна отворялись проветрить комнату. С пустынных улиц слышалось, как вдали по бульвару Сен-Мишель громыхает молочный обоз. Ветерок освежал лбы, скверное африканское вино еще хлебалось с удовольствием, нам еще было хорошо, но уже созерцательно; ни орать, ни смеяться больше не хотелось.

К часу ночи ощущение счастья явно меркло. В погоне за уходящим весельем мы снова требовали вина, и мадам Ф. снова его приносила, но все уже было не то. Мужчин тянуло на скандал. Девушки, которых начинали донимать поцелуями и грубо лапать, во избежание худшего удирали. Большой Луи, нализавшись, ползал на четвереньках, гавкая, изображая собаку. Надоевшего, путавшегося в ногах, его раздраженно пинали. Собеседники выясняли отношения, хватая друг друга руками и сердясь на то, что их плохо слушают. Толпа редела. Мануэль с другими столь же азартными парнями переправлялись в арабское бистро, где игроки сидели до рассвета. Шарль, заняв у мадам Ф. тридцать франков, внезапно исчезал, вероятно в бордель. Один за другим люди допивали стаканы и, коротко распрощавшись *...sieurs, dames!*, шли спать.

К половине второго последние капли праздника испарялись, оставляя лишь головную боль. Мы больше не были счастливыми гостями счастливейшего из миров — просто жалкими работягами, которые тупо, угрюмо напились. И вино, которое мы еще продолжали лить себе в глотку, делалась гнусным пойлом. Голова пухла, как резиновый шар, пол качался, рот от пятен вина синел, будто измазанный чернилами. Продолжать становилось вконец бессмысленно. Некоторых, выходивших из бистро на задний двор, тошнило. Мы кое-как доползали до наших коек и, успев лишь наполовину снять одежду, сваливались часов на десять.

Большинство моих субботних вечеров проходило именно так. И в общем, парочка часов безумного ликующего счастья стоила тяжкой похмельной расплаты. В нашем квартале для многих, бессемейных и о семье не помышлявших, еженедельная крепкая пьянка была единственным, что делало эту жизнь годной для проживания.

18

На очередном субботнем собрании в бистро малыш Шарль недурно нас развлек. Надо бы видеть его — пьяного, но несокрушимо красноречивого, как он стучит по цинковой буфетной стойке и громогласно требует тишины:

— Тише, *messieurs et dames*, потише, умоляю! Позвольте предложить вашему благосклонному вниманию историю — замечательную, поучительную историю, одну из памятных вех изысканно благородных житейских странствий. Слушайте, *messieurs et dames*!

Это случилось в дни, когда нужда взяла меня за горло. Вам, разумеется, известно, каково — дьявольски скверно! — личности сложной и утонченной в подобных обстоятельствах. Денежный перевод от семейства задерживался, все заложено до нитки и никакого выхода кроме жуткого варианта идти работать, что для меня абсолютно исключено. Жил я тогда с девицей по имени Ивонн — здоровенная безмозглая деревенщина вроде нашей Азайи, соломенные волосы и ноги бревнами. Оба мы третий день ничего не ели. *Mon Dieu*, невыразимые страдания! Девица,

прижав ручищи к брюху, моталась по комнате, мерзким собачьим воем выла, что помирает с голода. Мрак и ужас.

Но человеку мыслящему нет преград. Я задал себе вопрос: «Как легче всего заработать, не трудясь?». Незамедлительно возник ответ: «Легче всего, если быть женщиной; у женщин всегда найдется чем поторговать, не так ли?». И вот, в процессе размышлений о том, что бы я сам предпринял, будучи женщиной, пришла идея — государственный Дом материнства. Вам, господа, знакомы эти учреждения? Там женщину *enceinte*[79], не донимая расспросами, кормят даром. Поощряют деторождение. Любой беременной достаточно прийти и попросить — ее тут же накормят.

Mon Dieu, подумалось мне, если бы я только был женщиной! Я бы питался в таком заведении каждый день. Разве возможно без обследования распознать, реальна ли беременность? Зову Ивонн:

— Прекрати свой невыносимый вой! Я придумал, как раздобыть еды.

— Как? — спрашивает она.

---

[79] notes: 79
Беременная *(фр.)*.

— Очень просто. Приходишь в Дом материнства, говоришь им, что беременна и голодна. Они тебя, не спрашивая ни о чем, заваливают пищей.

Ивонн перепугалась:

— *Mais, mon Dieu!* Я ведь не беременна!

— Так что же? — объясняю ей. — Какие трудности? Что тут нужно кроме подушки, в крайнем случае — двух? Это внушение свыше, *ma chere*. Не просто так.

Ну, наконец уговорил; пристроили подруге подушку на живот, и я отвел Ивонн в дом материнства. Встретили ее там с распростертыми объятиями. Дали капустный суп, рагу с картофельным пюре, хлеб, сыр, пиво и множество рекомендаций насчет младенца. Ивонн налопалась так, что едва не треснула, сумев тихонько насовать по карманам хлеба и сыра для меня. Я ее ежедневно туда водил, пока деньги из дома не пришли. Мой интеллект нас спас.

Все прошло замечательно, но год спустя (я еще жил с Ивонн) мы как-то возвращались от бульвара Порт Руаяль вдоль казарм. Вдруг Ивонн, разинув рот, заполыхала, побелела, покрылась пятнами.

— Господи! — хрипит. — Погляди, кто идет! Это ж старшая медсестра из госпиталя. Мне конец!

— Мигом, — командую я, — смываемся!

Но поздно. Медсестра узнала Ивонн и прямо к нам. Гора жирного мяса, золотое пенсне и щеки парой красных яблок. Этакая мамаша — наивреднейший женский сорт. Сияет и воркует:

— Хорошо ли вы себя чувствуете, *ma petite*? Младенец тоже, надеюсь, здоров? Это мальчик, как вам хотелось?

Ивонн так затрясло, что пришлось руку ей намертво стиснуть. Лепечет еле-еле:

— Нет...

— Ах вот как, значит, *evidemment* — девочка?

Ивонн совсем голову потеряла и — дура полная! — опять:

— Нет...

Медсестра, отшатнувшись, кричит:

– *Comment!*[80] Не мальчик и не девочка? А кто же?

Теперь вообразите, *messieurs et dames*, опасность положения. Ивонн багровая как свекла и вот-вот разревется; еще секунда — во всем признается. И только небо знает, что последует. Однако я — у меня голова всегда на месте. Я вмешиваюсь и спасаю ситуацию:

---

[80] notes: 80
Как же это! *(фр.)*

— Родилась двойня! — твердо говорю я.

— Двойняшки? — восклицает медсестра и кидается к Ивонн, обнимает, целует в буйном восторге.

Да, господа, двойняшки...

19

Мы проработали в «Отеле Икс» уже месяца полтора, когда однажды Борис вдруг не появился. Вечером я увидел его, дожидавшегося на улице Риволи, он кинулся ко мне и радостно хлопнул по плечу:

— Ура, свобода, *mon ami*! Утром можешь заявить об уходе. Трактир наш завтра открывается.

— Завтра?

— Ну, денек-другой еще, возможно, уйдет на обустройство. Как бы то ни было — кафетерию конец! *Nous voila lances, mon ami!*[81] Фрак свой я уже выкупил.

Напористая пылкость его речей свидетельствовала, что дело не совсем чисто, да и терять прочное место в «Отеле Икс» нисколько не хотелось. Но я ведь обещал Борису, так что назавтра заявил об увольнении, а послезавтра в семь утра отправился к «Трактиру Жана Коттара». Все заперто. Пошел разыскивать Бориса в очередном его убежище на улице Круа Нивер; нашел — спящим, причем с девицей, которую он под-

[81] notes: 81
Мы все-таки прорвались, друг мой! *(фр.)*

цепил ночью и у которой, как он успел шепнуть, оказался «весьма подходящий темперамент». О ресторане же мне было сказано, что все устроено, осталось лишь подправить кое-какие мелочи.

В десять удалось вытащить Бориса из постели, и мы отперли ресторан. Взгляду открылось содержание недостающих «кое-каких мелочей», коротко говоря — никаких изменений со дня последнего нашего визита. Ни воду, ни электричество не подвели, кухонных плит нет, зато полный набор столярных и живописных изысков. Раньше чем через десять дней ресторан мог открыться только чудом, а реальность пророчила крах заведения еще до всякого открытия. Ситуация была очевидна: сидевший без гроша патрон нанял нас (четверых штатных служащих), чтобы использовать вместо чернорабочих. Услуги наши ему доставались почти даром, так как официантам жалования не полагалось, а мне хоть и пришлось бы заплатить, но кормить пока, за отсутствием кухни, не требовалось. По сути дела, наняв персонал в недействующий ресторан, патрон обжулил нас на несколько сот франков. Мы бросили хорошую работу ради пустышки.

Борис, однако же, горел надеждой. Его обуревала единственная мысль — возможность вновь

сделаться официантом и нарядиться во фрак. Во имя этого он рвался трудиться десять дней бесплатно, рискуя в результате остаться безработным. «Терпение! — продолжал он твердить. — Все само собой образуется. Погоди, вот откроют ресторан, все с лихвой наверстаем. Терпение, *mon ami*!».

Терпения нужно было много, ибо дни шли, а ресторан даже не продвигался к открытию. Мы чистили подвал, белили потолки, красили стены, приколачивали полки, скребли полы, но главные работы — водопровод, газ, электричество — стояли из-за неоплаченных счетов. Патрон, видимо, совершенно издержался — отказывал в малейших денежных просьбах, ловко обходя их стремительным исчезновением. Сочетание плутовства с повадками аристократа создавало ему немало преимуществ в ведении дел. Беспрестанно навещавшим его меланхоличным кредиторам мы неизменно, следуя инструкциям, отвечали, что хозяин в Сен-Клу, или же Фонтенбло, или каком-либо ином достаточно отдаленном месте. Мне, между тем, становилось все голоднее. Уволившись с тридцатью франками в кармане, я должен был опять перейти на сугубо хлебную диету. Борис вначале смог авансом вытащить из

патрона шестьдесят франков, но половину он сразу потратил, выкупив фрак, а другой половиной вознаградил девицу подходящего темперамента, и теперь ежедневно занимал у Жюля, второго официанта, по три франка на хлеб. Несколько суток нам пришлось обходиться даже без табака.

Иногда заходила взглянуть, как движутся дела, ресторанная повариха и, обозрев по-прежнему пустую, голую кухню, ударялась в слезы. Второй официант Жюль — бывший студент-медик, оставивший учебу из-за нехватки средств, — наотрез отказался помогать с обустройством. Это был венгр, смугловатый и быстроглазый парень в очках, очень болтливый. Особенно любивший поговорить, когда другие трудятся, он рассказал все о себе и собственном мировоззрении. Исповедовал он коммунизм, хотя в форме крайне причудливой (как дважды два мог доказать вам, что труд это есть зло и вред), к тому же отличался чисто венгерской неукротимой гордостью. Лень и гордыня не лучшие свойства для официанта. Сладчайшим воспоминанием Жюля был эпизод, когда одному дерзкому клиенту он выплеснул за шиворот горячий суп, после чего, не дожидаясь увольнения, прошествовал на выход.

День ото дня Жюля все больше распаляли трю-

ки ловчившего с нами патрона. Все выше бил фонтан гневливой трескотни. Рубя воздух взмахами кулака, агитатор подстрекал меня к бунту:

— Брось ты швабру, не дури! Мы с тобой дети гордых народов, бесплатно не работаем, мы не проклятые русские крепостные! Мне, ты пойми, все это надувательство хуже пытки. Со мной, бывало, кто-нибудь сплутует хоть на пять су, так меня рвет — да, рвет от бешенства.

И ты, *mon vieux*, не забывай — я коммунист! *A bas la bourgeois!*[82] Кто видел, чтоб я что-то делал, если можно не делать? Никто и никогда. И я не только не позволю пахать на себе, как болваны вроде тебя, но докажу свою свободу — украду просто из принципа. Однажды занесло меня в ресторан, где хозяин решил, что я ему пес покорный. Ну ладно! Я тогда придумал, как вскрывать и опять незаметно запечатывать молочные бидоны. С вечера до утра, клянусь, возился около этого молока, хлебал его в день по четыре литра да еще сливок пол-литра. У хозяина уже ум за разум: куда девается? И не то что хотелось мне молока — материальное, ты понимаешь, я презираю, — принцип! Только из принципа.

---

[82] notes: 82
Долой буржуев! *(фр.)*

Ну вот, дня через три такая резь началась в животе, что побежал к врачу. «Что вы едите?» — спрашивает врач. — «Пью ежедневно литра четыре молока, пол-литра сливок.» — «Четыре литра?! Немедленно прекратите, у вас желудок лопнет.» — «Ха, вот беда какая! — отвечаю врачу. — Для меня принцип это все. Пускай лопну — пить молоко не перестану».

Ну, а на следующий день хозяин ловит меня на краже, объявляет: «Я увольняю вас, уйдете в конце недели». — «Пардон, — говорю, — сударь, ухожу я прямо сейчас». — «Нет, — возражает он, — вы обязаны здесь отработать до субботы». Что ж, отлично, думаю, дорогой хозяин, мы посмотрим, кто от кого быстрей устанет. И начал как бы ненароком посуду ему колотить. Разбил за день девять тарелок, назавтра еще тринадцать — тут уж хозяин счастлив был со мной проститься.

Вот так, я не какой-то русский мужик...

Минуло десять дней. Стало совсем невесело. Деньги у меня кончились совершенно, с платой за жилье я уже почти на неделю запаздывал. Слишком голодные, то есть работники никчемные, мы лишь слонялись по унылым пустым комнатам. Один Борис еще верил, что ресторан дотянет до открытия. В страстных мечтах о должности метр-

дотеля им был измышлен такой сюжет: патрон вложил капитал в акции и теперь ждет благоприятной игры на бирже. К десятому дню, не имея ни крошки еды или табака, я обратился к патрону, сказал, что больше без аванса работать не могу. Неизменно любезный, патрон охотно обещал и тут же по своему обыкновению исчез. Я поплелся было домой, но почувствовал себя неспособным объясняться с мадам Ф. насчет долга, вследствие чего ночевал на бульваре. Очень некомфортабельно (ребра скамейки врезаются вам в зад) и много холоднее, чем я предполагал. До рассвета вполне хватило времени истерзать себя мыслями о том, почему я, дурак, сам, добровольно отдался в лапы этих русских.

А утром счастливый поворот. Патрон, видимо, пришел к соглашению с кредиторами, так как явился при деньгах, дал ход дальнейшим ремонтным работам и выплатил мне аванс. Купив макароны и кусок конской печенки, мы с Борисом впервые за десять дней поели горячего.

Все недоделки устранялись спешно, с халтурностью неописуемой. Столы, например, требовалось покрыть байкой, но, сочтя байку слишком дорогой, патрон закупил кучу старых, навеки провонявших потом солдатских одеял —

под дорогими скатертями «в нормандском стиле» кто увидит? Накануне открытия мы до двух ночи принимали оборудование. Посуду, привезенную со склада лишь в восемь вечера, необходимо было еще перемыть. Поскольку доставка столовых приборов, салфеток, полотенец откладывалась до утра, тарелки вытирались рубашкой патрона и рваной наволочкой консьержки. Работали только я и Борис. Жюль прятался, патрон с супругой, кое-кем из кредиторов и компанией русских друзей сидели в баре, пили за удачу. Повариха, уткнувшись лбом в кухонный стол, рыдала — клиентов предполагалось человек пятьдесят, а плошек-поварешек едва хватало на десятерых. Чуть за полночь возник бурный конфликт с поставщиками, решившими конфисковать восемь взятых в кредит медных кастрюль. Жестоких кредиторов удалось смягчить парой стаканов бренди.

Опоздав на метро, мы с Жюлем спали подле кухонных плит. И первое, что утром предстало взору, — две громадные крысы, восседающие на столе и грызущие неубранную ветчину. Почудилось дурное предзнаменование, у меня сомнений не осталось насчет верной скорой погибели «Трактира Жана Коттара».

20

Взяли меня в «Трактир» плонжером, то есть я должен был мыть посуду, убирать кухню, чистить овощи, готовить чай, кофе, бутерброды, помогать у плиты и бегать с поручениями. Условия стандартные — пятьсот франков в месяц плюс кормежка, но никаких выходных и бесконечный рабочий день. Увидевший в «Отеле Икс» высший класс ресторанного дела, умело организованного при больших вложенных капиталах, я теперь познакомился с рестораном самого дрянного свойства. Об этом стоит рассказать, ведь каждому гостю Парижа хоть раз придется побывать в подобных заведениях, коих здесь сотни.

Следует добавить, что «Трактир» не принадлежал к сорту обыкновенных недорогих столовых для студентов и пролетариев. У нас в меню блюда дешевле двадцати пяти франков не значилось, нас возвышал жанр изысканно артистичный. Непристойные картины в баре, стильное средневековье (с узором фальшивых балок, электрическими лампами в виде подсвечников, «крестьянскими» расписными горшками и даже кованым дверным засовом), патрон и метрдотель

русские офицеры, публика главным образом из русских эмигрантов — короче, мы решительно являли шик.

За дверью в кухню, правда, начиналось нечто вроде свинарника, причем неизбежного в наших рабочих условиях.

Кухня всего метров двенадцать и наполовину загромождена плитами и столами. Утварь на полках под самым потолком, так что не дотянуться. Единственный мусорный ящик к полудню переполнен, пол обычно покрыт дюймовым слоем растоптанных отбросов.

Газовых плит лишь три и без духовок; запечь что-либо посылали в соседнюю пекарню.

Кладовой нет. Вместо нее местечко во дворе под навесом вокруг дерева. Мясо, овощи и другие продукты хранились прямо на земле, подвергаясь постоянным набегам кошек и крыс.

Крана с горячей водой нет. Греть воду надо на плите в котле, приткнуть который, пока жарится-парится еда, некуда, и основную часть посуды я мыл холодной водой. При том что мыло липло, но не мылилось, подручным средством очистки от жира служили клочья газеты.

Кастрюль катастрофически не хватало, и, едва очередная пустела, нужно было тут же, не

оставляя до вечера, кидаться ее мыть. Для меня это означало примерно час ежедневной лишней работы.

Из– за каких-то плутней с электропроводкой, свет в кухне около восьми вечера, как правило, выключался. Патрон, пожалуй, дал бы нам три свечки, но поскольку повариха, сплоховав, три и попросила, рачительный хозяин позволял только две.

Наша кофемолка была заимствована из ближайшего бистро, наши метлы и мусорный ящик — у консьержки. Сданное после первой недели в стирку столовое белье не возвратилось по причине долга прачечной. В связи с отсутствием рабочих мест для французов грозила неприятностями инспекция по труду (после ряда приватных встреч с патроном инспектор, как я полагаю, удовлетворился взяткой). Агенты все еще осаждавшей счетами электрической компании, разведав, что их подкупают аперитивами, регулярно заявлялись прямо с утра. Кредит в соседней лавке был бы давно закрыт, если б супруга бакалейщика, усатая дама лет шестидесяти, не воспылала нежной страстью к нашему Жюлю, которого каждый день первым делом отправляли обольщать кредиторшу. Кроме досадных лишних

часов у раковины, я в том же духе терял время ради экономии пары сантимов на овощном базаре улицы Коммерс.

Естественные результаты дела, затеянного без достаточных финансов. И вот в таких условиях нам с поварихой нужно было кормить по тридцать-сорок посетителей, число которых могло возрасти до сотни. Задача, сразу стало ясно, непосильная. У поварихи рабочий день длился с восьми утра до полуночи, у меня — с семи до половины первого (больше семнадцати часов, практически без перерыва). Раньше пяти вечера даже присесть нам было некогда, а потом если и присесть, то лишь на крышку мусорного ящика. Борис, живший поблизости и не имевший необходимости ловить последний поезд метро, трудился с восьми утра до двух ночи — по восемнадцать часов все семь дней недели; режим не рядовой, но для Парижа отнюдь не исключительный.

Новая будничная колея быстро стала привычной, заставляя вспоминать об «Отеле Икс», как о каникулах. Каждое утро в шесть я выдергивал себя из постели и, не бреясь, не всегда сполоснув лицо, мчался к Пляс Итали и пробивался в метро. В семь оказывался среди мерзости запустения холодной, промозглой кухни — на полу месиво

картофельных очисток и рыбьей требухи, на столах груды склеенных застывшим жиром грязных тарелок. С тарелок я, однако, пока вода не согреется, начать не мог и, притащив молоко, варил кофе для приходивших в восемь и рассчитывавших найти кофе горячим. Кроме того всегда требовалось вычистить несколько медных кастрюль. Эти посудины из меди — проклятие плонжеров, их вначале минут по десять каждую отскребаешь цепями и песком, а затем полируешь специальной пастой. Слава богу, искусство их изготовления пришло в упадок, и постепенно они исчезают с французских кухонь, хотя отдельные шедевры еще можно разыскать у старьевщиков.

Только я начинал мыть тарелки, повариха требовала оставить посуду и срочно чистить лук, но только я приступал к луку, заглянувший патрон отправлял меня на базар купить капусты. Принеся капусту, я получал распоряжение жены патрона сходить в дальнюю лавку за банкой маринованных томатов; к моменту возвращения выяснялась нехватка каких-то других овощей, а посуда так и стояла немытой. Подобным образом мы громоздили кучи работы, ничего толком не успевая.

До десяти все шло сравнительно легко, мы

торопились, но еще не раздражались. Повариха еще находила время поговорить о своей артистической натуре, выразить несогласие с тем, что Лев Толстой писатель *epatant*[83], и, кроша мясо на дощечке, напевать высоким чистым сопрано. Однако в десять, когда полагалось кормить завтраком официантов и всего час оставался до прихода первых клиентов, налетал вихрь нервотрепки. Не тем неистово ревущим ураганом, что поднимался в «Отеле Икс», а бестолковой суетой, досадой, злобной мелочной склокой. В основном, из-за неудобства. Теснота жуткая, кушанья приходилось расставлять на полу и постоянно думать, как бы на них не наступить. То и дело толчки объемистого зада поварихи, сновавшей туда-сюда и беспрерывно меня распекавшей:

— Немыслимый идиот! Сколько раз говорить, со свеклой осторожней — сок вытечет! Ну-ка брысь, к раковине дай пройти! Нечего ножи чистить, срочно займись картошкой. Куда ты сунул мое сито? Брось картошку, кто за тебя будет пену снимать с бульона? Забирай скорее свой кипяток и мой посуду. Потом мыть будешь, поруби мне сельдерей. Нет, не так, болван, а вот так! Ну

---

[83] notes: 83
Потрясающий *(фр.)*.

конечно! Опять горох у него выкипел! Все брось и срочно займись селедкой. Тарелки вымоешь когда-нибудь? С фартука у себя гадость эту сотри! Поставь салат на пол. Поставил прямо так, чтобы я вляпалась! Смотри же, снова перекипает! Кастрюлю мне достань. Не ту, другую! Ставь сюда. Унеси очистки. Время зря не трать, кидай их на пол. Да, под ноги! Хоть бы опилок, идиот, подсыпал — пол уже как каток. Ослеп? Не видишь, бифштекс горит? *Mon Dieu*, за что мне в наказание такой кретин? Что? Кто я? Ты хоть понимаешь, что тетушка моя была русской графиней?...

Подобным образом до трех, довольно монотонно, за исключением настигавшего повариху около одиннадцати *crise de nerfs*[84] с морем слез. После двух до пяти затишье для официантов, но у поварихи по-прежнему масса хлопот, а для меня пик напряжения возле гор грязной посуды, которую (всю или уж по крайней мере почти всю) надо было успеть вымыть к обеду. Труд мой осложнялся первобытной оснасткой: узенький подсобный столик, чуть теплая вода, мокрые полотенца и ежечасно наглухо забивавшейся слив. К пяти мы с поварихой, еще не евшие, ни

[84] notes: 84
Нервного припадка *(фр.)*.

разу не присевшие, буквально валились с ног и рушились — она на мусорный ящик, я на пол. Выпивали бутылку пива, взаимно извинялись за недавние резкие выражения. Силы наши давно иссякли бы без чая, который всегда прел на плите и поглощался многими пинтами.

С половины шестого снова гонка и опять свары, еще более злобные ввиду общей усталости. Очередные *crises de nerfs* у поварихи (ровно в шесть и ровно в девять, можно было часы сверять). Повалившись на мусорный ящик, повариха истерично рыдала с криком, что никогда — нет! никогда! — не помышляла дойти до такой жизни, что нервы ее не выдержат, что она училась музыке в Вене, что у нее на руках прикованный к постели муж... В иные времена она, конечно, вызвала бы сочувствие, но нас, замученных, задерганных, ее плаксивый вой приводил просто в ярость. Жюль имел обыкновение, стоя в дверях, передразнивать эти причитания. Жена патрона постоянно ворчала. Между Жюлем и Борисом не прекращались ссоры (и в связи с тем, что Жюль отлынивал, и в связи с тем, что Борис, как старший официант, претендовал на соответственное увеличение своей доли чаевых); уже на следующий день после открытия они начали

драку из-за двух франков, мы с поварихой их разнимали. Единственный, кто всегда сохранял безупречность манер, — патрон. Он находился на рабочем месте столько же, сколько все мы, но работы у него не было никакой. Хлопоты его, помимо распоряжений о покупках, ограничивались тем, чтобы стоять в баре, курить и являть собой джентльмена, — дело, которое им исполнялось в совершенстве.

Поесть нам в кухне удавалось только после десяти вечера. Около полуночи повариха собирала пакет ворованных кусков для мужа, прятала сверток под одеждой и убегала, хныча о погубленной жизни, клятвенно обещая завтра уволиться. Жюль тоже уходил в полночь, после очередных, ежедневно повторявшихся споров с Борисом насчет того, кому работать в баре до двух. С двенадцати до половины первого я пытался закончить с посудой, и поскольку действительно вымыть тарелки времени не оставалось, чаще всего просто стирал салфеткой основную жирную грязь. Что касается грязи на полу, то к ней я даже не прикасался либо мимоходом заталкивал самую гнусную подальше, под плиту.

В половине первого, схватив пальто, я спешил к выходу. На пути через бар меня непременно

останавливал патрон, сама любезность: «*Mais, mon cher monsieur*[85], у вас такой усталый вид! Окажите мне честь, позвольте предложить вам стаканчик бренди».

Стаканчик предлагался столь учтиво, будто я не плонжер, а русский князь. Подобным образом патрон вел себя с каждым из нас. Компенсация за труды по семнадцать часов в сутки.

Последний поезд метро обычно шел полупустым — немалое преимущество, позволявшее наконец сесть и дремать минут пятнадцать. Случалось, опоздав к метро, мне приходилось спать в ресторане на полу, но едва ли это имело значение, ибо в те дни я мог бы крепко уснуть и на булыжнике.

[85] notes: 85
О, сударь мой дорогой *(фр.)*.

21

Так (с некоторым возрастанием нагрузки ввиду притока посетителей) прошло около двух недель. Я выгадал бы ежедневно целый час, сняв комнату поближе, но когда же было ходить искать жилье, если времени не хватало ни подстричься, ни заглянуть в газету, ни даже полностью раздеться перед сном. Дней через десять, улучив минуту, я написал своему другу Б., просил его найти мне в Лондоне какое-нибудь место, любое, лишь бы позволяло спать долее пяти часов. Семнадцатичасовых рабочих дней я уже просто не выдерживал, хотя масса людей принимает это как должное. Перетрудиться — отличное средство для возбуждения жалости к себе и заодно к тысячам ресторанных парижских служащих, потеющих в том же режиме и не пару недель, а годами. В бистро возле моей гостиницы служила девушка, год проработавшая с семи утра до полуночи, причем все время на ногах. Помню, я как-то пригласил ее на танец и она, смеясь, рассказала, что уже несколько месяцев не была дальше угла улицы. Девушка эта болела чахоткой, умерла вскоре после моего отъезда из Парижа.

Недели не прошло, как от запарки все мы, кроме вечно скрывавшегося Жюля, сделались неврастениками. Ругань, поначалу периодическая, стала устойчивым климатом, морося беспросветным нудным дождем с порывами шквалистых ливней. «Дай мне кастрюлю, идиот!» — орала повариха (с ее ростом полки были недосягаемы). — «По шее тебе дам, старая шлюха», — отвечал я. Такие реплики рождались как бы сами собой, из атмосферы нашей кухни.

Ссорились мы по причинам невообразимо мелочным. Постоянным источником раздоров являлся, например, мусорный ящик — где ему стоять: возле плит и мешая поварихе, как хотел я, или же между мной и раковиной, как хотела моя противница. Однажды она зудела и зудела, пока я, исключительно назло ей, не схватил ящик, установив его в самом центре, чтобы она об него спотыкалась:

— Ну что, кляча? Не нравится — передвинь!

Бедняга, ей, конечно, не под силу была такая тяжесть, и, припав головой к столу, она зашлась надрывным ревом. А я глумился. Характерный пример того, как усталость берет верх над хорошим воспитанием.

Довольно скоро прекратились речи поварихи

о Толстом, о ее артистической натуре, диалоги наши свелись к темам сугубо производственным, закончились также беседы Бориса и Жюля, и оба они перестали говорить с поварихой. Даже у нас с Борисом пошли разговоры сквозь зубы. Хотя мы заранее условились, что всякие служебные engueulades не в счет, однако чересчур сильные выражения срывались порой с языка, забыть их было трудновато, да и времени остыть, позабыть не было. Жюль совершенно погряз в лени и непрерывно крал еду — из чувства долга, подчеркивалось им. Нас, остальных, когда мы уклонялись от соучастия в покражах, он называл jaunes, штрейкбрехерами. Жюля обуревал своеобразный дух мщения и гнева; с чувством законной гордости он сообщил мне, что частенько, перед тем как подать клиенту суп, отжимает над тарелкой грязную мокрую тряпку — мстит представителям клана буржуазии.

Кухня все больше зарастала грязью, крысы, невзирая на несколько попавших в капканы жертв, наглели. Окидывая взглядом эту мерзость, с ошметками сырого мяса на полу, с нагромождением остывших сальных кастрюль, с липкой, забитой помоями раковиной, я сомневался, есть ли в целом мире ресторан столь же гнусный. Трое

моих коллег, однако, дружно утверждали, что видели и погнусней. А Жюль, тот положительно наслаждался всяким кухонным безобразием. После полудня, когда делать ему было нечего, любил торчать в дверях, издеваясь над нашим рвением:

— Балда! Зачем их мыть, эти тарелки? Оботри об штаны. Какой смысл о клиентах заботиться? **Они** про наши дела знать не знают. Ведь что такое ресторанная работа? Разрезаешь клиенту цыпленка, птичка выскальзывает на пол — извиняешься, кланяешься и уносишь. Через пару минут появляешься из другой двери — с тем же цыпленком. Вот что такое ресторанная работа!...

И как ни странно, при всей грязи, неумелости «Трактир Жана Коттара» явно имел успех. Сначала нашими гостями были сплошь русские, друзья патрона, за ними потянулись американцы и другие иностранцы (но не французы). Наконец однажды вечером смятение, переполох — пожаловал первый француз. На время даже наши свары смолкли, все сплотились в усилии подать достойный ужин. Борис на цыпочках вбежал на кухню и, тыча большим пальцем через плечо, конспиративно прошептал:

— Ш-ш! *Attention, un Francais!*[86]

Секундой позже заглянула жена патрона, шепча:

— Attention, un Francais! Позаботьтесь — и зелени и овощей двойную порцию.

Пока француз ел, патрон со своей супругой через окошко кухни наблюдали за выражением его лица. Назавтра француз привел еще двоих французов, и это означало обретение солидной репутации (вернейший признак скверного ресторана — исключительно иностранные посетители). Возможно, успех нашего заведения более всего объяснялся тем, что в миг единственного проблеска разума патрон купил столовые ножи, действительно способные что-либо резать. Пресловутый **секрет** успешного ресторана, без сомнения, в острых ножах. Разгадка этой тайны меня порадовала, развеяв одну из чрезвычайно стойких моих иллюзий, а именно ту, что французы знают толк в настоящей еде. Или же, по меркам Парижа, наш ресторан **действительно** был неплохим? «Плохие» в таком случае трудно даже вообразить.

Буквально через несколько дней после письма

---

[86] notes: 86
Внимание, француз! *(фр.)*

к Б. был получен ответ от лондонского друга, который некое местечко мне подыскал — присматривать за врожденным дебилом. На фоне «Трактира Жана Коттара» просто отдых в курортном санатории. Тут же фантазия моя нарисовала гуляние по сельским тропам, сбивание тросточкой цветков чертополоха, жаркое из ягненка, пирог с патокой, сон по десять часов в простынях, благоухающих лавандой… Приятель посылал также пять фунтов купить билет и вызволить из ломбарда одежду, и, едва деньги прибыли, я вмиг, только за день предупредив, покинул ресторан. Мой столь внезапный и стремительный уход смутил патрона, бывшего как всегда не при деньгах, недоплатившего при расчете тридцать франков. Но мне предложен был стаканчик «Курвуазье» сорок восьмого года, что патрон, видимо, счел достаточным возмещением. Вместо меня наняли чеха, плонжера опытного, а беднягу повариху месяц спустя уволили. Позднее, как я слышал, с двумя профессионалами на кухне рабочий день плонжера сократился там до пятнадцати часов. Укоротить и этот срок без полной модернизации хозяйства не сумел бы никто.

22

Стоит вообще поразмышлять о жизни парижского плонжера. Если задуматься, то очень странно, что тысячи жителей громадной передовой столицы тратят все часы бодрствования на мытье тарелок в душных подземных норах. Вопрос, который я хочу поставить, — для чего? Кому все это нужно и зачем? Не собираюсь возмущаться в красивой позе, попытаюсь выяснить реальный жизненный смысл.

Начать, видимо, надо с того, что плонжер — один из рабов современной цивилизации. Не обязательно о нем скулить на каждом слове (плонжер частенько зарабатывает больше иного землекопа, лесоруба), но все-таки он так же несвободен, как если бы им торговали. Труд его рабский и тупой, он получает ровно столько, сколько нужно для поддержания сил, единственная его радость в украденных кусках. Жениться он не может, либо, если уж женится, жена тоже должна работать. Кроме каких-то редкостных удач, сбежать плонжеру от своей участи некуда, разве что за решетку. И сейчас в Париже немало университетских выпускников, отмывающих тарелки

по десять, по пятнадцать часов в день. Объяснять это личной склонностью к безделью нельзя — бездельники в плонжеры не идут; просто людей подмяло будничной рутиной, отключившей сознание. Если бы плонжеры сохраняли способность думать, они давно бы создали профсоюз и бастовали, добиваясь лучших условий. Однако они не думают, досуга не имеют для подобных занятий. Их режим и делает из них рабов.

Но для чего же такое рабство? Принято заранее полагать, что любые труды направлены к разумной цели. Случится увидеть кого-то за работой трудной и неприятной, сразу вывод — это необходимая работа. Шахтерский труд, например, очень тяжек, однако он необходим, нам нужен уголь. Копаться в трубах с нечистотами малоприятно, но ведь обязательно надо и там работать. Так же судят о плонжерах: раз кто-то должен пользоваться рестораном, кто-то другой должен посуду драить восемьдесят часов в неделю, и нет вопросов — требование современной культуры. С этим пунктом следует разобраться.

Действительно ли для культурной жизни позарез требуется труд плонжеров? Всякую черную тяжелую работу мы почему-то склонны считать «честной», мы прямо-таки поклоняться готовы

деяниям крепких мозолистых рук. Человек рубит дерево, и мы, завороженные картиной работающих мускулов, уверены, что делается дело необходимое, полезное, в голове даже не мелькает, что, быть может, прекрасное живое дерево губят с целью водрузить на его месте гипсовую лепнину. Нечто подобное при взгляде на плонжера. Но капающий со лба труженика пот еще не гарантирует полезности трудовых действий. Масса сил, вполне вероятно, тратится лишь на роскошь, которая зачастую и роскошью-то не является.

В пример такой отнюдь не блистательной роскоши приведу крайне выразительный, поражающий европейцев факт. Представьте индийского рикшу — запряженного в повозку человека-пони. На улицах любого центра Юго-Восточной Азии их сотни — щуплых, дочерна смуглых доходяг в жалких отрепьях. Многие явно больны, многим уже явно за пятьдесят. Под солнцем и под ливнем рысью носятся долгие часы без передышки: голова вниз, руки судорожно вцепились в дышло, пот ручьем по седым усам. Недостаточно резвых раздраженно бранят словечком *bahinchut* (грубейшее

местное оскорбление[87]). Зарабатывают рикши по тридцать-сорок рупий в месяц и за несколько лет выхаркивают свои легкие. Изможденные люди-пони быстро надрываются, превращаясь в ни на что не годный хлам. Их силы господа подпитывают заменяющим кормежку хлыстом. Тут беговая скорость по формуле «еда плюс кнут равняется энергии», причем кнута процентов шестьдесят, а еды — сорок. Шея человека-пони порой сплошная язва, его кожа под упряжью стирается до кровоточащего мяса. И тем не менее он еще может бегать, надо только нахлестывать так, чтобы боль ударов по спине была сильнее боли в груди. А если уж и хлыст не помогает, пора сдавать клячу на живодерню. Вот образчик ненужного труда, ведь никакой действительной необходимости в рикшах нет, люди-пони существуют лишь потому, что на Востоке так принято. Они для роскоши, и каждый, кому доводилось ездить в их повозках, знает, сколь убога эта роскошь. Ничтожный, мизерный комфорт за счет повального голода, вынуждающего нищих страдать с терпением и равнодушием жвачных животных.

---

[87] notes: 87
Подробнее см. прим. к Главы 32, прим. 113.

Возвращаясь к плонжеру. В сравнении с рикшой он, конечно, король, однако случай аналогичный. Это раб отеля или ресторана и рабство его в общем-то без надобности. Есть ли, в конце концов, **жизненная** потребность в шикарных ресторанах и отелях? Предполагается, что они дарят мир удовольствий, но дарят ведь они только дрянную пошлую имитацию. Недаром большинство людей гостиницы терпеть не может. У каких-то ресторанов кухня получше, но за деньги, которые с вас там сдерут, домашняя еда будет значительно вкуснее. Рестораны и отели безусловно нужны, и все же нет необходимости сгонять туда толпы рабов. А почему без них не обойтись? А потому что надо обязательно пускать клиентам пыль в глаза. Демонстрировать «шик» — попросту говоря, раздувать штат прислуги и соответственно поднимать цены. Выгодно исключительно владельцу, который купит себе славненькую виллу в Довиле. По сути, «шикарный» отель это такое место, где сотня людей дьявольски вкалывает, чтобы сотни две других людей, морщась, оплачивали то, в чем вовсе не нуждаются. Если бы в ресторанах и отелях отказались от ерунды и занимались только делом, плонжеры управлялись бы с работой не за десять-пятнадцать часов, а

всего за шесть или восемь.

Допустим, мы установили, что труд плонжера, в общем, бесполезен. Тогда откуда, спрашивается, желание сохранять этот вид труда? Попробую, не трогая причин чисто экономических, показать, каким милым ощущением может сопровождаться мысль о людях, обреченных всю жизнь соскребать грязь с тарелок. Ведь многим (многим из живущих весьма неплохо) эта мысль несомненно мила. Как утверждал Катон[88], раб должен работать всегда, когда не спит. Нужен или не нужен его труд, неважно; он должен работать, так как работать само по себе хорошо — для рабов, во всяком случае. Тезис живучий, на его основе и наворочены горы всяческой бесполезной траты сил.

Я полагаю, инстинктивное желание навеки сохранить ненужный труд идет просто из страха перед толпой. Толпа воспринимается как стадо, способное на воле вдруг взбеситься, и безопаснее не позволять ей от безделья слишком задумываться. У богатых людей, склонных к честному размышлению, вопрос об улучшении жизни ра-

[88] notes: 88

Марк Порций Катон (Старший, или Центор) — консул 195 г. до н. э., историк, оратор, автор руководств по различным отраслям практической деятельности.

ботяг обычно вызывает следующий ход мыслей:

«Да, разумеется, нищета очень огорчительна. А впрочем, эта неприятность нас не касается и грусть об этом не особенно мешает всем нашим радостям. И что-то делать, переделывать мы совершенно не собираемся. Нам жаль вас, бедные низшие классы, жаль вас, как киску в лишаях, но мы зубами и когтями будем драться против любого улучшения вашей жизни. В нынешней ситуации вы явно не столь опасны. Сейчас мы общим положением дел довольны и не рискнем увеличивать вашу вольность хотя бы на час в день. Так что, братья дорогие, придется уж вам попотеть, отрабатывая наши прогулки по Италии. Потейте, и черт с вами!».

Такова же позиция умных и образованных, в чем легко убедиться, читая сотни интеллектуальных эссе. Высокообразованные люди редко имеют меньше четырех сотен фунтов в год и, естественно, держат сторону богачей, воображая, что свобода бедняков угрожает их собственной свободе. Полагая альтернативой некий мрак социальной утопии по Марксу, человек тонкого воспитания предпочитает оставить все по старому. Его, возможно, не приводят в восторг повадки богачей, но даже их вульгарность ему ближе и

менее обременительна, чем проблемы нищих трудяг. Из боязни предположительно опасной толпы почти всякий образованный умник становится консерватором.

Страх перед толпой — страх суеверный, он основан на убеждении в непостижимом коренном отличии расы богатых от расы бедных. Но нет ведь никакой такой границы. Деление на бедных и богатых определяется доходом, лишь его суммой; рядовой миллионер — тот же рядовой мойщик тарелок в ином костюме. Поменяйте их местами и кто есть кто? Где грязь, где князь? Все это станет очень ясно, если сам без гроша покрутишься среди народа малоимущего. Но беда в том, что люди с образованием и воспитанием, люди, вроде бы призванные утверждать либеральные взгляды, никогда среди бедных не обретаются. Вообще, что большинство культурных граждан знает о бедности? Для публикации моего перевода стихов Вийона вдумчивый редактор счел нужным дать специальный комментарий к строчке *Ne pain ne voyent qu'aux fenestres*[89] — настолько

[89] notes: 89

«В любом окне видящий только хлеб» *(фр.)*. Из поэмы Ф. Вийона «Большое завещание»; в русском переводе Ф. Мендельсона это строчки «Но в сердце мрак и пуст живот, Он не наполнен и на треть, На девок ли теперь глядеть...» (Ф. Вийон. Стихи. М., 1963, с. 71).

непонятен ценителям поэзии голод. С подобными пробелами в знаниях суеверный ужас перед толпой возрастает вполне органично. Образованному человеку видятся орды полузверей, рвущих рабские цепи лишь затем, чтобы разграбить его дом, сжечь его книги, а самого его заставить работать у станка или чистить уборные. «Пусть что угодно, — думает человек образованный, — пусть любая несправедливость, только бы удержать толпу в узде». Не видится, что при отсутствии врожденных различий между массами богачей и бедняков нет и проблем освободившейся толпы. Толпа фактически уже теперь свободна — толпа богатых, своей властью учредивших громадные каторжные цеха типа «шикарных» отелей.

Подведем итог. Плонжер — раб, причем раб никчемный, исполняющий тупую, в основном бесполезную, работу. Его держат при таком деле, главным образом, из-за смутного подозрения, что, получив больше досуга, он может стать опасным. И культурные люди, от которых должны бы идти помощь и сострадание, внутренне одобряют его рабство, так как ничего про сегодняшних рабов не знают и потому сами их опасаются. Я говорю о плонжере, рассмотрев именно его случай, но то же в равной степени применимо к бесчис-

ленному множеству профессий. Это лишь мое собственное мнение насчет причин существования плонжеров, соображения вне важнейших вопросов экономики и, несомненно, весьма банальные. Просто кое-что из мыслей, навеянных трудами у ресторанной кухонной раковины.

23

Покинув «Трактир Жана Коттара», я сразу же лег спать и спал почти сутки. Затем впервые за полмесяца почистил зубы, вымылся, сходил подстричься, выкупил одежду из ломбарда. И два дня восхитительного безделья. Я даже, надев лучший свой костюм, посетил наш «Трактир» — небрежно прислонившись к стойке бара, кинул пять франков за бутылку английского пива. Прелюбопытно заявиться праздным гостем туда, где был последним из рабов. Борис очень жалел, что я уволился как раз тогда, когда мы наконец lances и совсем скоро должны были начать купаться в золоте. Позднее я получил от Бориса весточку, где сообщалось, что у него чаевых по сотне в день, а также новая подружка, барышня *tres serieuse*[90] и никогда не пахнет чесноком.

Целый день я провел, обходя наш квартал и со всеми прощаясь. Напоследок выслушал рассказ Шарля про финал старика Руколя, нищего, обитавшего здесь раньше. Шарль, вероятно, как всегда сильно привирал, но история была

---

[90] notes: 90
Очень порядочная *(фр.)*.

славная.

Умершего за пару лет до моего приезда в Париж Руколя еще частенько вспоминали. Не Даниэль Дансер[91], масштаб помельче, однако тоже интересная фигура. В свои семьдесят четыре года старик каждое утро шел на рынок подбирать овощную гниль, ел кошатину, вместо белья обертывался газетой, топил печь фанерной обшивкой комнаты, штаны себе смастерил из мешка — и все это, имея на счету в банке полмиллиона. Хотелось бы мне лично с ним познакомиться.

Как многих нищих, Руколя сгубила рискованная инвестиция. Однажды в квартале замелькал бойкий и деловитый еврейский парень с первоклассным планом доставки в Англию контрабандного кокаина. Конечно, купить кокаин в Париже довольно просто, да и перевезти его тайком несложно, только вот обязательно какой-нибудь стукач донесет в таможню или полицию. Доносят, считалось вокруг, сами торговцы кокаином, так как вся контрабанда в руках синдикатов, не желающих конкуренции. Парень, однако, уверял, что опасности никакой: у него есть путь прямо из Вены, в обход известных каналов и без

[91] notes: 91

Знаменитый английский нищий (в оригинале имя приведено во французской транскрипции — *Daniel Dancer*).

посредников-вымогателей. На Руколя он вышел через поляка, студента Сорбонны, готового вложить четыре тысячи, если Руколь даст шесть. Хватило бы закупить десять фунтов кокаина, нажив потом изрядный капиталец.

Поляк и еврей чуть не надорвались, вытягивая деньги из старого Руколя. Шесть тысяч для него было немного (в его матрасе хранилось гораздо больше), но он испытывал смертные муки, расставаясь с каждым грошом. Неделю без перерыва дельцы объясняли, наседали, доказывали, уговаривали, умоляли. Старик ополоумел, разрываясь между жадностью и боязнью. При мысли о возможном барыше в пятьдесят тысяч у него кишки сводило спазмой, но пересилить себя и рискнуть деньгами он не мог. Так и сидел в углу, обхватив голову руками, постанывая, временами дико вскрикивая, то и дело падая на колени (он был чрезвычайно набожен) и моля ниспослать ему силы. И никак не решался. И внезапно — более всего от изнеможения — решился: вспорол свой матрас с деньгами, выдал ровно шесть тысяч.

В тот же день еврей притащил кокаин и вмиг исчез. Между тем, как и следовало ожидать, благодаря шумным стенаниям Руколя сделка стала известна всему кварталу; уже следующим утром

нагрянула полиция.

Поляка и Руколя обуял ужас. Полиция внизу, обшаривают комнату за комнатой, а на столе увесистый пакет кокаина, и спрятать некуда, и лестница перекрыта, сбежать нельзя. Поляк готов был выкинуть порошок в окно, но Руколь даже слышать об этом не хотел. Шарль рассказывал, что был свидетелем драматической сцены: едва попробовали взять пакет у Руколя, тот прижал кокаин к груди и, несмотря на свой преклонный возраст, дрался как бешеный. Обезумев от испуга, он все-таки скорее пошел бы в камеру, чем выкинул сокровище.

Наконец, когда полицейские уже обыскали первый этаж, кто-то подал идею. У соседа Руколя, мелкого коммерсанта, имелась на продажу дюжина банок дамской пудры — предложено было в эти банки насыпать кокаин, выдав за безобидную косметику. Пудру мигом вытряхнули в окно и заменили кокаином, банки демонстративно, как предмет самый невинный, расставили по столу. Через пару минут вошла полиция. Простучав стены, обследовав половицы, заглянув в дымоход, вывернув наизнанку драные кальсоны и ничего не обнаружив, бригада собиралась уходить, когда инспектор заметил стоящие на столе банки:

– *Tiens!*[92] Еще кое-что, сразу и внимания не обратил. Что это, а?

— Дамская пудра, — проговорил поляк со всем возможным в его состоянии спокойствием.

Но тут Руколь так громко, тревожно застонал, что полиция насторожилась. Одну из банок открыли, содержимое высыпали, инспектор, понюхав, уверенно признал кокаин. Руколь и поляк начали клясться всеми святыми, что это пудра, — бесполезно, чем горячей они клялись, тем больше вызывали подозрений. Парочку арестовали и под конвоем повели к ближайшему участку.

В участке начался допрос у комиссара, а банку с порошком отослали в лабораторию. По словам Шарля, Руколь вел себя неописуемо. Он молил, плакал, заявлял то одно, то совершенно обратное, вдруг зачем-то выдал поляка и при всем том непрестанно голосил на всю улицу. Полицейские просто лопались от смеха.

Через час возвратился посланец с банкой кокаина и заключением эксперта. Улыбаясь, сказал:

— Это не кокаин, *monsieur*.

— Нет? Не кокаин? — изумился комиссар. —

---

[92] notes: 92
Нате-ка! *(фр.)*

Mais, alors[93] — что?

— Дамская пудра.

Поляка и Руколя сразу же отпустили, вполне оправданных, но жутко злых. Еврейский парень их попросту надул. Впоследствии, когда волнения утихли, выяснилось, что ту же шутку он сыграл еще с двоими из нашего квартала.

Поляк рад был отделаться, пусть даже потеряв четыре тысячи, но несчастный старик Руколь был совершенно раздавлен. Придя домой, он слег, и уже заполночь все еще слышались его вопли:

— Шесть тысяч франков! *Nom de Jesus Christ!* Шесть тысяч!

На третий день его хватил удар, а спустя две недели он скончался. От разбитого сердца, как пояснил Шарль.

---

[93] notes: 93
Но тогда *(фр.)*.

24

До Англии я добирался третьим классом через Дюнкерк и Тилбери (самый дешевый и не самый худший путь через Канал[94]). Поскольку за каюту надо было доплачивать, вместе с большинством пассажиров третьего класса я спал в салоне. Некоторые наблюдения из моего дневника:

«Ночевка в салоне; двадцать семь мужчин, шестнадцать женщин. Наутро никто из женщин не умывался. Мужчины почти все отправились в ванную комнату, а женщины просто достали свои зеркальца и припудрили несвежие лица. **Вопрос**: вторичный половой признак?».

Со мной ехала молодая румынская пара, сущие дети, совершавшие свадебное путешествие. Их любопытство к неизвестной Англии я удовлетворял чудовищным враньем. По дороге домой, после долгих тягот в чужом городе Англия виделась мне вариантом рая. Действительно, многое зовет вернуться на английскую землю: ванные, кресла, мятный соус, должным образом приготовленный молодой картофель, хлеб с отрубями,

---

[94] notes: 94
Имеется в виду пролив Ла-Манш.

апельсиновый джем, пиво из настоящего хмеля — великолепно, если есть чем заплатить. Англия восхитительная страна для того, кто не беден, а я, имея перспективу надзора за дебилом, бедным быть, разумеется, не собирался. Мечта о скором блаженном житье очень подогревала патриотизм. Чем больше вопросов задавали румыны, тем шире разливались мои хвалы всему английскому: климат, пейзаж, поэзия, музеи, законы и права — сплошное совершенство.

— А хороша ли в Англии архитектура?

— Блистательна! — отвечал я. — Одни лишь лондонские монументы чего стоят! Париж вульгарен: или грандиозно, или убого. Но Лондон!...

Тем временем пароход подошел к Тилбери. Первое здание у причала несомненно было отелем — чудовищный оштукатуренный барак, мелкие башенки которого пялились с берега наподобие глядящих со стены клиники кретинов. Слишком вежливые для каких-либо замечаний, румыны молча косились на отель. «Выстроен по французскому проекту», — уверил я. И даже когда поезд проползал сквозь трущобы восточных лондонских районов, я продолжал настаивать на красотах местного зодчества. Не было слов, достойных выразить прелесть Англии, теперь,

когда я, вырвавшись из нужды, приближался к благополучию.

В офисе моего друга Б. все разом рухнуло. «Мне очень жаль, — встретил меня приятель, — но твои наниматели уехали за границу и пациента увезли. Впрочем, они должны вернуться через месяц. Пока, надеюсь, продержишься?»

Я оказался за порогом, даже не сообразив занять еще немного денег. Впереди месяц ожидания, а в кармане всего-навсего девятнадцать шиллингов шесть пенсов. Новость меня сразила. Долго не удавалось собраться с мыслями. Весь день я проболтался по улицам, а ночью, слабо представляя, где найти в Лондоне дешевое пристанище, пошел в «семейный» отель-пансион. Заплатил семь с половиной шиллингов — осталось десять шиллингов и два пенса.

Утром составил план. Хотя, конечно, рано или поздно придется обратиться за помощью к Б., сейчас это все-таки неудобно, и на какой-то срок необходимо затаиться. Опыт научил меня не закладывать лучшие вещи. Всю одежду я оставил в вокзальной камере хранения, взял только не совсем новый костюм, который думал обменять на более поношенный, выиграв при этом около фунта. Собираясь месяц прожить на тридцать

шиллингов, я должен был одеться плохо, буквально «чем хуже, тем лучше». Реально ли растянуть тридцать шиллингов на месяц, я понятия не имел, в Лондоне я ориентировался совсем не так, как в Париже. Может, милостыню просить или же торговать шнурками для ботинок? Из воскресных газет мне помнилось про нищих, у которых зашито за подкладкой тысчонки две. Во всяком случае, было точно известно, что голод в Лондоне не грозит, хотя бы об этом я мог не беспокоиться.

Продавать свой костюм я отправился в Лэмбет, бедняцкий район, где всюду торгуют ношеным тряпьем. В первой лавке, куда я сунулся, хозяин был вежлив, но бесполезен, во второй — крайне невежлив, в третьей — глух как пень или же притворялся таковым. Четвертый торговец, блондинистый мясистый малый, весь розовый как ломоть ветчины, оглядев меня, быстро и пренебрежительно пощупал ткань:

— Жиденький материальчик, прям дешевка (костюм был добротный и дорогой). Почем сдаешь?

Я объяснил, что хотел бы получить одежду пониже качеством плюс разницу в цене, на его усмотрение. Секунду он размышлял, потом набрал каких-то замызганных тряпок и кинул мне.

«Как насчет денег?» — напомнил я, уповая на фунт. Торговец поджал губы, посопел и выложил возле тряпок **шиллинг**. Я не собирался спорить с ним, но поскольку невольно открыл рот, он сделал движение, якобы забирая монету, — верно оценил мою беспомощность. Мне было позволено переодеться в задней комнатке.

Полученное старье состояло из пиджака, в свое время темно-коричневого, пары черных холщовых брюк, шарфа и матерчатой кепки. Рубашку, носки и ботинки я оставил свои, в карман переложил расческу и бритву. Очень странное ощущение возникло в новом наряде. Мне и раньше случалось плохо одеваться, но ничего хоть сколько-то подобного. Вещи были не просто мятыми и грязными, их отличала — как бы это выразить? — некая благородная ветхость, некая, вовсе не похожая на пошлую заношенность, патина старинной тусклой блеклости. Виды такой одежды демонстрируют бродяги или продавцы спичек. Часом позже на улицах Лэмбета мне встретился какой-то бредущий с видом нашкодившего пса субъект, явно бродяга; присмотревшись, я узнал самого себя в витринном зеркале. И лицо уже покрыто пылью. Пыль чрезвычайно избирательна: пока вы хорошо одеты, она минует вас, но лишь

появитесь без галстука, облепит со всех сторон.

На улицах я оставался до самой ночи, причем безостановочно ходил, серьезно опасаясь, что ввиду костюма полиция примет меня за попрошайку и арестует. Говорить я тоже не осмеливался, воображая, что будет замечено несоответствие между произношением и одеянием (страх, как я впоследствии убедился, напрасный). Новый мой костюм мгновенно перенес меня в новый мир. Отношение ко мне круто изменилось. Лоточник, которому я помог собрать рассыпавшийся товар, кинул с улыбкой: «Спасибо, браток». До сей поры «братком» меня никто не называл — эффект соответственной одежды. Впервые я заметил, как меняется в связи с вашим костюмом поведение женщин. Когда рядом проходит человек в мятом вылинявшем пиджаке, их передергивает и они брезгливо отшатываются, как от дохлой кошки. Одежда — мощнейшая вещь. В отрепьях сложно, по крайней мере поначалу, преодолеть ощущение действительной собственной деградации. Такое же чувство позора, неясного и тем не менее весьма чувствительного, испытываешь первой ночью в тюрьме.

Ближе к одиннадцати я стал высматривать ночлег. Зная по книгам о ночлежках (кстати, ноч-

лежками они никогда не именуются), я полагал найти спальное место пенса за четыре. Приметил на обочине Ватерлоо-роуд какого-то работягу в спецовке и обратился к нему. Сказал, что без гроша, хотел бы переночевать как можно дешевле.

«Ага, — кивнул он, — там вон, на ту сторону поди, надписано где над дверями «Тихий Отдых для Бессемейных Мужчин». Точно, отличный кип[95], я сам ходил. У их там дешево да еще **чисто**».

Окна торчавшей на указанном месте развалюхи едва светились, темнея заплатами выбитых и заклеенных бумагой стекол. В кирпичном коридоре навстречу снизу вышел худосочный, с заспанными глазами мальчишка. Из подвала послышался смутный шум, плеснуло жаркой, отдающей сыром затхлостью. Мальчишка, зевая, подставил ладонь:

— Кип надо? Гони бычок, и все дела.

Заплатив шиллинг, я вслед за мальчишкой по темной шаткой лесенке поднялся в спальню. Сладковато воняло больничной палатой и грязным бельем; окна, видимо, были наглухо забиты, вначале показалось, что воздуха просто нет. Горящая свечка позволила различить низкую

---

[95] notes: 95
«Кип» на жаргоне — место для сна.

комнату площадью метров двадцать и вмещавшую восемь коек. Шестеро квартирантов уже лежали, бдительно свернув рядом всю снятую одежду, включая поставленные сверху башмаки. В углу кто-то кошмарно, мерзейшим образом кашлял.

Постель оказалась жесткой как камень, подушкой служил валик, по твердости не уступавший бревну. Спать тут было хуже, чем на столе, — кровать гораздо короче стандартной, очень узкая, и матрас таким горбом, что приходилось напрягаться, удерживая себя от падения. Смердящие застарелым потом простыни я был вынужден отодвинуть подальше от носа. К тому же вместо одеяла тоненькая хлопковая накидка, и согреться при всей духоте трудновато. И постоянная возня вокруг. Примерно через каждый час мой сосед слева, матрос вероятно, просыпался и, кляня бога с дьяволом, закуривал. Другой жилец, жертва простуженного мочевого пузыря, раз шесть за ночь вставал, чтобы шумно использовать ночной горшок. Квартировавшего в углу каждые двадцать минут терзало кашлем, регулярный накат приступа ожидался, как ждешь очередной рулады воющей на луну собаки. Звук этого кашля не описать; человек хрипел, давился, будто ему все

нутро выворачивало. Он как-то чиркнул спичкой — осветилось старческое лицо, впалые серые щеки покойника и намотанные для тепла на голову штаны (манера, которой я, должен признаться, не выношу). Всякий раз в ответ на кашель старика или ругань матроса летели сонные крики:

— Заткнись! Заткнись к черту, чтоб тебя...!

Спал я в общей сложности не больше часа. Утром проснулся со смутным впечатлением придвинутого ко мне крупного темного предмета. Открыв глаза, увидел прямо перед своим лицом закинутую на мою кровать матросскую ступню. Ступня была очень смуглой, смуглой как у индусов, но от грязи. Стены пестрели пятнами, цвет сыроватых, недели три не стираных простынь достиг оттенка довольно плотной умбры. Я оделся и пошел вниз. В подвале обнаружилось несколько стоящих в ряд чугунных ванн, висела пара скользких мокрых полотенец на роликах. Имея при себе кусочек мыла, я уже хотел приступить к мытью, когда заметил, что внутренние стенки ванн чернеют грязью — слоем жирной липкой грязи, не светлее сапожной ваксы. Ушел немытым. Заведение по всем статьям не отвечало рекомендации «дешево да еще **чисто**». Зато, как мне позже открылось, оно было типичнейшей

ночлежкой.

Перейдя мост и прошагав довольно далеко к востоку, я наконец решил зайти в торговое кафе на Тауэр-хилл. Лондонское торговое кафе, каких тысячи, показалось мне после Парижа необычным и иностранным. Душноватый зальчик со скамьями, высокие спинки которых хранили моду прошлого столетия, с меню, написанном обмылком по зеркалу, и подавальщицей, девчонкой лет четырнадцати. Работяги жевали что-то из собственных газетных свертков и пили чай из похожих на керамические стаканы чашек без блюдец. Сидевший особняком в углу еврей, уткнувшись в тарелку, жадно и виновато ел бекон.

— Нельзя ли чая и хлеба с маслом? — спросил я юную официантку.

Она оторопела. Удивленно таращась, ответила: «Масла нету, только марг». И повторила буфетчику мой заказ фразой, столь же присущей Лондону, как вечный *coup de rouge*[96] Парижу:

— Полный чай с двойным бутером!

На стене рядом со мной висела табличка, предупреждавшая «Уносить сахар воспрещается»,

---

[96] notes: 96
Революционный бунт *(фр.)*.

а ниже некий поэтического склада гость приписал:

Кто упрет отсюда сахар,
Того надо послать на...,

но кто-то еще не пожалел сил соскрести последнее слово. Это была Англия.

После стоившего три с половиной пенса чая-с-двойным-бутером у меня осталось восемь шиллингов и два пенса.

25

Восемь шиллингов были растянуты на три дня и четыре ночи. После неудачной пробы на Ватерлоо-роуд[97] я перебрался еще дальше к востоку и следующую ночь провел в ночлежке на Пеннифилдс. Заурядная лондонская ночлежка из тех, которые могут принять от полусотни до сотни постояльцев и управляются «полномочными», — наличие этих доверенных представителей владельцев свидетельствует о хорошем достатке хозяев, то есть о выгодности предприятий. В спальнях коек по пятнадцать-двадцать, постели опять-таки жесткие и холодные, но простыни — уже прогресс — постираны не далее чем неделю назад. Цена ночлега девять пенсов или шиллинг (за шиллинг спальня с койками длиной шесть футов вместо обычных четырех), платить положено наличными до семи вечера либо когда выходишь на улицу.

Внизу общая кухня с предоставленными всем

[97] notes: 97

Странно, но факт общеизвестный: клопов на юге Лондона гораздо больше, чем на севере, и почему-то эти насекомые не совершают массового перехода через реку *(прим. автора)*.

и бесплатно дровяной плитой, бачком для чая, кое-какой утварью, тостерными вилками. Кроме того горящие круглые сутки в любой сезон две кирпичные печки. Топили, убирали и застилали койки поочередно сами жильцы. За старшину был похожий на викинга красавец Стив, портовый грузчик, слывший тут «головой», решавший споры и выставлявший неплательщиков.

Кухня мне нравилась. Глубокий низкий подвал, дремотная жара с дымком кокса, свет только от печных огней и по углам густые бархатные тени. С веревок под потолком свисает мокрое тряпье. Мелькая багровыми бликами, жильцы, главным образом грузчики, докеры, топчутся у плиты со своими плошками; некоторые совсем голышом, так как одежду постирали и теперь сушат. Вечерами игра в карты (в «нап» — «наполеон») или в шашки и песни: самая любимая — «А я парнишка, горе злое отца с матерью», вторая по частоте исполнения — про гибель корабля. Иногда поздней ночью притаскивается и делится на всех ведро купленных по дешевке моллюсков. Дележ съестного был в обычае, при этом считалось само собой разумеющимся подкармливать безработных. Иссохший бледный человечек, явно одной ногой в могиле, все рассуждавший «Браун-то, как

к дохтору сходимши, и помер враз», постоянно кормился за счет такого рода угощений.

Среди постояльцев пара-тройка дряхлых пенсионеров. Я раньше даже не подозревал, что в Англии есть люди, которые живут лишь на положенную ввиду преклонных лет пенсию десять шиллингов в неделю. Никаких иных ресурсов у этих старцев не имелось. Одного из них, любителя почесать языком, я спросил, как ему удается существовать.

— А чего ж тут, — ответил он. — По девяти пенсов за кип — это те на неделю пяток шиллингов да три пенса. Потом клади три пенса, чтоб в субботу щетину поскоблить, — это те пятерик да шесть. Потом, гляди-ка, волос постричь хотя раз в месяц — еще, значит, пару пенсов накинь. И станется те на неделю четверик да четыре пенса для пищи и чтоб курнуть.

О каких-либо других тратах старик не помышлял. Питался чаем и хлебом с маргарином (к концу недели вчерашним хлебом и чаем без молока), одежду наверно получал в пунктах благотворительности. И выглядел довольным, превыше еды ценя теплый угол и постель. Однако же, из жалких пенсионных десяти шиллингов еще уделять деньги на бритье — внушает благо-

говейный трепет.

Целый день я болтался по улицам между Уоппингом и Уайтчеплем. Все так странно после Парижа: все вокруг гораздо чище, гораздо тише и скучней. Не слышно ни грохота трамваев, ни кипучей шумной возни боковых улочек, ни громыхания марширующих через площади военных. Прохожие одеты лучше, лица мягче, спокойнее, однообразнее, без вызывающего жесткого индивидуализма французов. Меньше пьяных, меньше грязи, меньше ругани и больше бездельников. На всех углах кучки зевак, слегка оголодавших, подкрепляющих себя лишь чаем-с-бутером, блюдом, необходимым лондонцу каждые два часа. Сам воздух, кажется, лишен парижской лихорадочности. Там, в Париже, страна стаканчиков вина и потогонной системы, а здесь страна чашечек чая и трудовых договоров.

Интересно было наблюдать за толпой. Женщины в Ист-энде[98] хорошенькие (возможно, результат смешения кровей), Лаймхауз щедро приправлен Востоком — и китайцы, и отпущенные в увольнение моряки-индийцы, и торгующие шелковыми платками дравиды, и даже несколь-

[98] notes: 98

Ист-энд — восточная, «пролетарская» часть Лондона. Далее упоминаются районы Ист-энда.

ко бог знает как попавших сюда сикхов. Повсюду уличные митинги. На Уайтчепле некто, именовавший себя Гласом Евангельским, ручался за шесть пенсов уберечь вас от преисподней. На Ост-Индиа-док-роуд Армия спасения проводила церковную службу, в пении псалма «Кто подобен Иуде *лживому*?» отчетливо звучал мотивчик «Кому охота с пьяной матросней?». На Тауэр-хилл пытались воззвать к публике двое мормонов. Осаждавшая площадку аудитория горланила и не давала говорить. Кто-то обличал мормонов за многоженство; хмурый бородач, как видно неколебимый атеист, яростно прерывал ораторов, едва слышалось слово «бог». Шум, гам, перепалка:

«Дорогие друзья! Если позволите, нам бы хотелось вам сказать...» — «Пускай доскажут, имеют право, не встревай!...» — «Нет-нет, ты мне прежде ответь: ты можешь своего бога **показать**»? **Покажь** давай, тогда и верить в его буду...» — «Да заткнись, хватит к им вязаться!...» — «Сам заткнись! Многоженцы е...!» — «А че ж, нам многоженство не без пользы, взять хоть е... девок фабричных...» — «Дорогие друзья, если б вы только позволили...» — «Нет-нет, ты не виляй, ты говори: **видал** бога-то? За **руку**, что ль, здоровал-

ся?...» — «Да не встревай, черт тебя подери, ну **не встревай** же!»...

Минут двадцать я стоял, ожидая узнать что-нибудь о мормонах, но митинг далее бурлящей свары не продвинулся. Обычный удел всех митингов.

На Мидлсекс-стрит сквозь базарную толчею продиралась замызганная оборванка, волочившая пятилетнего шкета. Тот ревел благим матом, а мамаша размахивала у него перед носом жестяной дудкой.

— Играться? — орала она. — Думает, взятый, чтоб вот токо дудку ему купи? Давно не драла тебя? **Щас**, ублюдочек сопливый, ты у меня поиграешься!

Из дудки капельками падала слюна. Визжа в два голоса, мамаша с отпрыском исчезли. Очень и очень странно после Парижа.

Накануне вечером при мне в ночлежке на Пеннифилдс сцепились два жильца, сцена была гнетущая. Один из стариков-пенсионеров, лет семидесяти, голый до пояса (он стирал), бешено, срываясь на крик, поносил отвернувшегося к печке коренастого грузчика. Хорошо освещенное огнем, лицо старика дергалось от обиды и гнева. Видимо, случилось что-то серьезное.

Старикан: Ах ты...!

Грузчик: Заткни пасть,... старый, пока я те не двинул!

Старикан: Ну-ка, попробуй, ты,...! Я хоть старее годов на тридцать, а токо тронь, так в морду врежу — мочой весь завоняешь!

Грузчик: Ох, кабы я тя после на части не развалил, старый...!

Так продолжалось минут пять. Окружающие сидели, понурившись, ссору старались не замечать. Тем временем грузчик мрачнел, а старикан все больше входил в раж. Подскакивал к противнику, кричал ему чуть ли не в самое лицо, шипел, плевался, как разъяренный кот. Пробовал даже нервно, не совсем удачно, ткнуть кулаком. Наконец взорвался:

— ...! Вот ты кто — ...! Пососи-ка своим вонючим ртом! Я те... своим глотку заткну!... ты, больше ничего,... сучье отродье! На-ка, облизни!... ты!...!...! УБЛЮДОК ЧЕРНОМАЗЫЙ!

Выкрикнув это, старик вдруг рухнул на лавку, прижал к лицу ладони и завыл. Противник, видя, что народ настроен против него, ушел.

От Стива я потом узнал причину ссоры: все из-за съестного на какой-нибудь шиллинг. По некоторым причинам старик остался без своего

хлеба с маргарином и трое суток ему предстояло питаться только угощением соседей, а грузчик, имевший работу и хороший сытный кусок, позубоскалил над стариком, отсюда и скандал.

Когда финансы мои сократились до шиллинга, четырех пенсов, я перебрался в Боу, в ночлежку, где брали лишь восемь пенсов. Спустился в затерянный среди переулков и тупиков душный тесный подвал метра три на три. С десяток квартирантов, большей частью чернорабочих, сидели у бьющего ярким светом огня. Несмотря на глубокую ночь сынишка полномочного, бледный и взмокший, резво ползал по коленям жильцов. Старик ирландец насвистывал слепому снегирю в крошечной клетке. Были и другие пичуги — чахлые создания, не знавшие ничего кроме этого склепа. Обитатели ночлежки, ленясь тащиться до уборной через двор, мочились прямо в огонь. Сев к столу, я почувствовал странное шевеление под ногами; поглядев вниз, увидел плавно текущую сплошную черную массу — тараканы.

В спальне шесть коек; простыни, крупно помеченные штампом «Украдено из дома №..., Боу-роуд», пахли кошмарно. Рядом спал дряхлый старик, рисовальщик на тротуарах, с каким-то особенным искривлением спины, заставившим

его выгнуться, свесив зад в полуметре от моего лица. Эта часть его тела была голой, покрытой примечательным узором грязных разводов наподобие мраморной плитки. Среди ночи явился пьяный, свалившийся возле моей кровати. Имелись также клопы — не такой ужас, как в Париже, но достаточно, чтобы держать вас в боевой готовности. Местечко хуже некуда. Однако полномочный с женой там были людьми радушными, готовыми налить вам чашку чая в любой час дня и ночи.

26

Наутро, после обязательного чая-с-двойным-бутером и покупки шепотки табака у меня осталось полпенни. Все же идти к Б. одалживать еще денег не хотелось, так что путь был только во временный приют для бродяг. Очень слабо представляя, как туда попадают, но зная, что такой приют есть в Ромтоне, я пошел. И часам к трем дня дошагал. На ромтонском базаре, возле стенки загона для свиней, стоял тощий морщинистый ирландец, несомненно бродяга. Я прислонился рядом, вынул из кармана коробку с табаком и предложил ему угоститься. Старик, заглянув в коробку, изумился:

— Ето ж, ей-бох, по шести пенсов табачина! Ох, силен! Хде ж ты, сатана дери, зацапал? **Ты-то** недавне вродь дорохи топчешь.

— Неужели у бывалого странника нет табака? — спросил я.

— Хо, у нас **имеется**. Хляди вон!

Он достал ржавую жестянку из-под бульонных кубиков, в ней лежало десятка два-три собранных на мостовой окурков. Другого табака, сказал старик, редко добудешь; потом добавил, что с

лондонских мостовых, если стараться, за день подберешь аж до двух унций.

— Ты никак в тутошний торчок[99] ладишься, э? — прищурился старик.

Я подтвердил, надеясь, что смогу к нему пристроиться, и спросил, каков торчок здесь, в Ромтоне.

— А хорош, с какавой. Исть которы с чаем торчки, которы вот с какавой, которы с пойлой. На Ромтоне-то, слав те хосподи, нам пойлу не сували, как я последни раз бывши. Я после-то на Йорк ходил да круг Уэльса.

— «Пойло» это что?

— Пойла? Одну горячу мутну воду плеснут с овсянкой ихней драной на донце, вот те и пойла. Которы торчки с пойлой, ети хужее всяких.

Мы поболтали час-другой. Ирландец оказался милейшим стариком, только очень уж скверно пах, что, впрочем, неудивительно при том количестве болезней, которыми он страдал. Как выяснилось из его описания симптомов, все у него с головы до пят было неладно: на облысевшем темени экзема, сильная близорукость (очков

[99] notes: 99

«Торчок» на жаргоне — учрежденный при работном доме (доме для нищих, постоянно проживающих на общественном содержании) временный приют с одноразовым ночлегом для нищих бродяг.

не имелось), хронический бронхит, какая-то боль в спине, расстройство пищеварения, цистит, варикозное расширение вен, опухоль на большом пальце ноги и плоскостопие. С таким ассортиментом болячек он бродяжил уже пятнадцать лет.

Ближе к пяти старик спросил:

— Чайку-то хлебнуть хошь?

— Очень бы не мешало.

— Ладно, знаю тут одно место, хде задаром чаю с булкой дают. Чаек-то **хорош**. После велят молитвы драные хундеть, да сатана с ими! Все ж таки время переждем. Давай за мной.

Мы пришли в переулок, к покрытому жестью сарайчику типа загородного павильона для крикета. Перед входом уже топталось человек двадцать пять. Несколько настоящих чумазых босяков, а большинство — приличного вида ребята с севера, вероятно шахтеры или же безработные сезонники. Наконец дверь открылась. Леди в синем шелковом платье, с распятьем на груди, с золотыми очками на носу, пригласила войти. Внутри десятка три-четыре фанерных стульев, фисгармония, на стене литография с весьма кровоточивой сценой крестной казни.

Конфузливо сняв кепки, мы уселись. Леди разнесла чай и, пока мы ели-пили, прохаживалась,

одаряя нас добрым словом. Темы были возвышенно-духовные: о Христе, всегда питавшем слабость к неотесанным беднякам вроде нас, о том, как радостны и животворны часы, проведенные в церкви, и как преображается скиталец, если он регулярно молится... Нас воротило. Мы сидели по стенке, скомкав в руках свои кепки (а без кепки бродяга себя ощущает нагишом на витрине), краснели, что-то глухо бормотали в ответ на обращения леди. Несомненно, ей хотелось всячески выказать участие. Подойдя с блюдом булочек к парнишке из нищих северных краев, она спросила:

— Ну а вы, мой мальчик, давно ли вы преклоняли колени в беседе с вашим Отцом Небесным?

У бедняги язык отсох, зато откликнулся желудок, громко и непристойно заурчавший, почуяв близость сладкой еды. Сраженному позором пареньку едва удалось проглотить свою булочку. Отвечать леди в ее стиле умел только один из нас — проворный красноносый малый с ухватками капрала, лишенного нашивки за пьянство. Никогда не слышал, чтобы в чьих-то устах упоминания «возлюбленного Господа нашего» звучали с меньшей дозой фальши. Сноровка, явно приобретенная в тюрьме.

Чаепитие завершилось, и бродяги стали украдкой переглядываться. Молча витал вопрос — нельзя ли улизнуть до предстоящих молений? Кто-то из гостей заерзал, еще сидя, лишь устремив взор к двери, словно робко примеряя мысль о побеге. Леди одним взглядом пресекла бунт. Тоном не кротким, а кротчайшим она пропела:

— Думаю, вам все же не стоит уходить **сейчас**. Раньше шести приют ваш не откроется, у нас есть время немножко помолиться, воззвав к Отцу нашему. Полагаю, всем нам тогда станет легче и радостнее, вы согласны?

Красноносый кинулся помогать: услужливо выдвинул фисгармонию, затем роздал молитвенники. Делал он это спиной к леди, благодаря чему дал волю своим комическим талантам, уподобив стопку книжек колоде карт и шепча при вручении: «Накось, приятель, прям-таки одни е... козыря! Накось — четыре туза с королем!...».

Смиренные, мы опустились на колени подле грязной чайной посуды и принялись бубнить, что мы не делаем того, что нам следует делать, а делаем то, чего делать не следует, и как нам плохо от этого. Леди молилась благоговейно, не забыв, однако, зорко водить очами, дабы удостоверяться в нашем усердии. Когда она переводила взгляд,

мы ухмылялись, подмигивали, потихоньку отпускали непристойные шутки — активно, хотя несколько сдавленно, демонстрировали нашу лихость. Ни у кого за исключением красноносого не хватало духа читать молитвы в полный голос. С пением псалмов дело пошло веселей, только старый босяк, не заучивший ничего кроме «Вперед, воины Христовы!», иногда ревом своим нарушал стройность мелодий.

Молебен продолжался полчаса, после чего леди простилась с нами, в дверях пожав каждому руку.

— Во напасть-то, — сказал один из нас, когда мы отошли подальше. — Конца, думал, не станет этой волынке е...

— Булку те дали, — заметил другой, — оплачивай.

— Молитвы, что ль, скулить за эту булку? Небось по милосердности много не кинут. Чаю двухпенсового не нацедят, пока тя на коленки е... не погнут.

Послышались одобрительные реплики. Бродяг, как видно, бесплатный чай нисколько не растрогал. А чай, кстати, был превосходный, отличался от чая в обычном кафе, как французское бордо от дряни с этикеткой «колониальный кларет»,

и все мы пили этот чай, наслаждаясь. Уверен также, что нас угощали искренне, без малейшего желания обидеть. В общем, должна бы, кажется, возникнуть благодарность, — но отнюдь, не возникла.

27

Примерно без четверти шесть ирландец привел меня к торчку. Угрюмый тускло-желтый кирпичный куб в углу владений работного дома; решетки на крохотных окнах и стена высокой ограды с железными воротами слишком напоминали тюрьму. Уже толпилась в ожидании длинная очередь. Народ всякого вида и возраста, от румяного малого лет шестнадцати до скрюченной беззубой мумии лет семидесяти пяти. Были матерые бродяги, узнаваемые по их посохам и дубинкам, по въевшейся в темные лица дорожной пыли, были безработные с фабрик и безработные батраки, был клерк в воротничке и галстуке, была парочка настоящих сумасшедших. Выглядело это сборище жутковато: ничего грозного или злодейского, просто вконец обнищавшая шелудивая команда, почти сплошь рвань, причем явно полуголодная. Приняли меня, однако, дружелюбно и без вопросов. Многие угощали табаком — то есть окурками, конечно.

Подпирая стену, покуривая, бродяги делились новостями о положении в других торчках. Я узнал, что торчки бывают разные, в каждом свои

плюсы и минусы, и знание места чрезвычайно важно. Опытный бродяга подробно вас проинформирует насчет любого торчка в Англии: вот там курить можно, зато полно клопов, а там постели хороши, но сторож больно драчлив, а там утром пораньше выпускают, но чай поганый, а там служители жулье, последний грош стащат... — объем сведений неисчерпаем. Известны постоянные маршруты, на которых ровно день от торчка до торчка. Как лучший путь, мне рекомендовали шоссе Барнет — Сент-Олбанз, предупредив обходить стороной Биллеркей, Челмсфорд и Айд-Хилл в Кенте. Самым роскошным в стране признавался торчок Челси; там даже, сказал кто-то, одеяла не хуже арестантских. Летом бродяги ходят далеко, зимой же всячески стараются кружить близ больших городов, где и обогреться легче и народ пощедрее. Но вообще не скитаться, не бродить они не могут, так как в определенный торчок или в два каких-то из лондонских торчков разрешено являться не чаще чем раз в месяц. За нарушение недельный тюремный срок.

Вскоре после шести ворота отворились, и во дворе, в конторе, нас начали поочередно регистрировать. Чиновник записывал имя, возраст и род занятий, а также откуда вы прибыли и

куда направляетесь — туда давался специальный дорожный пропуск. Я указал родом занятий «живописец» (малевал же я детскими водяными красками, чем не занятие?). Был еще пункт «имеются ли деньги?», на что все отвечали «не имеется». По правилам торчки только для тех, у кого меньше восьми пенсов, и медяки в пределах этой суммы положено сдавать при входе. Но бродяги предпочитают контрабандой протаскивать свою наличность, туго закрутив монеты обрывком тряпки, чтобы не звенело. Узелки обычно прячут в непременных у каждого бродяги мешочках с чаем и сахаром или же среди «документов». Свято чтя «документы», власти в них никогда не роются.

Зарегистрированных, нас повели из конторы в сам торчок. Вели двое: наш надзиратель в официальном чине бродяг-майора (должность эту чаще всего получают нищие из работного дома) и сторож в синей униформе, здоровенный мерзавец, оравший и погонявший нас как стадо. Все устройство торчка ограничивалось банной комнатой, уборной да коридором с двойным рядом сотни, наверное, спальных отсеков. Мрачный холод замазанных побелкой кирпичных стен, казенная опрятность, запах, который я как-то уже

заранее предчувствовал: смесь скверного мыла, дезинфекции и клозета — холодный, унижающий запах неволи.

Выстроив нас в коридоре и распорядившись по шесть человек заходить на мытье, сторож приступил к обыску. Искал он деньги и табак. Торчок в Ромтоне был как раз из тех, где вы могли курить, если сумели тайком пронести курево, но табак, обнаруженный при обыске, подлежал конфискации. Мы от бывалых бродяг знали, что здешний сторож никогда ниже коленей не шарит, и предварительно затолкали свои табачные припасы в ботинки вокруг щиколоток, а потом, раздеваясь, перепрятали в пиджаки, которые тут разрешали оставлять для пользования ими вместо подушек.

Сцена мытья была невероятно омерзительна. Полсотни грязных, совершенно голых людей толклись в помещении метров шесть на шесть, снабженном только двумя ваннами и двумя слизистыми полотенцами на роликах. Вонь от разутых бродяжьих ног мне не забыть вовеки. Меньше половины прибывших действительно купались (высказывались опасения, что от горячей воды «слабнешь»), но все тут мыли лица, руки, ноги и полоскали жуткие сальные лоскутья,

так называемую ножную дрань, которую бродяги навертывают на переднюю часть ступни. Чистую воду наливали лишь тем, кто брал полную ванну; большинство пользовалось той же водой, где вымылись другие. Сторож пихал нас туда-сюда, вскипая бранью в адрес нерасторопных. Когда очередь дошла до меня, на вопрос, нельзя ли ополоснуть липкую грязь со стенок ванны, он рявкнул: «Заткни е... пасть и полезай живей!». Социальная атмосфера учреждения определилась, больше я уже ничего не спрашивал.

После мытья, связав нашу одежду в узлы, сторож выдал казенные рубахи — сомнительной чистоты серые хламиды вроде упрощенного варианта ночных сорочек. И сразу же нас развели по клетушкам, а затем сторож с надзирателем принесли из работного дома ужин: каждому полфунта намазанного маргарином хлеба с пинтой горького, без сахара, какао в жестяной кружке. Мы это, сидя на полу, мигом сглотнули, и часов в семь нас заперли снаружи; заперли до восьми утра.

В рассчитанные на двоих отсеки разрешалось идти вдвоем с приятелем. Меня, приятелей не имевшего, поместили с таким же одиночкой, тощим и слегка косоглазым заморышем. Кир-

пичная коробка, теснота (площадь метра два с половиной на полтора), глазок в двери, зарешеченное оконце под самым потолком — точная копия тюремной камеры. Внутри было шесть одеял, ночной горшок, труба местного парового отопления и больше абсолютно ничего. Я осматривался со смутным чувством, что чего-то недостает, и вдруг ошеломленно понял, чего именно:

— Где же, черт побери, кровати?

— Кровати? — изумленно повторил сосед. — Нету кроватей! Разбежался! Тут нас прям на пол ложат. Ишь ведь! А ты че же, не знал?

Отсутствие в торчках кроватей, как оказалось, было нормой. Мы свернули пиджаки, привалив их к трубе, и по возможности устроились. Стало ужасно душно, но все-таки не настолько тепло, чтобы употребить все свои одеяла на прослойку между телом и каменным полом. Лежали мы с соседом чуть не впритык, дыша друг другу в лицо, раздраженно брыкаясь в неспокойном сне, постоянно сталкиваясь коленками, локтями. Вертеться с боку на бок не помогало: как ни повернешься, камень давит сквозь тонкую подстилку и вскоре ноющую боль затекших мышц сменяет острейшая ломота. Дольше десяти минут не поспишь.

К полуночи со стороны соседа начались гомосексуальные попытки — особая гадость в задраенной, темной как склеп клетушке. Усмирить тщедушного агрессора мне не составило труда, но о сне, разумеется, пришлось забыть. Остаток ночи мы курили, разговаривали. Сосед поведал мне свою историю: монтер, три года без работы, жена, как только перестал носить зарплату, покинула, и он уже так долго вдали от женщин, что почти позабыл про них. Гомосексуализм, сказал он, обычное дело среди бродяг.

В восемь загремели замки и крики сторожа «на выход!». Двери открылись, выпустив клубы затхлой смердящей вони. Коридор мгновенно наполнился встрепанными фигурами в серых рубахах, с горшками в руках; все рвались в банную комнату. И не зря — по утрам на всю партию ночевавших ставится лишь одна бадья воды, так что, когда настала моя очередь, человек двадцать уже умылись, я только поглядел на хлопья плавающей бурой пены и ушел. Завтрак принесли точно такой же, как ужин, потом роздали одежду и послали во двор трудиться: перебирать картофель для кухни работного дома. Задание чисто формальное, просто чтобы занять нас до санитарного осмотра, большинство бродяг откро-

венно бездельничало. Около десяти прибыл врач, велено было опять идти в дом, снова раздеться и ждать.

Голые и дрожащие, мы выстроились в коридоре. Невозможно представить этот парад чахлого уродства под беспощадным утренним светом. Одежда у бродяг плоха, но ею прикрывается нечто еще более жалкое. Бродягу по-настоящему увидишь, когда посмотришь на него голого. Вздутые животы, впалые груди, плоские ступни, дряблые хилые мускулы — всевозможные вариации порчи и немощи. Почти у всех признаки явного недоедания, у двоих подвязаны грыжи, а что касается древнего старца-мумии, то вообще непонятно, как он мог совершать свои ежедневные марши. Лица, небритые, помятые, опухшие после бессонной ночи, тоже впечатляли, всякий принял бы нас за едва вышедших из недельного запоя.

Медицинская проверка проводилась исключительно в целях выявления оспы. Молодой практикант, дымящий сигаретой, быстро шел вдоль шеренги, пробегая взглядом по обнаженной коже и нисколько не интересуясь здоровьем проверяемых. Увидев на груди соседа красную сыпь, я, спавший рядом, в нескольких дюймах,

запаниковал — не оспа ли? Но медик, поглядев, махнул рукой — сыпь просто от голодной дистрофии.

По окончании осмотра мы оделись, нас вывели во двор, где сторож, выкликая по именам, вернул всякие личные пожитки, и затем каждому в конторе дали талончик на бесплатную еду. Шестипенсовый талон с направлением в кафе именно по тому маршруту, который был назван бродягой накануне. Между прочим, среди бродяг обнаружилось много неграмотных, просивших меня или других «ученых» расшифровать им их талоны.

Ворота отперли; толпа немедленно рассеялась. Как свеж и ароматен воздух — даже воздух глухой трущобной улочки — после духоты провонявшего сортиром торчка! У меня теперь появился приятель, с которым мы свели дружбу, перебирая картошку. Звали его, бледного, меланхоличного, довольно тщательно одетого ирландца, Падди Джакс, он направлялся к торчку в Эдбери и предложил мне идти вдвоем. Мы думали добраться часа в три дня, но, заблудившись в чаще унылых северных трущоб, вместо двенадцати миль отшагали четырнадцать. Талоны наши предназначались для илфордского кафе, куда мы и

зашли. Разносившая еду девчушка, схватив талоны, презрительно мотнула головой, после чего долго ходила, нас не замечая. Наконец брякнула на стол два «полных чая» с четырьмя смазанными подгоревшим жиром кусками хлеба — еду максимум пенсов на восемь. По паре пенсов от указанных шести в кафе всегда отжулят; у бродяги ведь не деньги, а талон, так что ни спорить, ни уйти в другое место этот клиент не может.

28

О Падди, моем спутнике на ближайшие полмесяца и первом бродяге, которого я хорошо узнал, надо сказать подробнее; он был, по-моему, типичен, десятки тысяч ему подобных топчут дороги Англии.

Довольно высокий, начинающий седеть блондин лет тридцати пяти, с водянистыми голубыми глазами. Черты лица приятные, но щеки впалые, того нечистого, землистого оттенка, который придает хлебно-маргариновый рацион. Одет чуть лучше большинства бродяг: спортивный твидовый пиджак и пара очень старых вечерних брюк, все еще красовавшихся истертым шелковым кантом. Кант, видимо, означал для Падди драгоценный след респектабельности — расползавшийся ветхий шнурок тщательно подшивался. Весьма заботясь о своей внешности, Падди бережно сохранял сапожную щетку и бритву, хотя давно продал и пачку «документов» и даже перочинный нож. Тем не менее бродяга узнавался за сотню ярдов. Нечто особое в дрейфующем стиле походки, в небрежной, а по сути боязливой, манере горбиться, выставив плечи.

Сразу чувствовалось, что парню привычнее не кулаком вдарять, а получать по шее.

Вырос Падди в Ирландии, потом прошел обычные два года армейский службы, потом работал на шлифовально-металлическом заводе, откуда пару лет назад и был уволен. Своего нынешнего положения он ужасно стыдился, хотя повадки бродяг уже усвоил целиком. Беспрестанно шарил глазами по мостовой, не пропуская ни единого окурка, ни даже пустых сигаретных пачек, пополнявших его запас бумаги для самокруток. На пути в Эдбери он увидал и мигом цапнул валявшийся газетный сверток, содержавший, как выяснилось, два окаменевших по краям сэндвича с бараниной; добычу, по его настоянию, мы разделили поровну. Он никогда не проходил мимо торговых автоматов, не дернув за рычаг (говорил, что неполадки в механизмах дают иной раз вытрясти монеты). Но криминальных действий избегал. Заметив возле двери одного из окраинных домов Ромтона доставленную, вероятно по ошибке, бутылку молока, Падди замер, пожирая ее взглядом:

— Черт! Ить каков ето продукт без пользы киснет! Хапнет же кто сейчас, а? Хапнет запросто.

Ясно читалось искушение «хапнуть» самому.

Он глянул туда-сюда — тихая улица без магазинов и никого вокруг. В тоскливой жажде молока худое серое лицо Падди совсем вытянулось. Потом он отвернулся, удрученно проговорив:

— Пусть его. Красть-то человеку чего хорошего. Я, слав те Господи, покудова ни раз еще не кравший.

Робость от постоянного недоедания, вот что пока хранило его добродетель. Доведись ему хорошенько набить брюхо пару дней кряду, он бы расхрабрился стащить бутылку молока.

В беседах Падди занимали два вопроса: унизительность позорной бродячей жизни и лучший способ выклянчить кусок. На эти вдохновительные темы он, шаркая по тротуарам, хныкал, жалостно причитал своим ирландским говорком:

— Да че же, сатаны мы, так мотаться? Ить ето ж с души рвет залазить в торчок драный. А кроме-то его куда подашься? Я, вон, второй месяц мясца не нюхавши, ботинки тоже уж прям развалившись и вообще уж... Черт бы! До Эдбери бы ткнуться при какой церкви чайку словить. У монастырских-то особо сладко чай варят. Как и жить бы человеку без святой веры? Мне уж сколько вот чаю давалось от монастырских, от баптистов, ан-

гликанских, других разных. А так-то я католик. На исповедь, сказать по-честному, лет с семнадцати не ходивши, но все ж таки святую веру взял и в чувстве и в понятии. И тоже вот у монастырских чайку всегда...

Такого рода монологи тянулись днями напролет, почти без перерыва.

Невежество Падди изумляло и устрашало. Однажды он, например, спросил, кто был раньше кого, Наполеон или Христос. В другой раз я рассматривал витрину букиниста, а он очень встревожился, ибо на одной из обложек значилось «О подражании Христу» и Падди усмотрел тут богохульство. Сердито бросил: «Чой-то, сатаны какие, вздумавши подражать Ему?». Читать он мог, но книги им воспринимались как некая враждебная стихия. Решив по пути заглянуть в публичную библиотеку и зная, что Падди до чтения не охотник, я предложил ему зайти хотя бы передохнуть. Он предпочел, однако, дожидаться на улице, сказав: «Не, меня токо с вида всей етой сплошной чертовой книжности в дурман клонит».

Подобно большинству бродяг он алчно дрожал над спичками. Когда мы познакомились, в его кармане был целый коробок, но никогда он при

мне спичку не зажег, а если я чиркал своей, то получал выговор за расточительность. Сам он прикуривал обычно у прохожих и был готов по полчаса ждать случая, чтобы задымить наконец от чужого огонька.

Ярче всего в нем проявлялась склонность жалеть себя. Казалось, думы о различных своих бедах не покидали его ни на миг. Долгое молчание вдруг прерывалось восклицанием: «Не адско ль дело, как вот пальту в заклад снесешь?» или же: «Чай-то ить в торчке одна моча!», будто важнее поводов для размышлений на свете не было. К тому же Падди грызло черной завистью ко всем более него преуспевшим — не к богачам, существовавшим в другом мире, а к людям, обеспеченным работой. Таких он язвил, как артист язвит собратьев, достигших славы. Если видел работающего старика, горько ронял: «Вишь, старый... клещом, а парням в силах нету местов», если мальчишку — «Сатаны сопливы, токо и годны хлеб у человека отбивать». Всех иностранцев Падди называл «клятыми итальяшками», твердо считая чужаков виновниками безработицы.

На женщин он смотрел со смесью тоски и ненависти. Хорошеньких встречных не замечал, как объекты недосягаемые, слюнки у него текли при

виде проституток. Плывет мимо парочка размалеванных затрепанных созданий — бледные щеки Падди розовеют, глаза его потом долго и жадно пялятся им вслед. «Паскуды!...» — бормочет он с вожделением малыша перед витриной кондитерской. Он как-то рассказал мне, что два года (с тех пор как потерял работу) не имел дел с женщиной, разучившись метить выше проституток. В общем, обычный для бродяг характер — трусоватый, завистливый, шакалистый.

И все же Падди был славным товарищем, по натуре великодушным и готовым поделиться последней коркой, и действительно не раз делившим со мной последний свой кусок. Он бы наверно и трудился хорошо, если б его нормально подкормить. Но два года на хлебе с маргарином все ниже опускали планку желаний и возможностей. На убогом подобии еды и тело и мозги слабели, раскисали. Не врожденная гниль, а дрянная скудная пища истребила в Падди мужество.

29

По дороге в Эдбери я сказал Падди, что есть друг, который наверняка ссудит меня деньгами, и лучше бы вернуться в Лондон, чем снова мучаться в торчке. Но уж достаточно давно не навещавший этот торчок Падди, как истинный бродяга, упустить дармовой ночлег не мог; договорились идти в Лондон завтра с утра. У Падди, кстати, в отличие от меня, имевшего только полпенни, было два шиллинга, достаточных чтобы нам обеспечить по койке и несколько чашек чая.

Торчок в Эдбери мало отличался от торчка в Ромтоне. Хуже всего то, что там отобрали весь наш табак, предупредив о немедленном выдворении злостных курильщиков. Согласно «Акту о бродяжничестве» за курение в торчке могли даже судить — вообще бродягам чуть не каждый пункт закона грозит судом; впрочем, начальство, избегая лишних хлопот, обычно просто выгоняет нарушителей. Работы нам тут никакой не предлагалось, а отсеки были довольно комфортабельны — со спальными местами («двухъярусными»: на дощатой полке и на полу, застеленном соломой) и большой стопкой одеял, хоть грязных, зато без

паразитов. Еда та же что в Ромтоне, только вместо какао чай; утром возможность (в обход правил, разумеется) взять еще кружку, уплатив бродяг-майору полпенни. Каждому перед уходом дали обеденный сухой паек из ломтя хлеба с сыром.

Когда мы возвратились в Лондон, до открытия ночлежек оставалось еще восемь часов и надо было убить время. Интересно, сколь многого вокруг себя не замечаешь. Тысячу раз я бывал в Лондоне, но так и не заметил сквернейшей местной штуки — здесь бесплатно даже присесть нельзя. В Париже, если карман пуст и не найти уличную скамейку, можешь сесть на тротуар. Бог знает, куда бы привела такая вольность на лондонских улицах, — вероятно, в тюрьму. К четырем дня мы уже слонялись часов пять, стертые ноги горели, животы подвело от голода, так как пайки мы съели сразу же за воротами торчка, и у меня ни грамма табака; в этом отношении собиравший окурки Падди несомненно выигрывал. Пытались зайти в церкви — все закрыто, в читальню — переполнено. Как последнюю надежду, Падди предложил вновь вчерашний работный дом, куда, конечно, не пускают раньше семи, но вдруг удастся прошмыгнуть. Мы дошагали до великолепного подъезда (сама постройка в

Ромтоне действительно великолепна) и с очень беззаботным видом, всячески изображая постоянных жильцов, направились внутрь. Мигом выскочил какой-то бдительный малый, очевидно из начальства, загородил нам путь:

— Спавшие в прошлу ночь тут?

— Нет.

— Пошли вон, на...!

Вынужденные повиноваться, мы еще пару часов протоптались на углу улицы. Малоприятно, зато я навеки отучился от выражения «бездельник с перекрестка», так что некую пользу это мне все же принесло.

В шесть мы двинулись к убежищу Армии спасения. На ночлег там до восьми не устроишься, да и свободных мест могло не оказаться, но официальный представитель у входа, называя нас «братья мои» и получив наше согласие оплатить две чашки чая, позволил войти. Главный зал убежища представлял собой выбеленный сарай, гнетуще чистый, голый и холодный. За столами на длинных деревянных лавках тесно жались человек двести довольно приличного, точнее приниженного, вида. Вдоль рядов прогуливались офицеры-миссионеры в униформе. По стенам

красовались портреты генерала Бута[100], а также строгие запреты выпивать, стряпать, плеваться, выражаться, ругаться, ссориться, играть на деньги. Как образчик, приведу одно правило дословно:

«Всякий, будучи обнаружен за азартной игрой или же игрой в карты, удаляется и впредь не допускается категорически. Информация по выявлению подобных лиц вознаграждается. Офицеры обязаны привлекать каждого гостя к содействию по очищению убежища от МЕРЗОСТНОГО ЗЛА АЗАРТНЫХ ИГРИЩ.»

Особенно изящно было сформулировано насчет «азартной игры или же игры в карты».

На мой взгляд, эти стерильные богадельни мрачнее самой захудалой из ночлежек. Такой унылой безнадежностью веет от массы здешних постояльцев — обнищавших приличных граждан, растерявших по ломбардам свои крахмальные воротнички, но все еще грезящих о достойной чиновной службе. Для них убежища Армии спасения, где хотя бы гигиенично, последний оплот добропорядочности. Возле меня сидели двое иностранцев, чуть не в лохмотьях и,

[100] notes: 100

Уильям Бут (1829—1912), основатель и глава устроенной по армейскому образцу христианско-благотворительной Армии спасения.

однако, безусловно джентльмены. Они играли в шахматы, лишь называя, даже не записывая ходы. Один из них был слеп. Я слышал их разговор о том, что хорошо бы купить доску, что давно уже они копят необходимые полкроны, только никак не получается. Немало вокруг было молодых безработных клерков, нервных и малокровных. В центре соседней молодежной компании возбужденно ораторствовал худенький, долговязый, белый как мел юноша — стучал кулаком по столу, хвастался с каким-то лихорадочным пылом, а когда оказался вдали от ушей офицеров, впал в неслыханное богохульство:

— Говорю вам, ребята, я намерен завтра же получить работу. Я не из вашей драной стаи, чтобы тут на коленях ползать, я сумею сам себя вытащить. Смотрите-ка что за плакатик нам повесили! «Господь поможет»! Ни шиша от него дождешься! Меня, ребята, на удочку с этим... Господом не поймаешь. Будьте уверены! **Завтра же получу себе работу!..**

Поражал буйный, истеричный стиль тирады, юноша выглядел или нездоровым, или слегка подвыпившим. Часом позже я приоткрыл дверь в «читальную» комнатушку около главного зала; ввиду отсутствия каких-либо книг и газет

захаживали туда редко, сейчас там в полном одиночества стоял тот самый молодой клерк, стоял он на коленях и **молился**. На секунду, до того как я снова закрыл дверь, мелькнуло лицо, маска жестокого страдания, и вдруг по выражению лица я догадался — паренек истерзан голодом.

Ночевка здесь стоила нам по восемь пенсов, оставшиеся пять мы с Падди истратили в «баре», где цены были невысокими и все-таки несколько выше, чем в обыкновенных ночлежках. Чай, судя по всему, заваривался чайной **трухой**, которая, я полагаю, даром доставалась от благодетелей, хотя брали три с половиной пенса за чашку. Жуткая дрянь. Ровно в десять дежурный офицер чеканным шагом начал обход, дуя в свисток. Тут же все поднялись.

— В чем дело? — недоуменно спросил я Падди.

— То вот и значит, что кончай да иди в койку. И чтобы шустро, значит, насчет етого.

Послушно как овечки, две сотни людей под командой офицеров проследовали на ночлег.

Большая, во весь чердак спальня казарменного типа вмещала кроватей шестьдесят-семьдесят. Постели чистые и относительно удобные, но очень узкие и очень близко друг от друга, спящий дышит буквально в нос соседу. Вместе с

жильцами ночевали два офицера, надзиравшие за соблюдением правил не курить и не болтать после отбоя. Нам с Падди спать пришлось урывками, поскольку рядом некий психопат, наверное контуженный, время от времени громко выкрикивал: «Пип!». Резкий, пронзительный звук наподобие автомобильного гудка, и никогда не угадаешь момент нового вопля, надежное средство не задремать. Этот Пип, как его тут называли, являлся постоянным жильцом, стало быть всякую ночь человек десять-двадцать из-за него лишались сна. Еще один пример самых разнообразных причин, по которым люди всегда недосыпают в ночлежках с их стадным бытом.

В семь, опять по свистку, подъем и обход офицеров, теребящих тех, кто замешкался. Потом мне доводилось ночевать во многих убежищах Армии спасения, помещения слегка отличались, но везде устав строгой полувоенной дисциплины. Убежища эти, конечно, кров дешевый, однако, на мой вкус, тот же работный дом. Кое-где даже принудительная явка на идущие пару раз в неделю церковные службы: гость обязан блюсти обряды или же совсем уйти. Задуманная как живое воплощение христианского милосердия, на деле Армия спасения и заурядную ночлежку не смогла

устроить без того, чтобы это благое милосердие не смердело.

В десять я отправился к Б. просить фунт. Он дал мне два и звал снова прийти когда понадобиться, так что забота о деньгах для нас с Падди отпала по крайней мере на неделю. День мы шатались по Трафальгарской площади, высматривали — совершенно безуспешно — одного друга Падди, вечером пошли в ночлежку на боковой улочке возле Стрэнда[101]. Выложив по одиннадцать пенсов, попали в зловещую вонючую дыру, к тому же с дурной славой места, популярного у «нежных мальчиков». Во тьме подвальной кухни обособленно, вне круга общей компании, сидели на скамейке три юнца сомнительной наружности, в пижонских светлых костюмах. Надо полагать, «нежные мальчики» (типаж парижских юных апашей, только щеки не украшены длинными баками). Перед огнем торговались двое жильцов: один одетый с головы до пят, другой же в абсолютно натуральном виде. Оба были продавцами газет. Одетый, продававший голому вещи с себя, уговаривал:

— Шмотки что надо, ты в лучшей оснастке

[101] notes: 101

Стрэнд — одна из главных лондонских улиц, соединяющая Сити и Вестминстер.

сроду не хаживал. Тутыш за пиджак, два бычка за штаны, один с рыжаком за штиблеты и шарф с кепкой бычок — все чохом на семь бобов[102].

— Держи карман шире! Пиджак — полтора, штаны — бычок и пару бычков остальное. Четыре с рыжаком за все.

— Лови удачу, кореш, — пять с рыжаком!

— Годится! Скидывай, мне уж бежать с вечерним выпуском.

Продавец не замедлил, и минуты через три роли переменились: голый целиком обмундирован, а приятель его в юбочке из листов вчерашней «Дейли Мейл».

Спальня была на пятнадцать коек; мрак, теснота и едкий душный запах распаренной мочи, такая скотская вонища, что поначалу дышишь короткими затяжками, боишься наполнить легкие. Только я лег, из темноты ко мне склонилась фигура, забормотавшая благовоспитанно и пьяно:

— Как, мальчик из славной доброй школы? — (Пьяный различил мой выговор, когда я что-то говорил Падди.) — Нечасто встретишь в этих

---

[102] notes: 102

Жаргонные и разговорные обозначения монет: «тутыш» — полкроны (2,5 шиллинга); «бычок», «боб» — шиллинг; «рыжак» — шестипенсовик (0,5 шиллинга).

стенах. А перед вами, позвольте представиться, старина итонец. Сквозь дни и годы бесподобный наш ветерок — вы понимаете.

Фальшивя, он задребезжал песенку, под которую воспитанники Итона гребут на лодках:

Свеж ветерок попутный,

И веет от лугов...

«Кончай,..., орать!» — раздалось с нескольких соседних коек.

— Вульгарные людишки, — произнес старина итонец, — весьма вульгарные. Забавное, однако, местечко для нас с вами? Знаете ли, что говорят мне мои друзья? «Ты, М..., — твердят они, — пропащий». Абсолютная истина — **пропащий**. Пал на самое дно жизни; не то что эти... вокруг, которым от рождения ниже не опуститься. Нам, павшим ребятам, надо бы слегка поддерживать друг друга. Печать юности навсегда — вы понимаете. Могу я предложить вам выпить?

Доставая бутылку шерри-бренди, он покачнулся и всей тяжестью рухнул поперек моих ног. Раздевавшийся Падди поднял его за шиворот:

— Вали обратно в койку,... очумевший!

Старина итонец, шатаясь, добрался до своей кровати и вполз под простыни, не сняв ни галстука, ни пиджака, ни даже ботинок. Многократно

среди ночи слышалось его бормочущее как бы со стороны «ты, М..., пропащий!». Утром он так и спал, в костюме, прижимая к себе бутылку. Был он на вид лет пятидесяти, с тонким, истасканным лицом и, что довольно любопытно, экипирован весьма щегольски. Торчавшие из нищенской постели элегантные дорогие туфли смотрелись подозрительно. И, между прочим, стоила его бутылка шерри-бренди здешнего двухнедельного проживания, то есть от бедности он не страдал. Должно быть, шлялся по ночлежкам в поисках «нежных мальчиков».

Кровати стояли почти впритык, и около полуночи я вдруг почувствовал, что сосед слева пробует нащупать у меня под подушкой кошелек; сопит, притворяясь спящим, и мягко, осторожной крысой, шарит. При свете дня он оказался горбуном с длинными обезьяньими руками. Когда я рассказал про попытку ограбления Падди, тот засмеялся:

— Во как! Привыкай, значит. По етим всем ночлежкам битком ворья. Хотя б даже где сейф: монету спрячешь, так ить одежу все равно с собой. Я раз видал, как деревяшку от инвалида сперли. Тоже вот случай был, пришел один мужик, толстущий, килов на сто, и денег у его было

четыре фунта с лишком. Он их засунул под матрас — ну, грит, порядок, с-под моей комплекции никакой... ниче не вытянет. А и его уделали. В утро проснувшийся он на полу: братва-то вчетвером его матрас за углы взяли да и наземь, будто перышко. Лишился он навек своих деньжат-то!

30

Следующим утром мы вновь отправились искать друга Падди, который звался Чумарем, а зарабатывал как «скривер» — рисовальщик на тротуарах. Адресов в мире Падди не существовало, туманно предполагалось найти Чумаря где-то в районе Лэмбета, и в конце концов мы на него наткнулись, идя по набережной. Он обосновался близ моста Ватерлоо; стоя на коленях, перерисовывал с эскиза из грошового блокнотика портрет Уинстона Черчилля. Сходство угадывалось неплохо. Сам же Чумарь оказался маленьким, смугловатым, нос крючком и низко надвинутая шапка курчавых волос. Правая нога у него была страшно искалечена, ступня ужасающим образом вывернута пяткой вперед. Выглядел он типичным евреем, хотя всегда это решительно отрицал, называя свой крючковатый нос «римским», гордясь его подобием носу некого императора (я полагаю, Веспасиана[103]).

---

[103] notes: 103

Веспасиан (9-79 н э.) — основатель императорской династии Флавиев. Восхождению его способствовали воинские победы (в частности покорение некоторых земель Британии), особой славы он достиг как триумфатор в войне с иудеями.

Речь Чумаря отличалась оригинальностью. Он говорил как кокни[104] и однако необычайно ясно, выразительно. Словно прочел много хороших книг, оставшись совершенно равнодушным к грамматике. Беседуя со мной и Падди на набережной, Чумарь изложил суть своего ремесла. Постараюсь более-менее точно воспроизвести его слова.

— Я-то, что говорится, скривер серьезный. Не чиркаю мелками, как школяры на досках, вроде разных тут. Цвет кладу по-настоящему, по-живописному; дерут только за колера драные больно дорого, особо за карминные[105]. К вечеру краски искрошишь на семь бобов, на два уж точно. Главным делом, я по карикатуре — политика, там, знаешь, крикет, все такое. Смотри сюда, — он показал мне свой блокнот, — верховные в полном комплекте, портретность прямо с газет срисована. Каждый день новую карикатуру выдаю. К примеру, как подъем финансов заявили, я дал Уинстона, вроде бы он слону под брюхо уперся, на

---

[104] notes: 104

Прозвище типичных лондонцев, массового населения, говорящего на своем особом, «неправильном» диалекте.

[105] notes: 105

Рисовальщики на тротуарах покупают малярные порошковые пигменты и, замесив их на сгущенном молоке, сами делают рисовальные цветные плитки *(прим. автора)*.

слоне буквами «Внешний долг», а внизу надпись «Под ним поднимет ли?». Усек? Кого захочешь в карикатуру ставь, только чтоб не социалистам в масть — полиция гоняет. Раз вот изобразил: удав, который обозначен «Капитал», жрет кролика, который «Труд». Скоро пришлепал коп, глянул и мне: «Стирай мазню, вперед поберегись!». Ну, чего делать, стер. У копов власть как побирушку тебя прихватывать, с ними молчи и не вяжись.

Я спросил, сколько можно заработать таким рисованием.

— Какой сезон смотря. Без дождя, под субботу и до воскресенья, так три жвача[106] возьму — народ-то, знаешь, в пятницу с получкой. А льет если, так вовсе не ходи: краску в момент до камня смоет. На круг прикинуть — выйдет так примерно в неделю фунт, зимой-то много не наработаешь. Когда конечно День гребца или там Кубок финальный, насшибаешь полных четыре фунта. Но это, знаешь, еще **колупнуть** публику требуется; будешь сидеть просто, глазами хлопать, боба не соберешь. Обычный крап[107] — кидают по

---

[106] notes: 106

«Жвач» (в оригинале *quid* — кусок прессованного жевательного табака) на жаргоне — фунт стерлингов.

[107] notes: 107

«Крап» на жаргоне — подаяние, «крапать» — давать милостыню.

полпенни, а и того не кинут без зацепки. Зацепишь их на разговор, тогда им стыдно хоть какую мелочь тебе не дать. А приманить их самый правильный крючок это картину все подрисовывать: им интерес, чего ты красишь, станут и пялятся. Прокол, что только ты к ним с шапкой — команда наутек. Для верности бы козырной[108] нужен. Ты вот картину делаешь, зевак погуще собираешь, а он случайно вроде со спины их подойдет и стоит себе, тихарится — и вдруг кепчонку с головы дерг: «Судари, пожалте!», им уж деваться некуда, меж двух огней. На крап от шика-блеска не надейся. Главный крап от парней, которые попроще, да иностранцев. Мне япошки полшиллинга раз кинули, черные крапают хорошо, другие тоже. Все не такие жмоты драные, как наш английский человек. Еще вот что: монеты сразу прячь, ну пенс какой, может, оставь в шапке. Народ как видит, что уже на пару бобов накидано, так мимо — хватит, мол, с тебя.

Остальных скриверов Чумарь глубочайшим образом презирал, называя «селедками вареными». Между тем, рисовальщики трудились вдоль набережной чуть ли не на каждом шагу

[108] notes: 108

«Козырной» на жаргоне — помощник, напарник уличных артистов и торговцев, работающий среди публики.

(корпоративно установленный минимум между «точками» — двадцать метров). С негодованием Чумарь указал на работавшего неподалеку седобородого скривера:

— Видали бестолочь? Лет десять каждый день все одну картину тут чертит: «Верный друг» это у него, как пес ребенка из-под воды спасает. Само-то, тупой старый ублюдок, карябает не лучше ребятни. Задолбил только, что в картине растушевку пальцем наводишь, вроде как обучили мальца птичку с газеты складывать. Навалом здесь таких. Бегают, норовят идеи мои стибрить, а мне чего? Им, полудуркам, своего ни... в мозги не стукнет, так что я всяко на обгон уйду. Ты вот поди-ка ухвати самую злободневность. Слышу я однажды, что на мосту Челси мальчишка головой в решетке застрял, так у меня картина готова раньше, чем малому башку вытянули. У меня в два счета.

Чумарь казался человеком интересным, хотелось ближе с ним познакомиться. Поскольку было решено, что он возьмет нас в ночлежку на южном берегу, я вечером опять пришел к его стоянке. Смыв свой рисунок с тротуара, Чумарь подсчитал выручку — шестнадцать шиллингов, а чистого дохода, сказал он, шиллингов двена-

дцать. Мы двинулись в Лэмбет. Чумарь ковылял медленно, переваливаясь как краб, разворачиваясь боком при каждом подтягивании больной ноги. Для опоры в обеих руках палки, ящик с красками закинут за плечо. На мосту он остановился передохнуть в одной из ниш. Молча стоял, и я вдруг понял, что он смотрит на звезды. Тронув меня за рукав, Чумарь махнул посохом вверх:

— Гляди, Альдебаран-то? Цвет горит! Прям, апельсином...м полыхает!

Восхищался Чумарь как заправский критик на вернисаже. Он изумил меня. Пришлось сознаться, что я ведать не ведаю, где этот Альдебаран, да и каких-либо различий в цвете звезд до сих пор не усматривал. Несколько огорченный моим невежеством, Чумарь дал вводный урок астрономии с показом основных созвездий. Я, не переставая удивляться, сказал ему:

— У вас, однако, большие знания о звездах.

— Не особо. Так, кое-чего знаю. Два письма имею от Королевской обсерватории — признательности за мои заметки про метеоры. Теперь вот снова по ночам хожу смотреть их. Звезды даром представлены; глаза раскрой и без билета гляди спектакль.

— Прекрасная мысль! Мне в голову не прихо-

дило.

— Да, выискивай свой интерес. Если бродяга, так не значит, чтобы думать про один чай-с-бутером.

— Но ведь непросто увлечься чем-то — чем-то, например, наподобие звезд, — живя довольно трудной жизнью.

— Намекаешь — булыжник разрисовывая? Кому как. Не обязан ты в щель драную конопатиться, когда мозги еще не напрочь пересохли.

— По-видимому, именно это и настигает большинство.

— Конечно. Вон, на Падди погляди — готов уже, лишь бы задаром чаю где словить, огрызок выклянчить. Одна дорожка почти всем им. Кисляи драные! Но **тебе** что? Когда парень образование получил, потом без разницы, пускай даже весь век бродягой топать.

— Ну, у меня прямо противоположный вывод, — возразил я. — По моим наблюдениям, человек, лишившись денег, сразу теряет и все силы и способности.

— Нет, это уж кто как. Если встал на самостоятельность, так можешь жить и дальше, каким жил, есть ли деньги или нету. Всегда можешь спокойно продержаться при своих книгах, своем

разуме. Только скажи себе: «А **здесь-то** я свободен», — он постучал по лбу, — и все, полный порядок.

Чумарь продолжал рассуждения в том же духе, я внимательно его слушал. Собеседник оказался скривером очень необычным, кроме того мне впервые встретился человек, утверждавший, что бедность не имеет значения. Я многое узнал о нем из наших бесед в последующие дни (сутками шли дожди, работать Чумарь не мог). Биография у него была довольно любопытная.

Сын разорившегося букиниста, он смолоду освоил ремесло маляра, затем, в войну, служил в Индии и во Франции. После войны, найдя малярную работу в Париже, остался там. Франция ему нравилась больше, чем Англия (включая и презираемый им английский язык). В Париже он жил несколько лет, преуспел, накопил денег, посватался к юной француженке. Но в одночасье невеста погибла, попала под омнибус. Чумарь беспробудно запил. Лишь неделю спустя, еще нетвердо ступая, он снова вышел на работу и в то же утро упал с лесов, с четвертого этажа, вдребезги размозжив правую ногу. Страховку, придравшись к чему-то, ему выплатили только шестьдесят фунтов. Он вернулся в Англию, все

накопления, пока искал работу, прожил, пытался торговать книгами в рыночных рядах Мидлсекс-стрит, продавать с лотка всякие безделушки и наконец утвердился на социальном дне, став скривером. Перебивался кое-как трудами своих рук, зимой полуголодный, зачастую ночевавший в торчке или прямо на набережной. Когда мы познакомились, его имущество состояло из старого тряпья на нем, малярно-рисовальных средств и пачки книг. Одетый подобно остальной уличной голи, он однако носил воротничок и галстук, чем заметно гордился. Воротничок, годичного употребления или даже постарше, «разъезжался», и Чумарь его беспрестанно реставрировал лоскутками от края рубашки, укоротившейся уже настолько, что она едва заправлялась в брюки. С поврежденной ногой дела обстояли все хуже, грозила ампутация, а на коленях, днями напролет трущихся о камень, образовались громадные, твердые как подметка, мозоли. Перспектива была ясна — впереди ничего, кроме нищеты и смерти в работном доме.

При всем том Чумарь не испытывал ни страха, ни смущения, ни горькой жалости к себе. Прямо глядя на ситуацию, он создал собственный философский канон. Поскольку участь нищего, решил

он, не его вина, каяться или волноваться здесь не о чем. Что касается поведения, то в отношении к обществу — враждебность и соответственно полнейшая готовность преступить закон, если удобный случай. Принципиальный отказ от бережливости: летом он ничего не копил, спуская все излишки сборов на выпивку, поскольку обходился без женских ласк; с наступлением зимы, оказавшись на мели, требовал положенной социальной заботы. Выжимал каждый пенс из официальных учреждений и даже частных, если знал, что там не ждут благодарственных поклонов. Чурался, однако, религиозной филантропии, ибо ему, как он говорил, поперек горла гнусавить псалмы за булочку. Имелись и другие пункты его кодекса чести: например, особая гордость тем, что ни разу, в самый голодный час, он не поднял окурка с мостовой. Самого себя он ценил классом выше обычной нищей братии, этих, по его словам, жалких червей, неспособных даже блюсти достойную неблагодарность.

Чумарь неплохо говорил по-французски, прочел некоторые романы Золя, все пьесы Шекспира, «Путешествия Гулливера» и множество эссе. Умел ярко пересказать памятные впечатления. Так, разговаривая о похоронах, спросил меня:

— Видал когда-нибудь, как трупы жгут? Я-то видал, в Индии. Положили кощея старого на костер, через секунду я прям чуть из шкуры не выскочил, как он пошел копытами брыкать. Мускул в нем просто от огня спекался — все равно, отворотило меня. Ну, малость еще дед покорежился вроде угря на сковородке, а после брюхо затрещало и взорвалось — жахнуло так, что за полсотни ярдов оглохнешь. Я с того балагана крематорий не признаю.

Или вот из его рассказа про свой несчастный случай:

— Доктор мне говорит: «Пришибло тебя, сударь, на одну ногу, и уж удача твоя драная, что не на обе. Вот пришибло бы на обе — в гармошку драную смяло бы, кости б ножные враз из ушей повыскочили».

Ясно, что выражения принадлежали не доктору, а самому Чумарю, несомненно обладавшему даром слова. Сохранившему ясность и чуткость мысли, никогда не поддающейся натиску бедности. Оборванному, зябнущему, голодающему, но способному, пока можно читать, думать и наблюдать свои метеоры, оставаться свободным «при своем разуме».

Будучи ядовитым атеистом (из тех, кого ведет

не столько неверие в Господа, сколько личная неприязнь к Нему), Чумарь находил некое удовольствие в размышлениях о безнадежности всех человеческих порывов улучшить жизнь. Иногда, ночуя на набережной, он, по его рассказам, утешался, глядя на Марс или Юпитер, представляя, что и там наверно не спят, дрожат такие же бездомные. У него в связи с этим имелась оригинальная теория. Жизнь на земле, объяснял он, тяжела потому, что скверный климат противоречит человеческим потребностям. На Марсе, оледеневшем и безводном, существовать стократ труднее, и тамошняя жизнь согласовалась с жестокостью условий. Так что землянина за кражу шести пенсов просто в тюрьму сажают, а марсианина, скорей всего, варят живьем. Чем такое предположение вдохновляло Чумаря, я не понял. Человек это был совершенно исключительный.

31

Ночлежка, куда нас привел Чумарь, стоила девять пенсов. Рассчитанное на полтысячи квартирантов, огромное, переполненное обиталище, место очень известное в среде бродяг, нищих и мелкого жулья. Смесь всех племен, включая чернокожих, и речь на всех языках мира. Были там, в частности, индусы, причем, когда я говорил с одним из них на плохом урду, он обращался ко мне «тум»[109] (фамильярность, от которой белые люди в Индии содрогнулись бы). Здесь жили ниже уровня расовых предрассудков. Мелькали всякие любопытные типы. «Дедуля» — старый, лет семидесяти бродяга, который зарабатывал на жизнь, во всяком случае на основные потребности, собирая окурки и торгуя вытряхнутым табаком по три пенса за унцию. «Доктор» — действительно врач, изгнанный из корпорации ввиду неких

[109] notes: 109

Слово, непереводимое на английский. но хорошо понятное на французском. В наречиях Индостана второе лицо обозначено двумя местоимениями. Одно более уважительное — «эп» соответствует французскому «вы». Другое — «тум» соответствует французскому «ты», употребляется между близкими друзьями или в обращении высшей персоны к низшей. Англичанин никогда не позволит аборигену обращение «тум» *(прим. автора)*.

проступков, ныне продававший газеты, а при случае дававший весьма недорогие медицинские консультации. Щупленький матрос-индиец из Читтагонга, голодный и босой, сбежавший с британского корабля и уже неделю блуждавший по Лондону в полной растерянности, ничего не понимая, — до моих разъяснений думал, что он в Ливерпуле. Профессиональный сочинитель слезных писем, приятель Чумаря, патетически умолявший оказать финансовую помощь для погребения супруги, а, добившись результата, обжиравшийся в одиночку хлебом с маргарином, — мерзкая тварь, настоящая гиена. Говоря с ним, я заметил, что, как и большинство прохвостов, он сам уже почти верит в свое вранье. Эта ночлежка была настоящей Эльзасией[110] для подобных субъектов.

За время нашего общения Чумарь несколько просветил меня относительно лондонской технологии нищенства. Предмет более сложный, чем кажется. Есть много специализаций, к тому же между просто попрошайками и теми, кто

[110] notes: 110

Эльзасия — старинное название участка Лондона, принадлежавшего монастырю Белых монахов; в XVII веке всякого рода преступники укрывались там, пользуясь экстерриториальным «правом святости», отмененным в 1697 г. *(прим. автора).*

старается что-то дать за милостыню, резкая социальная грань. Сборы за те или иные «трюки», тоже очень разнообразны. Истории воскресных газет о нищих, умерших с парой тысяч под лохмотьями, это, конечно, сказки, но у высококлассных нищих случаются такие удачи, когда им удается сразу обеспечить себя на несколько недель. В разряде самых процветающих уличные акробаты и фотографы. На хорошей точке — например, возле театральной очереди — акробат нередко собирает по пять фунтов в неделю. Примерно столько же фотографы, хотя они очень зависят от погоды. Однако эти мастера используют ловкий прием для повышения доходов. Наметив в некотором отдалении жертву, один из них бежит к аппарату и делает вид, что снимает. Затем, когда жертва подходит ближе, ей радостно кричат:

— Порядок, сэр! Отличное будет фото! С вас боб.

— Но я же не просил меня снимать, — протестует жертва.

— Как? Не просили? А вроде бы, нам показалось, рукой-то вы махнули. Вот те на, зря пластину засветили. Эх, ведь на шесть пенсов разорение, вот ведь как...

Обычно тут жертва, проникшись жалостью,

все-таки соглашается взять снимок. Тогда фотографы осматривают пластину, говорят, что имеется дефект, но они сейчас щелкнут заново, совершенно бесплатно. Разумеется, первого снимка не было, так что, если даже жертва отказывается, никакого убытка.

Шарманщики, подобно акробатам, считаются не столько нищими, сколько артистами. Друживший с Чумарем шарманщик по кличке Коротыш подробно рассказывал мне о своем деле. Они с помощником «рыхлят» торговые кафе и кабаки вокруг Уайтчепля и Кемэшел-роуд. Ошибочно думать, что шарманщики зарабатывают на улицах, девять десятых они собирают в кафе и пабах — самых дешевых пабах, так как в дорогие их не пускают. Методом Коротыша было остановиться у входа в паб и завести какую-то мелодию, по окончании которой его помощник, стуча своей вызывающей сострадание деревянной ногой, шел внутрь и обходил публику со шляпой. Получение «крапа» непременно отмечалось еще одним прокручиванием музыки, так сказать на бис; это для Коротыша являлось вопросом чести — доказательством того, что выступал артист, а не торопящийся убежать попрошайка. Собирали Коротыш с напарником два-три фунта в неделю,

но, учитывая пятнадцать шиллингов за прокат шарманки, в среднем каждому доставалось около фунта. Работали они с восьми утра до десяти вечера, по субботам и позже.

Скриверов признают артистами далеко не всегда. Чумарь меня познакомил с таким, который был «натуральным» художником, то есть настоящим, учившимся в Париже, выставлявшем свои работы в Салоне. Специализировался он на копиях старых мастеров, и — чертя самодельными мелками по уличным каменным плитам — делал это великолепно. Вот его рассказ о том, как он стал скривером.

«У меня жена и дети сидели без хлеба. И как-то возвращаюсь я домой, несу под мышкой целую пачку не проданных торговцами рисунков, ломаю голову, где бы мне раздобыть пару бобов. На Стрэнде вижу — парень ползает по тротуару, рисует мелом, а народ ему монетки кладет. Минуту спустя парень поднялся и в паб. «Черт возьми!», думаю, если он таким манером деньги делает, и я смогу. И прямо тут же встаю на колени, начинаю его мелками рисовать. Сам не знаю, как это вдруг вышло, мозги наверно помутились от голода. Между прочим, я раньше пастелью не работал, технику стал осваивать прямо на тротуаре. Ну,

начали люди собираться, похваливают, уже девять пенсов рядом лежит. В это время выходит из паба тот парень, кричит мне: «Ты какого... на моей точке приладился?». Я объясняю, что голодный и должен что-то заработать. «А-а, — говорит он, — ну тогда пойдем-ка пивка по кружке». И вот так, выпил я пивка и с того вечера сделался скривером. Набираю в неделю фунт. Шестерых детей на это не прокормишь; спасибо, что жена шьет, может немного подработать.

Хуже всего в уличном деле — холод, а еще то, что должен все терпеть, когда лезут к тебе. Я поначалу лучше не придумал как обнаженную фигуру копировать. Первый раз композицию сделал около церкви Святого Мартина-в-полях; подскакивает парень в черном, староста церковный или какой-то в этом роде, от ярости трясется, кричит мне: «Кто позволил намарать гнусную непристойность у стен святилища Господня?». Пришлось все смыть. А нарисована была «Венера» Боттичелли. Я эту же Венеру сделал потом на набережной; полисмен проходил, увидел и, не говоря ни слова, стал сапожищами своими шаркать, пока не стер все».

Чумарь привел аналогичный случай из собственной практики. Я и сам в Гайд-парке был

свидетелем достаточно подлого поведения полиции, усмотревшей «оскорбление нравственности». Когда Чумарь нарисовал на тротуаре картинку-загадку с изображением Гайд-парка, спрятанных в гуще деревьев фигур блюстителей порядка и надписью «Найди-ка полисменов», я предложил ему изменить текст на «Найди-ка оскорбление нравственности», но он и слушать не захотел — сказал, что полиция загоняет и своей точки он лишится навсегда.

Ступенькой ниже скриверов те, кто поют на улицах псалмы или же предлагают купить спички, сапожные шнурки, пакетики со щепоткой лаванды под благородным наименованием «сухих духов». Все это откровенные попрошайки, получающие за свой нищенский вид, ни один из них не набирает более полукроны в день. Имитация торговли исключительно ради соответствия абсурдным статьям английского законодательства. По закону о нищенстве, если вы напрямик попросите у незнакомца пару пенсов, тот может подозвать констебля и сдать вас на неделю под арест, но если вы сотрясаете воздух вытьем «Допусти, Господи, в лоно Твое», либо ползаете, развозя каракули по тротуару, либо повесили на шею поднос со спичками — короче, тем или

иным способом себя мучаете, — вы уже не правонарушитель, а вполне легитимный торговец. Продажа спичек, пение псалмов — просто-напросто узаконенное преступление. Преступление, надо сказать, не слишком прибыльное; никому из лондонских уличных псалмопевцев и продавцов спичек не заработать в год даже пятидесяти фунтов — небогато за ежедневные двенадцать часов у края тротуара, с задевающими ваш зад автомобилями.

Хотелось бы добавить пару слов насчет социального статуса нищих, так как, пообщавшись с ними и обнаружив в них обычнейших людей, нельзя не задуматься о том странном отношении, которое к ним проявляет общество. Бытует ощущение некого качественного различия между нищим и приличным, «работающим» человеком. Нищие — особое племя изгоев подобно ворам и проституткам. Работающий «трудится», а нищий «не трудится», являясь натуральным паразитом. Он, что всем очевидно, «не зарабатывает» свой хлеб, как его «зарабатывает» каменщик или литературный критик; это просто досадный нарост на теле общества, терпимый в силу гуманизма нашей эпохи, но по сути презренный.

Тем не менее, взглянув поближе, обнаружишь,

что **качественной** разницы в добывании средств у нищих и огромного числа солидных граждан нет. Говорят — нищие не работают. Но что же тогда **работа**? Землекоп работает, махая лопатой; счетовод работает, итожа цифры; нищий работает, стоя во всякую погоду на улице, наживая тромбофлебит, хронический бронхит и т п. Ремесло среди прочих ремесел. Бесполезное? Совершенно. Но и множество очень уважаемых профессий совершенно бесполезны. Как представитель социальной группы нищий часто даже выигрывает в сравнении с иными: он честнее продавцов патентованных снадобий, благороднее владельцев воскресных газет, учтивее торговцев-зазывал — словом, это паразит хотя бы безвредный. От общества он редко берет больше, чем требуется для элементарного выживания, и — что должно его оправдывать согласно принятым этическим воззрениям — сполна, с избытком платит своими муками. Не думаю, что в нищих есть нечто, позволяющее выделять их в отдельный класс людей или дающее большинству сограждан право их презирать.

Тогда вопрос — **почему** нищих презирают, презирают дружно и повсеместно? Полагаю, по той простой причине, что зарабатывают они меньше

всех. На деле никого ведь не заботит, полезен или бесполезен труд, высокопродуктивен или паразитичен; требование одно — работа должна быть выгодной. Весь современный мир твердит про деловую активность, эффективность, социальную значимость, но содержит ли это что-либо кроме «добывай деньги, добывай законно, добывай как можно больше»? Деньги стали главнейшей мерой достоинства. По этому тесту у нищих ноль очков, вот их и презирают. Сумел бы нищий зарабатывать десяток фунтов в неделю, профессия его сразу вошла бы в ранг уважаемых. Реально глядя, нищий такой же бизнесмен, как остальные деловые люди, с тем же стремлением урвать где можно. Честью своей он поступается не больше основной части современников; он всего лишь ошибся — выбрал промысел, на котором невозможно разбогатеть.

32

Хотелось бы попутно сделать несколько самых кратких замечаний относительно сленга и сквернословия. Вот ряд жаргонных слов (помимо самых известных), которые сегодня употребляются в Лондоне:

трюкач — живущий подаянием уличный артист любого жанра; скулёжник — откровенный проситель милостыни; козырной — помогающий собирать деньги напарник; пономарь — уличный певец; топотун — уличный танцор; мордолов — уличный фотограф; лучник — сторож оставленных автомобилей; гик — мнимый покупатель, сообщник продающего всякую ерунду разносчика («джека-дешевки»); шило — сыщик, следователь; толстопятый, он же утюг — полицейский; надувала — цыган; торба — бродяга; джуди[111] — женщина; крап — денежное подаяние; фанка — лаванда либо иное ароматическое средство в пакетике; бухальня — пивная, кабак; брехня — лицензия уличного лоточника; кип — всякое место для сна либо ночлежка; коптильня

---

[111] notes: 111

Джуди — персонаж английского кукольного театра, подруга Панча.

— Лондон; торчок, он же волдырь — временный приют для бродяг; тутыш — полкроны (2,5 шиллинга); динер, он же бычок — шиллинг; черешок — шестипенсовик (0,5 шиллинга); пустяшки — мелкие монеты, медяки; барабан — походный жестяной котелок; кочерыжки — суп; трещотка — вошь; голяк — табак из окурков; колышек либо прут — воровской лом, отмычка; поскребыш — сейф; шипелка — воровская ацетиленовая паяльная лампа; горланить — глотать, пить; сбить — украсть; шкиперить — спать под открытым небом.

Почти половина этих слов найдется в больших словарях. Здесь интересно угадать происхождение, хотя кое-что — скажем, «тутыш» или «фанка» — необъяснимо. «Динер», вероятно, от римско-библейского «динария». «Лучник» и соответственный глагол «лучить» то ли от внимательно светящего «луча», то ли от старинного «лучник» — стрелок из лука, хотя это очевидный пример появления нового слова, так как лучник-сторож машин вряд ли старше самого автомобиля. Любопытное словечко — «гик»; очевидно в некой связи с лошадью, понукаемой гиком, гиканьем. Происхождение «скривера» загадочно: по логике должно бы восходить к латинскому scribo (цара-

пать грифелем, писать), однако ничего подобного в английском языке за последние полтораста лет не появилось, нельзя предположить и прямого заимствования от французов, у которых вообще нет ремесла скриверов. «Джуди» и «горланить» характерно для чисто ист-эндского жаргона, к западу от Тауэр-бридж этих слов не услышишь. «Коптильней» называют Лондон только бродяги. «Кип» — пришло из Дании, вытеснив прежнее, ныне совершенно устаревшее «дрых».

Речь и жаргон лондонцев очень быстро обновляются. Описанный Диккенсом и Сартисом[112] старый лондонский диалект — с типичной, например, заменой «уэ» на «вэ», а «вэ» на «уэ» — исчез бесследно. Акцент кокни, сложившийся, насколько известно, в сороковые годы прошлого века (впервые литературно зафиксирован повестью американца Германа Мелвилла «Белый бушлат»), тоже уже переменился; сегодня мало кто скажет «райс» вместо «рейс» или «ноус» вместо «нос», что еще прочно держалось двадцать лет назад. Наряду с произношением меняется сам жаргон. В начале века Лондон буквально помешался на «рифмующем жаргоне» — все пе-

[112] notes: 112

Роберт Смит Сартис (1803—1864) — английский романист, известный яркими сатирическими образами быта и нравов.

реименовывалось стихотворными созвучиями: «нога» звучала как «скрипучая дуга», «красотка» как «под ветром лодка» и так далее. Прием был столь распространен, что попал даже на страницы романов, теперь же увлечение почти забыто[113]. Возможно, и все приведенные мною жаргонные слова лет через двадцать исчезнут.

Ругательства также меняются — во всяком случае, следуют моде. Например, пару десятилетий назад разговору лондонского рабочего люда постоянно сопутствовал эпитет «драный». Но, хотя литераторы по-прежнему характеризуют им сугубо пролетарскую лексику, пролетарии его давно оставили. «Драный» сегодня у лондонцев (в отличие от уроженцев Шотландии или Ирландии) употребляется лишь людьми более-менее культурными. Слово явно продвинулось по социальной лестнице; вместо него ходячим, всюду прицепляемым определением стал «е...й». Несомненно, и «е...й» со временем поднимется, проникнет в светские салоны, а в массах заменится чем-то другим.

---

[113] notes: 113

Остатки сохранились некоторыми выражениями типа «не бери в полпенса», то есть «не бери в голову». Это «полпенса» возникло по цепочке: «голова» с рифмой «дешевая халва» — халва на полпенни — полпенса *(прим. автора)*.

Вообще механика сквернословия, особенно английского, полна загадок. По глубинной природе брань иррациональна подобно магии, — собственно это же и есть род заклинаний. Вместе с тем очевидный парадокс: бранясь, желая потрясти и уязвить, мы произносим вслух нечто запретное (обычно из области сексуальных функций), однако, прочно утвердившись как бранное, выражение почему-то теряет смысл, благодаря которому сделалось бранным. Слово стало ругательным из-за определенного значения, но именно это значение утратило из-за того, что стало руганью. Тот же эпитет «е...й»: в прямом смысле он практически не используется и, хотя поминутно слетает с языка лондонцев, просто бренчит добавочным, абсолютно пустым звуком. Подобно быстро потерявшему подлинное содержание «пидору». Подобно аналогичным случаям французской бранной лексики, если, допустим, вспомнить весьма бессмысленно употребляемый глагол *foutre* или мелькающее в речах парижан словечко *bougre*[114], об исходном значении кото-

[114] notes: 114

Foutre — подразумевающее половой акт «делать», в ряде устойчивых оборотов употребляется как «наплевать», «швырять» и пр.; *le bougre* — в разговорном языке «парень, пройдоха», в первоначальном смысле «извращенец» *(фр.)*.

рого большинство говорящих понятия не имеет. Видимо, это правило — признанные бранью, слова обретают некий магический характер и в своем новом, особом статусе уже не годятся для выражения обыденного смысла.

Слова-оскорбления, похоже, повинуются тому же парадоксу, что бранные. Желание обидеть должно бы, кажется, найти определение чего-то гнусного, однако в жизни степень оскорбительности слова маловато связана с реальным содержанием. Например, жесточайшим оскорблением у лондонцев служит «бастард», хотя значение «внебрачное дитя» вообще едва ли оскорбительно. Худшее оскорбление для женщин и в Лондоне и в Париже — «корова», что скорее могло бы звучать комплиментом, ведь корова одно из самых симпатичных животных. Очевидно, оскорбительным слово становится лишь потому, что его таким назначают и воспринимают, независимо от лексической основы. Значение слов, в особенности бранных, это всегда лишь выбор общественного мнения. Очень любопытно наблюдать, как меняется тональность выражения при его переходе через границу. В Англии вы спо-

койно и без возражений печатаете *Je m'en fous*[115] — во Франции только *je m'en f....* Или еще пример, наш «барншут», искаженное индийское «бахиншу», — в Индии нецензурное грубое оскорбление, а в Англии мягкое подтрунивание. Мне даже довелось увидеть это слово в школьном учебнике, где комментатор пьесы Аристофана предложил его для толкования тарабарщины, произносимой персидским послом. Думаю, комментатор скорее всего знал о подлинном значении «бахиншу»[116], но так как слово было иностранным и потерявшим магически-бранное качество, он счел его вполне печатным.

Заметным свойством грубых лондонских слов является также то, что их не употребляют в женском обществе. У парижан иначе. Парижский работяга, может быть, и предпочитает не выражаться при дамах, но соблюдает установку не слишком жестко, да и сами парижанки изъясняются весьма вольно. В этом пункте лондонцы

---

[115] notes: 115

Плевал я! (*фр.*, см. предыдущее прим.)

[116] notes: 116

На хиндустани (во французской, не совсем точной транскрипции) *bahin* — сестра, а *chut* — половой член. Назвать кого-то «бахиншу» значит провокационно сообщить, что вы в самых интимных отношениях с его сестрой. Произносимое как «барншут», слово было принесено британскими солдатами в Англию, где совершенно потеряло исходный смысл *(прим. автора).*

более вежливы или, если угодно, педантичны.

Таковы несколько моих довольно случайных заметок. Жаль, что специалисты не ведут ежегодных учетных книг лондонского сленга и сквернословия, с фиксацией всех изменений. Это могло бы пролить свет на формирование, развитие и отмирание живой лексики.

33

Двух фунтов, взятых в долг у Б., хватило дней на десять. На столь продолжительный срок исключительно благодаря Падди, наученному в своих скитаниях экономить и полагавшему даже одну нормальную трапезу в день безумным мотовством. Едой в его понимании был просто хлеб с маргарином — вечный «чай-с-двойным-бутером», способный обмануть желудок на час-другой. Падди приучал меня жить (есть, спать, курить и пр.) из расчета полкроны в сутки. Кроме того он умел ближе к ночи подработать несколько шиллингов «лучником»; заработок незаконный, рискованный, зато реальный и немного пополнявший наш бюджет.

Однажды мы пытались устроиться «сэндвичами» (топтаться среди прохожих, таская на себе складной рекламный щит). С пяти утра начали обходить конторы, но в переулках у служебных входов уже стояли очереди по тридцать-сорок соискателей и через пару часов выяснилось, что для нас работы нет. Потеряли мы немного, работа сэндвичей незавидна: шиллинга три за десять часов труда — сурового труда, особенно в непого-

ду, когда и отойти, укрыться где-то нельзя из-за частых проверок, на месте ли ходячая реклама. Дополнительная неприятность в том, что тут нанимают на день, изредка на три дня и никогда на неделю, то есть каждое утро для начала нужно часами маяться в очередях. Количество безработных, согласных на любое место, вынуждает покорно принимать условия нанимателей. Мечта всех сэндвичей — по тому же тарифу раздавать прохожим листовки. И если вам на улице протянут очередной листок, возьмите, сделаете человеку доброе дело, поможете ему скорее справиться с нормой и освободиться.

Тем временем продолжалось наше ночлежное житье — существование под гнетом беспробудной убийственной скуки. Днями напролет все занятия это сидеть в подвальной кухне, изучая вчерашнюю газету или же, когда достанется, затрепанный номер «Юнион Джека»[117]. Бесконечно шли дожди и от входивших с улицы валил пар, вонь на кухне стояла жуткая. Единственным волнующим событием являлся периодический чай-с-двойным-бутером. Не знаю, сколько людей в Лондоне прозябают подобным образом,

[117] notes: 117

Повторяющий название флага Британской империи массовый официозный журнал.

должно быть тысячи, не меньше. Однако Падди блаженствовал, переживая лучшую пору за два последних кочевых года, ибо походные привалы и случаи разжиться парочкой шиллингов ему нравились, а вот длинные марши по дорогам несколько меньше. Вечное его нытье — не ныл Падди только с набитым ртом, — очень внятно доказывало, какой пыткой была для него безработица. Ошибка думать, что уволенный горюет лишь о потере заработка; нет, простому некнижному человеку, у которого в костях врожденная привычка трудиться, работа нужна даже больше, чем деньги. Люди с образованием еще способны переносить вынужденное безделье, одно из худших зол нищеты, но подобные Падди, не умеющие занять себя, без дела мучаются, как собаки на привязи. И нечего так уж лить слезы над теми, кто «с высоты брошен на дно жизни». Те, кто на этом дне от самого рождения, у кого мозг не заполнен и безоружен перед нищетой, — они действительно достойны жалости.

Мглу наползавшей унылой одури рассеивали лишь беседы с Чумарем. Однажды приключилось нашествие духовных просветителей трущобного грешного мира. Еще подходя к дому, мы с Падди услышали несущуюся из подвала музыку. Внизу,

на кухне творили душеспасительный обряд три строго и солидно одетые персоны: почтенный пожилой джентльмен в сюртуке, леди, игравшая на портативной фисгармонии, и лишенный подбородка безусый кукленок с распятием. Похоже было, что команда заявилась и развернула свое действо без какого-либо приглашения.

Весьма забавно выглядела реакция квартирантов. Ни малейшей грубости относительно вторгнувшихся благодетелей — их просто не замечали. В дружном согласии вся публика (примерно человек сто) вела себя так, словно пришельцев не видела, не слышала; терпела увещевания и псалмы, внимая им не больше, чем писку мошек. Ни слова из проповеди джентльмена в сюртуке не пробивалось сквозь обычный шум песен, ругани и гремящих кастрюль. Народ ел, пил, резался в карты чуть не вплотную с фисгармонией, мирно допуская это соседство. Никем не оскорбленные, всего лишь незамеченные, просветители вскоре закончили и удалились. Без сомнения, их утешало сознание собственной отваги, побуждавшей «самоотверженно идти в логово низости и порока» и т п.

По словам Чумаря, эти господа наведывались регулярно несколько раз в месяц, и не пустить

их, столь авторитетных для полиции, «полномочный» не мог. Любопытна человеческая уверенность в праве поучать, наставлять вас на путь истинный, едва доход ваш падает ниже определенной суммы.

К десятому дню два фунта от Б. усохли до шиллинга девяти пенсов. Оставив восемнадцать пенсов на ночлег, три пенса мы с Падди истратили на один обязательный и честно разделенный чай-с-двойным-бутером, не столько утоливший, сколько увеличивший аппетит. В полдень настиг чертовский голод, тогда Падди вспомнил про церковь возле станции Кингс-кросс, где раз в неделю для бродяг бесплатный чай. Поскольку день был подходящий, мы решили туда сходить. Чумарь же, несмотря на дождь и совершенно пустой карман, от этого похода отказался, сказав, что церкви не его стиль.

У ворот храма теснилась добрая сотня жаждущих, всякая шантрапа немытая, которая тучей слетается к объявленным даровым чаепитиям, как коршуны к издохшему быку. Вскоре ворота отворились, и пастырь с какой-то подручной пастушкой повели нас на хоры. Принадлежавшая евангелистам, церковь была угрюма и демонстративно уродлива, с надписями, возвещавшими

кровь и пламень, и сборником псалмов, коих насчитывалось тысяча двести пятьдесят один и которые я, полистав страницы, мог бы предложить в качестве антологии наихудших стихотворений. Вслед за чаем ожидалась служба, поэтому на дне церковного колодца сидели прихожане; постоянной паствы в связи с будним днем собралось всего несколько дюжин, главным образом пожилые жилистые дамы, напоминавшие отварных кур. А наверху шло чаепитие: каждый из нас получил фляжку чая и шесть ломтиков хлеба с маргарином. Едва еда была проглочена, десяток бродяг, разместившихся поближе к лестнице, сбежали, увильнув от проповеди и молитв; остальные — не более благодарные, но менее наглые — продолжали сидеть.

Орган издал несколько предварительных воющих вздохов, и служба началась. И тотчас, будто по сигналу, бродяги начали хулиганствовать самым непотребным образом. Нельзя было представить что-либо подобное в церкви. По всей кольцевой галерее люди, развалясь на скамьях, галдели, хохотали, стреляли сверху в прихожан хлебными шариками; мне пришлось чуть не силой удерживать соседа, желавшего закурить. В богослужении евангелистов бродягам виделось

зрелище чисто комедийное. Действительно, служба с бесконечными молитвами-импровизациями и внезапными воплями «аллилуйя!» была достаточно комична, но выходки гостей переходили всякие границы. Среди паствы выделялся один особо рьяный прихожанин, именовали его здесь Брат Бутл, он чаше прочих оглашал свой молитвенный призыв, и каждое его выступление наверху встречали, неистово стуча ногами, словно на театральной галерке; прошлый раз, сказали мне, Брат Бутл импровизировал молитву целых полчаса, пока сам пастор не прервал его. Когда Брат Бутл в очередной раз поднялся, кто-то из бродяг гаркнул на всю церковь: «Два к одному — не меньше семи минут отхватит!». А перед тем мы своим гоготом совершенно заглушили проповедь. Иногда снизу раздавалось негодующее «тише!», но впечатления это не производило. Мы настроились на веселое буйство, и ничто не могло нас усмирить.

Дикая, довольно отвратительная сцена. Внизу горстка обычных добропорядочных людей с трудом пытается молиться, а наверху те, кого эти люди накормили, изо всех сил стараются им помешать; глумятся, скалятся плотным кольцом чумазых обросших физиономий. Чем несколько

женщин и стариков могли обуздать сотню разбушевавшихся бродяг? Они боялись нас, а мы их откровенно задирали. Мстили за унижение взявших от них подачку.

Пастор, кстати, оказался храбрецом. Твердо прошел сквозь длинную грозную проповедь о Иешуа-Иисусе, сумел почти проигнорировать наш гвалт, наше хихиканье. Под конец только, видимо исчерпав ресурс выносливости, громко объявил: «Последние минуты проповеди я обращаю к грешникам **неспасаемым**». Сказал и вскинул лицо к галерее, простояв так минут пять, дабы не осталось сомнений в том, кому именно не спастись. И думал, что задел нас! Даже когда пастор грозил геенной огненной, мы скручивали себе цигарки, а с последним «аминь» загрохотали вниз по лестнице, хохоча, договариваясь вновь прийти сюда на чай через неделю.

Случай заинтересовал меня. Очень уж это отличалось от обычного поведения бродяг — привычки кланяться и пресмыкаться за милостыню. Дело тут, конечно, было в значительном численном превосходстве, что позволило осмелеть. Принимающие подаяние практически всегда глубоко ненавидят благодетелей (многократно доказанное свойство человеческой натуры), и

под прикрытием толпы дружков нищий свою тайную ненависть всегда проявит.

Тем же вечером Падди неожиданно заработал на посту «лучника» еще восемнадцать пенсов; ровно столько, чтобы купить нам еще сутки в ночлежке, а что касается еды, пришлось до следующего вечера голодать. Чумарь, который мог бы нас подкормить, весь день был далеко: из-за мокрых тротуаров ушел на улицы Кастла и Элефанта, зная там несколько точек под навесами. К счастью, у меня оставалось кое-какое курево, так что денек выдался все же не самый худший.

В половине девятого Падди повел меня на набережную, где, как ему было известно, раз в неделю некий священник раздает талоны на еду. Под мостом Чаринг-кросс ежились, отражаясь в дрожащих лужах, полсотни человек. У некоторых вид поистине устрашающий; жильцы набережной это отбросы еще более низкой категории, чем квартиранты торчков. Помню одного — подвязанное веревкой пальто без пуговиц, рваные брюки и ботинки, из которых торчали голые, даже не обмотанные пальцы. Бородатый как факир, он все время почесывался, соскребая с груди и плеч жуткую черную гадость вроде мазута, но и сквозь грязь, щетину различалось гипсовой белизны ли-

цо, обескровленное какой-то зловещей хворью. А говорил он, я слышал, довольно грамотно, речью клерка или же продавца хорошего магазина.

Вскоре явился ожидаемый священник, и люди выстроились в том порядке, как приходили. Священник — миловидный, упитанный, с почти детским румянцем, внешне до странности напоминавший моего парижского приятеля Шарля, — был очень застенчив; ограничившись коротким и смущенным «добрый вечер», быстро пошел вдоль ряда, вручая талоны, не дожидаясь изъявлений благодарности. В итоге благодарность и возникла, священника признали «отличным,...! малым». Кто-то (думаю, именно для ушей скромного церковника) крикнул: «Уж **этот** е... епископом не станет!», что, разумеется, означало величайший комплимент.

Талоны, по которым должны были накормить на шесть пенсов, адресовались столовой неподалеку, где хозяин, пользуясь отсутствием у бродяг выбора, давал за талон максимум на четыре пенса. Объединив свои талоны, мы с Падди получили столько, сколько в обычном кафе взяли бы пенсов за семь-восемь. То есть из фунта, честно раздававшегося священником, мошенник каждую неделю клал в карман не меньше семи шиллингов. И

ограблениям такого рода бродяги подвергаются постоянно, и будет это продолжаться до тех пор, пока социальная помощь будет идти талончиками вместо денег.

Вернулись мы с Падди по-прежнему голодные и околачивались в кухне, наслаждаясь за неимением еды печным теплом. Только к одиннадцати прибыл Чумарь, измученный, еле доковылявшей на вывернутой, жутко нывшей ноге. Все точки под навесами разобрали и заработать скриверством не вышло, поэтому, кося глазом на полисменов, он просто попрошайничал. Насобирал восемь пенсов — пенни не добрал на кип. Вообще и час уплаты за ночлежку давно прошел, но он сумел проскользнуть в дом за спиной полномочного; теперь в любой момент его могли поймать, выставить ночевать на улицу. Чумарь достал все из карманов и осмотрел имущество, раздумывая, что продать. Выбрал он бритву, пошел с ней по кухне, через несколько минут выручил три пенса — хватало и койку оплатить, и купить кружку чая, да еще полпенса оставалось.

С кружкой в руках Чумарь сел возле печки обсушиться. Прихлебывая чай, он посмеивался, будто повторял про себя какой-то очень остроумный анекдот. Я удивленно спросил о причине

веселья.

— Это ж умора драная! — сказал он. — Прям для «Панча»[118]! Чего, по-твоему, я учудил?

— Что?

— Бритву-то загнал, а сам вначале даже не побрился! Вот уж из всех придурков самый...!

Он с раннего утра не ел, бог знает сколько отшагал на искалеченной ноге, насквозь промок, защитой от голодной смерти имел полпенни. И при всем том мог шутить над своим значительным убытком. Им нельзя было не восхищаться.

[118] notes: 118

Юмористический еженедельник, состоит главным образом из карикатур.

34

Наутро нашим капиталам пришел полный конец, и мы с Падди отправились в торчок. Потопали по Олд-Кент-роуд к городку Кромли; лондонские торчки, куда недавно навещавший их Падди пока являться не решался, для нас были закрыты, так что шестнадцать миль прогулки по асфальту, натертые на пятках волдыри, зверски оголодавшие желудки. Падди неотрывно обследовал мостовую, запасаясь перед торчком окурками. В конце концов это усердие было вознаграждено найденным пенни, мы купили толстый ломоть черствого хлеба и сжевали его на ходу.

В связи со слишком ранним для торчка прибытием маршрут наш удлинился походом в окрестности Кромли, к полосе защищавших луг посадок, под сенью которых можно было передохнуть. Судя по вытоптанной траве, клочьям газет и ржавым банкам, место служило популярным кочевым становищем. Понемногу подтягивались и другие странники. Стоял чудесный осенний день. Рядом пышно густели заросли пижмы; даже сейчас мне будто ударило в ноздри ее резким

и сильным ароматом, перебивавшим тяжелый бродяжий запашок. В поле два крестьянских жеребенка, рыжевато-бурых с белыми гривами и хвостами, грызли калитку изгороди. Взмокшие бродяги обессилено валились на землю. Кто-то собрал хворост, разжег костер, и все мы пили пустой чай без молока из оловянного «барабана», передавая его по кругу.

Затем начались рассказы. Наиболее оригинальным типом в этой компании был некий Билл — закоренелый нищий старой классической породы, могучий как Геркулес и стойкий идейный враг труда. Хвастался, что с его мускулатурой работу находил когда хотел, но, дотянув до первой же получки, кошмарно напивался и получал расчет. А в промежутках жил «скулежкой», обхаживая главным образом владельцев лавочек. Говорил он примерно следующее:

— Я дале как до... Кента не ходок. Народ тугой там, кентский-то. У их там скулежников уж больно много вьется. Ихний... пекарь булку в яму лучше скинет, а те не даст. Вот Оксфорд да, самое место где скулить, Оксфорд-то да. И хлеба выскулишь, и бекона, и мяса, и в каждый вечер от студентов те рыжаков на кип накрапает. А одну ночь вот припоздал я, а чуток бы еще для

кипа надо, так я иду к попу приходскому — скулю три пенса. Поп мне мои три пенса в руку и прям, змей, враз через секунду копу меня сдает. «Ты попрошайством занимался», — говорит коп. «Не, — говорю, — разок только у джентльмена попросил». Коп тут пошел меня трясти, ковырнул у меня с-за пазухи фунт мяса да две буханки хлебные. «Ну, — говорит, — а это чего ж такое? Двигай живо в участок». Клюв[119] мне семь суток припаял. Чтоб я еще когда скулил у этих попов...! Нет уж, к чертям! Чтоб вот неделю в камере-то схлопотать?...

По– видимому, эта жизнь целиком строилась вокруг «наскулить, напиться и схлопотать». Однако сам Билл хохотал, описывая свои похождения как грандиозную потеху. И хотя он вроде не слишком уж разбогател своей скулежкой (всей одежды лишь плисовый костюм, шарф, кепка, ни белья, ни носков), но был и толст и весел, даже попахивал пивком — редчайший запах от бродяг наших дней.

Двое недавно посещавших торчок в Кромли рассказали про тамошнее привидение. Несколько лет назад, поведали они, в торчке этом случилось

---

[119] notes: 119
«Клюв» на жаргоне — судья.

самоубийство: протащивший бритву бродяга ночью зарезался. При утреннем обходе дверь в каморку зажало изнутри телом покойника, открыть ее открыли, но сломали мертвецу руку. Мщения ради, мертвец начал регулярно являться в свою последнюю келью, и всякому, кто ночевал там, после не удавалось прожить и года (случаев уже, разумеется, полным-полно). Теперь, когда в Кромли придешь и дверь если у тебя застревает, беги как от чумы — та самая клетушка, с призраком.

Два бывших моряка рассказали другую жуткую историю. Некий хитрец (рассказчики клялись, что знали его) придумал зайцем проехать на пароходе, шедшем в Чили. Грузили судно товаром в больших деревянных коробах, и он, найдя помощника среди докеров, спрятался в одном таком ящике. Только вот докер перепутал порядок загрузки. Кран, подцепив короб с сидевшим внутри безбилетником, поднял его и на судно поставил — на самое дно трюма, под многие тонны прочего груза. Никто ничего не узнал до конца рейса, когда безбилетника обнаружили уже гниющим, умершим от удушья.

Следующий рассказчик напомнил о Гилдрое, шотландском разбойнике: Гилдроя приговорили

к виселице, а он убежал, захватил приговорившего судью и сам — шикарный парень! — судью повесил. Бродяги любят конечно героев исторических, но интересно, как они сюжеты о героях переиначивают. Скажем, по их версии Гилдрой бежал в Америку, хотя известно, что его поймали и казнили. Правка несомненно делается сознательно, целенаправленно — точно так же дети подправляют истории Самсона и Робин Гуда счастливыми, то есть весьма фантастичными, концовками.

В русле исторических повествований один очень старый бродяга заявил, что статья о «покушении на жизнь» возникла из-за случаев, когда дворяне в старину травили кусачими гончими людей вместо оленей. Некоторые смеялись, но в голове у старика крепко сидела своя идея. Что-то понаслышке ему было известно и насчет «Хлебных законов», и насчет «права первой ночи» (которое он полагал доныне существующим), и о «Великом мятеже»[120], который он — путая, видимо, с крестьянскими бунтами, — считал восстанием бедняков против богачей. Вряд ли старик умел читать, во всяком случае он безусловно не

[120] notes: 120
(*Great Rebellion*) — гражданская война в Англии, 1642—1660 гг.

пересказывал статьи в газетах. Долетевшие до него обрывки исторических сведений передавались бродягами из поколения в поколение, возможно на протяжении веков. Отзвук древней устной традиции, слабое эхо средневековья.

В шесть вечера мы с Падди вошли в торчок, в десять утра вышли оттуда. Ничего нового после торчков Ромтона и Эдбери, и привидение нам не явилось. Зато завязалось знакомство с парочкой бывших рыбаков из Норфолка, Вильямом и Фредом, озорными ребятами, большими любителями песен. Украшавшую их репертуар «Бедную Беллу» стоило записать. Впрочем, прослушав «Беллу» в следующие двое суток раз десять, я запомнил ее наизусть и перевру лишь словечко-другое. Песня такая:

Была она юной, была она чистой,

Глаза-бирюза, голосок серебристый,

О, бедная Белла!

Ясным солнышком нежный румянец светил,

Но в кудрявой головке лишь ветер кружил,

И однажды с пути ее доброго сбил

Подлый, злой, бессердечный изменщик.

Так была молода, не взяла она в толк,
Что коварны мужчины и путь наш жесток,
О, бедная Белла!
«Мой любимый, — смеялась она, — не такой,
Он признает дитя, буду верной женой».
Завладел ее сердцем и светлой душой
Подлый, злой, бессердечный изменщик.

Она к милому в дом, а трусливый шакал
Уж мешок на плечо и далече удрал,
О, бедная Белла!
Из поместья прогнали ее тот же час:
«Для распутных служанок нет места у нас».
Ей оставил лишь горе да слезы из глаз
Подлый, злой, бессердечный изменщик.

И бродила всю ночь у холодной реки,
И никто не узнал ее черной тоски,
О, бедная Белла!
Утро раннее сушит на камне росу,

Горе, горе! Несчастную Беллу несут.
Погубил ее жизнь и младую красу
Подлый, злой, бессердечный изменщик.

Так-то, знай, что, как юные дни ни лихи,
Отольются бедою и болью грехи,
О, бедная Белла!
Тихий снег на сырую могилу летел,
Говорили мужчины: «Таков наш удел»,
А хор женщин печальных угрюмо пропел:
«Все вы, парни, ублюдки паршивые!»
Сочинено, надо полагать, женщиной.

Фред и Вильям, исполнители этой баллады, представляли собой тот сорт отпетых прохиндеев, из-за которых у бродяг дурная слава. Узнав случайно, что в торчке Кромли собран запас старой одежды для раздачи вконец оборванным гостям, ребята на подходе к торчку сняли башмаки, кое-где распороли швы, частично отодрали подошвы и потом заявились с просьбой о помощи. При виде их драных подметок бродяг-майор выдал две пары почти новой обуви, наутро сразу

же, чуть ли не возле выхода проданной за шиллинг и девять пенсов. За такие гроши привести практически в негодность свои хорошие ботинки парням казалось дельцем стоящим.

Из торчка все мы длинным унылым караваном побрели на юг, в сторону Нижнего Бинфилда и Айд-Хилла. По дороге случилась драка: двое вдруг поссорились (глупейший *casus belli*[121] состоял в том, что один сказал другому «больше жри», а тому послышалось «большевик» — смертельное оскорбление) и схватились посреди поля. Около дюжины зрителей остались наблюдать. В память мне врезалась деталь — поверженный противник падает и слетевшая кепка обнажает белизну совершенно седой шевелюры. Потом кто-то из нас вмешался, драку прекратили. Падди тем временем провел дознание, выяснив в итоге, что истинной причиной ссоры был как всегда дележ убогих крох съестного.

В Нижний Бинфилд мы прибыли совсем рано; чтобы занять время Падди отправился по дворам в поиске работенки. У одной задней двери ему наконец велели разобрать ящики на дрова, он в качестве необходимого помощника привел

---

[121] notes: 121
Повод к войне *(лат.)*.

меня, и мы вдвоем все сделали. Тогда хозяин распорядился напоить нас чаем. Не забуду, с каким испуганным видом служанка вынесла поднос и, обомлев на полпути от страха, поставив чай наш прямо на дорожку, бросилась обратно в дом скорей закрыться. Такой ужас внушает само слово «бродяга». Получив за работу по шесть пенсов, мы купили трехпенсовый каравай и пол-унции табака, пять пенсов оставили про запас.

Наши пять пенсов Падди для страховки решил припрятать ввиду слухов о деспотизме местного бродяг-майора, который обладателей даже столь скудного капитала мог в торчок не пустить. Вообще бродяги имеют обыкновение прятать деньги, зашивая контрабандные суммы в одежду, что карается арестом (если поймают, разумеется). У Чумаря и Падди была на эту тему славная байка. Однажды некого ирландца (ирландцем называл его Чумарь, а Падди — англичанином), отнюдь не нищего, имевшего при себе целых тридцать фунтов, занесло в деревушку, где ему не удалось устроиться на ночь. Какой-то встреченный им бродяга посоветовал пойти в ближайший работный дом. Рекомендация здравая: негде переночевать — иди и за весьма умеренную цену возьми спальное место в приюте. Ирландец, одна-

ко, решил быть самым умным и даром получить такой ночлег, прикинувшись обычной бездомной голью. Тридцать фунтов он зашил под подкладку. Между тем, консультант его, который все наблюдал, пошел в тот же торчок, а там тихонько договорился с надзирателем — отпросился утром уйти пораньше, якобы на работу. И в шесть утра спокойно убыл, облачившись в костюм ирландца. Начал было ирландец жаловаться на грабеж, но получил только тридцать суток за незаконное вторжение в приют для неимущих.

35

Устало растянувшись на травке сквера Нижнего Бинфилда, мы лежали под неусыпным наблюдением глазевших в дверные оконца своих коттеджей местных жителей. Подошли священник с дочерью, некоторое время молча рассматривали нас, как рыб в аквариуме, потом ушли. Ожидающих постепенно собралось несколько дюжин. Явились, распевая очередную песню, Вильям и Фред, и те двое, что по пути дрались, и Билл-скулежник, успевший выскулить в пекарне черствых буханок, спрятанных за пазухой на его голой под курткой груди, а теперь, к нашему общему удовольствию, разделенных на всех. Была и женщина, первая женщина, которую я видел среди бродяг. Потрепанная и заляпанная грязью толстуха лет шестидесяти, в длинной, волочившейся по земле черной юбке, она сидела с чрезвычайно надменным видом, и, едва кто-нибудь располагался рядом, презрительно отсаживалась дальше.

— Куда путь держите, сударыня? — спросили ее.

Она лишь повела глазами и фыркнула.

— Да вы, сударыня, не дуйтесь, подсаживайтесь! Мы ж тут одна команда-то!

— Спасибо, — горько проронила толстуха. — Мне как захочется в компанию **с бродягами**, так я уж вам сообщу.

Необычайно выразительно произнесла она «с бродягами» — вспышкой высветило всю душу, куцую бабью душонку, ничего не увидевшую, не понявшую за годы нищенских скитаний. Наверняка в прошлом благочестивая чинная вдовица, которую скинуло на дорогу неким дьявольски ироничным случаем.

Торчок открылся в шесть. День был субботний; это означало, что нам придется взаперти сидеть весь уик-энд (откуда взялось правило, не знаю — возможно, вследствие смутного ощущения связи между заслуженными выходными и безобразным поведением). При регистрации я записался как «журналист». Ближе к истине, чем «живописец», поскольку иногда мне что-то платили за статьи, но очень глупо, ибо привлекло внимание начальства. Как только нас ввели внутрь и построили для обыска, меня вызвал бродяг-майор. Сухой и жесткий, с солдатской выправкой, похожий не на бандита, каким его заочно представляли, а на старого честного рубаку, командир резко бросил:

— Кто тут Бланк?

(До меня не сразу дошло, что это моя, присвоенная мной фамилия).

— Я, сэр.

— Так значит журналист?

— Да, сэр, — ответил я, трепеща. Самый поверхностный допрос мог обнаружить мое вранье и кончиться арестом. Но командир, лишь смерив меня взглядом с ног до головы, сказал:

— Джентльмен, стало быть?

— Хотелось бы полагать.

Он удостоил меня еще одним долгим взглядом, кивнул: «Ясно, драная неудача сшибла; подсекла, значит, драная» — и затем относился ко мне с очевидным благожелательным пристрастием, даже определенной почтительностью. Избавил от обыска, выдал перед мытьем (неслыханная роскошь!) отдельное чистое полотенце. Столь властно звучит титул «джентльмена» для честных солдатских ушей.

В семь нас, проглотивших свой чай с хлебом, отправили по клетушкам, на сей раз одиночным, с топчаном и соломенным матрасом, то есть дававшим наконец возможность хорошо выспаться. Но идеальных торчков не бывает, и специфическим дефектом Нижнего Бинфилда оказался холод.

Отопление не работало, два тоненьких бумажных одеяльца почти не грели, а уже несмотря на осень начались суровые заморозки. Все отведенные для сна двенадцать часов прошли в беспрерывном верчении с боку на бок, чередовании минутных сонных провалов и будившего озноба. К тому же не закурить — так ловко спрятанный в пиджаках табак вместе с этими пиджаками до утра оставался недосягаемым. По всему коридору слышались из-за дверей стоны, порой переходящие в проклятья. Вряд ли хоть кто-нибудь проспал здесь более часа, от силы двух.

После завтрака и медосмотра бродяг-майор согнал нас всех в столовую и там запер. Неописуемо тоскливый, воняющий тюрьмой, заставленный рядами длинных грубых столов и лавок каменный сарай, в зарешеченные окошки высоко над головой не посмотреть, по голым выбеленным стенам никаких украшений кроме казенных часов и циркуляра о местных правилах. Набитые по лавкам как сельди в бочке, мы уже изнывали от скуки, а было еще только восемь утра. Заняться нечем, обсуждать нечего, даже нет места просто размять мышцы. Единственное утешение — курежка, к этому проступку здесь, если за руку не ловили, относились довольно снисходительно.

Тщедушный, с гривой лохматых волос бродяжка шотландец, простецки изъяснявшийся жаргоном окраин Глазго, остался без курева (при обыске его жестянка с окурками выпала из ботинка), и я отсыпал ему табака. Дымили мы украдкой; едва слышалось приближение бродяг-майора, мигом, как школьники, совали самокрутки в карман.

Вот так, без дела, без движения, без воздуха, большинство бродяг просидели десять часов подряд. Бог знает, как они сумели это выдержать. Лично мне повезло: через пару часов начальник забрал несколько человек для различных подсобных работ и меня отрядил на самое желанное место — при кухне. Снова, подобно выдаче чистого полотенца, сработал завораживающий чин «джентльмена».

Поскольку никакой работы на кухне не было, я тихо шмыгнул под навес, где хранилась картошка и где в тот час несколько постоянных здешних обитателей скрывались от воскресной церковной службы. Имелись ящики, чтобы с комфортом посидеть, прошлогодние номера «Семейного вестника», даже ветхий библиотечный экзем-

пляр «Рэфлза»[122]. Приютские занятно говорили о жизни в работном доме. В частности, о том, что самое ненавистное для них — униформа, это позорное клеймо благотворительности, а если б разрешалось носить свою одежду, ну хоть только кепку и шарф, так они и не против жить тут (в статусе нищих, под почти тюремным надзором). Обед мне дали настоящий, от общего стола: порции для удава, я так не объедался со дня дебюта в «Отеле Икс». Затем повар велел мне вымыть посуду, собрать и вынести объедки. Количество оставшейся в тарелках еды изумляло, в данных обстоятельствах — ужасало. Сваленная грязным месивом вместе со спитым чаем, половина всего — и мяса, и ломтей хлеба, и овощей — на помойку. Я набил пять мусорных баков еще весьма съедобной пищей, в то время как у полусотни бродяг в торчке пустое брюхо ныло после обеда из куска хлеба с сыром и, может, пары добавленных в честь воскресения холодных вареных картофелин. Политика благоволения к послушным, строго опекаемым нищим сознательно предпо-

[122] notes: 122

Речь идет о написанном в 1899 году романе Эрнста Уильяма Хорнунга «Рэфлз, взломщик-любитель». Интерес и симпатия к герою целой серии повествований о похождениях отважного авантюриста выразились не только в частых упоминаниях и образных перекличках, но и в специальном эссе Оруэлла «Рэфлз и мисс Блендиш».

читает скорее выкинуть еду, чем дать бродягам.

Около трех я вернулся в торчок. Просидевшие уже восемь часов в такой тесноте, когда и локоть не отвести, бродяги одуревали от скуки. Даже курение закончилось, ведь бродяжий табак добывается из окурков и быстро иссякает вдали от мостовых. Разговоры тоже почти прекратились, люди просто сидели, уставясь в пустоту, обросшие щетиной лица раздирало зевками во всю пасть. Царство тоски-печали.

Падди, чья задница совершенно онемела на жесткой лавке, хандрил и от нечего делать вяло беседовал с не очень похожим на бродягу молодым плотником, носившем воротничок и галстук, скитавшемся, по его словам, из-за отсутствия инструмента. Держался юноша несколько в стороне от остальных, считая себя не бездомным бедняком, но, скорее, вольным странником; таскал с собой обнаруживавший вкус к литературе томик «Квентина Дорварда»[123]. В торчки, сказал он, его загоняет лишь крайняя нужда, гораздо лучше ему спится в стогах или же под кустами живых изгородей. Он обошел все южное побережье, питаясь подаянием и ночуя в летних купальнях.

---

[123] notes: 123
Роман Вальтера Скотта.

Заговорили о бродяжьей жизни. Молодой человек раскритиковал систему, которая полсуток держит бродягу в торчке, а остальные часы велит шляться туда-сюда, дрожа перед полицией. Свой случай — вот уже шесть месяцев общество его содержит, но нескольких фунтов купить рабочий инструмент не находится, — он назвал «сущим идиотизмом».

Тогда я рассказал ему о кухонных объедках в работном доме, высказав свое мнение на этот счет. И тут проснулся спящий в каждом британском пролетарии строгий и благонравный прихожанин. Столь же голодный, как толпа его соседей, молодой человек сразу усмотрел резоны, по которым пищу лучше отправить на помойку, нежели скормить бродягам. Последовало весьма суровое наставление:

— Нельзя иначе. Сделайте условия в таких приютах чуть получше, сюда хлынет вся накипь со всей страны. Только дрянной кормежкой и отгонишь. Бродяжат негодяи, потому что работать не хотят, ничем их не исправишь и нечего миндальничать с этой швалью.

Я начал возражать, доказывать, но он не слушал, продолжая твердить:

— Да не жалейте вы этих бродяг, всю эту на-

кипь. Вы о них не судите, как о нас с вами. Шваль, она и есть шваль».

Примечательно, с какой виртуозностью ему удавалось отделять себя от «всех этих бродяг». Дороги трамбовал уже полгода, но полагал, что, милостью Господней, сам не бродяжит. Мне представляется, на свете очень много бродяг, благодарящих Господа за то, что они не бродяги. Вроде туристов, обожающих насмехаться над туристами.

Еле– еле проползли три часа. В шесть принесли ужин, оказавшийся совершенно несъедобным: хлеб, черствый еще утром (нарезанный накануне, в субботу вечером), приобрел твердость корабельных сухарей. К счастью, он был намазан салом, оставшимся от жарки мяса; этим застывшим салом, соскребая его, мы и поужинали, все же лучше, чем ничего. Четверть седьмого нас отправили спать. Прибыла свежая партия бродяг, смешивать группы не положено (из опасения инфекций), так что в отсеки поместили новеньких, а нас отвели в спальни. Моя спальня была большой коробкой, с тридцатью койками почти вплотную и бадьей в качестве горшка. Мерзкая вонь, всю ночь хождения, кашель стариков, зато так много спящих, что комната согрелась и мы

кое-как подремали.

После очередного утреннего медосмотра, получив на дорогу очередной кусок хлеба с сыром, мы разошлись. Уходя, Фред и Вильям, гордые обладатели целого шиллинга, накололи свои ломти хлеба на острые шипы ограды — в знак протеста, как они заявили. Уже второй кентский торчок донимал парней слишком жестким распорядком, и они отвечали приливом необычайно, на их взгляд, остроумного озорства. А вообще весельчаки большая редкость среди бродяг. Какой-то дурачок (в любом скоплении бродяг найдется слабоумный), ноя, что у него нет сил идти, цеплялся за ворота, пока бродяг-майор не отодрал его и не поддал пинка. Мы с Падди повернули на север, к Лондону. Большинство остальных поплелись дальше, к Айд-Хиллу, обсуждая тамошний торчок, по общему мнению худший в Англии[124].

Снова сиял чудесный осенний день, вокруг тихо, машины пробегали очень редко. Воздух — волшебный аромат шиповника после зловонной смеси пота, мочи и хлорки. Мы шли вдвоем; казалось, мы единственные на дороге. Вдруг сзади торопливый топот, кто-то нас окликает: шотлан-

[124] notes: 124

Позже я побывал там и свидетельствую — отнюдь не худший *(прим. автора)*.

дец, тощенький бродяжка из Глазго, задыхаясь, догнал, вытащил из кармана ржавую жестянку и приветливо, облегченно разулыбался:

— На-ка, браток, — сказал он от души. — Моих чинариков курни. Дымком вчера меня одалживал, а мне на выходе махру-то мою воротили. А за добро добром надо ответно — на-ка вот.

И он положил мне на ладонь пяток сплющенных, сыроватых, изжеванных окурков.

36

Несколько общих замечаний насчет бродяг. Бродяга, если хорошенько вдуматься, явление очень странное. Не странно ли, что целое племя десятками тысяч людей должно безостановочно ходить из конца в конец Англии, как толпы Агасферов[125]? Вопрос, конечно, требует ответа, но нельзя приступить к выяснению, не избавившись вначале от некоторых предрассудков. Все они основаны на уверенности в том, что каждый бродяга *ipso facto*[126] подлец. О подлости бродяг нам твердят с самого детства, и в сознании складывается образ типичного, так сказать идеального, бродяги — гнусного и довольно опасного существа, которое под страхом смерти не заставишь работать или мыться, которое желает только клянчить, пьянствовать и воровать кур. Образ не более правдоподобный, чем зловещий Китаец из комиксов, но прочно застрявший в

[125] notes: 125

Агасфер или Вечный жид — согласно средневековой легенде, за непочтение к Христу осужденный на вечную жизнь, вечные скитания.

[126] notes: 126

Самим фактом существования *(лат.)*.

мозгах. «Бродяга» мысленно сразу переводится как «страшилище», чьей черной тенью застилает картину реальных проблем.

Главное — ответить **почему** вообще существуют бродяги. Кстати, очень мало кому известно, что же толкает человека слоняться по дорогам. Вследствие глубокой веры в бродягу-монстра называют разные, большей частью мнимые причины: говорят, например, что бродяжат бродяги дабы увиливать от работы, жить поданным дармовым куском, вольготно разбойничать, даже (самое фантастичное) — потому что им нравится бродяжить. В одном трактате по криминологии мне и такое встретилось: бродяга это исторический атавизм, возврат к общественной кочевой стадии. Между тем, совершенно очевидная причина прямо перед глазами. Никакой это, разумеется, не атавистический кочевник, иначе коммивояжеры тоже атавизм. И не ради беспечной жизни люди бродяжат, а по той же причине, по которой автомобиль держится левой стороны, — действие жестко определено законом. Для неимущего, если о нем не позаботилась община, единственная помощь в специальных временных приютах, и так как убежище только на одну ночь, человека автоматически гонит из

пункта в пункт. Надо бродить, согласно положениям закона, либо сидеть и умирать голодной смертью. Увы, воображение людей, впитавших образ бродяги-монстра, отдает предпочтение мотивам так или иначе злодейским.

Немного же, однако, остается от этого злодея после честного изучения фактов. Допустим, общепринятое мнение о страшной, бандитской натуре бродяг. Без всяких конкретных примеров можно *a priori*[127] утверждать, что таковых считанные единицы, — будь бродяги действительно опасны, с ними и обращались бы соответственно. Но в приютах, за смену принимающих по сто гостей, командуют толпой бродяг обычно три надзирателя. Так разве трое безоружных сторожей могли бы справиться с сотней бандитов? В реальности, понаблюдав, как бродяга позволяет всяким приютским служащим измываться над собой, видишь, что это существо на редкость покорное, забитое. Или убеждение в повальном алкоголизме бродяг — звучит просто насмешкой. Конечно, большинство из них не прочь выпить при случае, только условия жизни им случаев не дарят. Сегодня в Англии пинта мутноватой,

---

[127] notes: 127
Заранее, без доказательств *(лат.)*.

называемой пивом водицы стоит семь пенсов; чтобы захмелеть, нужно влить в себя по меньшей мере на полкроны, а где же виданы бродяги с этаким капиталом? Вот представление о нахальных паразитах на теле общества («закоренелых попрошайках») не лишено оснований, хотя справедливо для очень малого процента от общего числа. Откровенного, циничного паразитизма, присущего, судя по сочинениям Джека Лондона, американскому бродяге, в английском характере нет. У заедаемых пуританской совестью англичан намертво вбитое ощущение греховности нищенства. Англичанина, который сам захотел бы стать паразитом, невозможно представить, и национальный тип сознания вряд ли особенно изменишь, выгнав человека с работы. Если увидеть, помнить, что бродяга всего лишь оставшийся без работы и принужденный законом топтать дороги рядовой житель Англии, бродяга-монстр начисто исчезает. Я не настаиваю, разумеется, на ангельской натуре бродяг, я говорю только, что они из обыкновенной человеческой плоти, и если отличаются не лучшей манерой поведения, то это следствие, но не причина.

Так что отношение «корми еще всю эту сволочь!» столь же уместно здесь, как в отношении

к больным или калекам. Когда ясно, до мелочей представишь бродягой себя самого, почувствуешь, на что похожа его жизнь. Невероятно пустая и крайне неприятная. Я описал хождения по торчкам — рутину бродяжьих будней, однако это лишь третье из непременно настигающих зол. Первое — голод, постоянный, едва ли не официально назначенный. Рацион приютов, видимо, даже не планировался кормить досыта, а получить что-то еще возможно только нищенством, то есть нарушая закон. В итоге от недоедания общая хилость и гнилость, в чем легко убедиться, взглянув на очередь перед торчком. Второе великое зло, вроде гораздо менее серьезное, но на деле действительно второе после голода, — бродяга лишается контактов с женщиной. Рассмотрим этот важный пункт подробнее.

Прежде всего, бродяги отлучаются от женщин тем, что в этой социальной группе женщин чрезвычайно мало. Казалось бы, среди бездомных должен быть общий, повсеместный баланс полов. Но нет, фактически, ниже определенного уровня общество становится почти полностью мужским. Отчет Совета Лондонского графства (ночная перепись 13 февраля 1931 года) демонстрирует

следующее численное соотношение бродяг[128]:

Ночующих на улицах:

мужчин 60, женщин 18.

В негосударственных убежищах и ночлежных заведениях:

мужчин 1057, женщин 137.

В подвале церкви Св. Мартина-в-полях:

мужчин 88, женщин 12.

В муниципальных приютах и общежитиях:

мужчин 674, женщин 15.

Цифры отчетливо свидетельствуют о соотношении живущих за счет благотворительности мужчин и женщин — примерно десять к одному. Почему? Возможно, женщин меньше затрагивает безработица; возможно также, что у каждой достаточно привлекательной женщины на крайний случай отыскивается некий покровитель.

---

[128] notes: 128

Данные явно преуменьшенные, к тому же пропорция чересчур хороша *(прим. автора).*

Так или иначе, для бродяги это приговор к пожизненному безбрачию. Ведь если ему не нашлось спутницы своего круга, то дама с более высоким — хотя бы чуточку повыше — положением недоступна ему как солнце в небе. Причины обсуждать не стоит; понятно, что женщина никогда, почти никогда не снизойдет до кавалера, который беднее ее самой. Таким образом, с момента выхода на дорогу жестокое безбрачие. Абсолютно никаких надежд обрести жену, любовницу, какую-нибудь подругу, разве что очень изредка бродяга ухитрится скопить несколько шиллингов на проститутку.

Последствия очевидны: и гомосексуализм, и случаи насилия. А за всем этим внутренняя деградация человека, осознающего, что его даже не воспринимают в качестве брачного партнера. Сексуальный импульс — импульс без преувеличения фундаментальный, голод в этой сфере способен деморализовать почти так же, как отсутствие пищи. Не столько в муках, сколько в медленным гниении тела и духа ужас бедности, и сексуальная подавленность весьма успешно помогает гнить. Отрезанный от женского пола, бродяга ощущает себя выкинутым в разряд калек или дегенератов. Никаким унижением не

нанести больший удар по чувству собственного достоинства.

Из разряда великих зол и вынужденное безделье бродяг. Порядки у нас таковы, что бездомный или шагает по дороге, или заперт в приюте, или в ожидании мается у входа в приют. Ясно, какой это угнетающий, разлагающий образ жизни, особенно для человека малокультурного.

Помимо того можно перечислить множество мелких зол. Напомню лишь об одном — о постоянном дискомфорте, отсутствии в бродяжьем обиходе элементарнейших удобств. Люди как-то забывают, что у бродяги нет обычно никакой сменной одежды, что башмаки его не по ноге, что у него месяцами не бывает возможности посидеть на стуле. Но хуже всего, что эти мучения неизвестно зачем. Фантастически тягостная жизнь, не предполагающая какой бы то ни было цели. Трудно изобрести более тщетное занятие, чем перемещения от тюрьмы к тюрьме, вынуждающие восемнадцать часов в сутки или шагать, или тупо отсиживать взаперти. В Англии по меньшей мере десятки тысяч бродяг. И день за днем их несметные силы — силы, способные вспахать гектары пашен, выстроить кварталы домов, проложить многие мили дорог, — тратятся

на бессмысленные переходы. И день за днем, для некоторых, может, десятками лет, разглядывание стен приютской камеры. На каждого бродягу расходуется минимум фунт в неделю, взамен страна не получает ничего. Бродяги кружат и кружат унылым великопостным хороводом, чисто ритуальным, какой-либо практической пользы кому-либо вовсе не предполагающим. Все идет по закону, и мы так привыкли, что нисколько не удивляемся. Хотя это поразительно глупо.

Выяснив изъяны бродяжьей жизни, поставим вопрос: можно ли как-то улучшить положение? Отчасти можно, если, например, сделать муниципальные приюты чуть более жилыми, что уже и делается в некоторых местах. Кое-где за последний год введены некоторые улучшения быта, после инспекций признанные правильными, рекомендованные для повсеместного внедрения. Но это не решает главную проблему — проблему превращения надоедливого полудохлого попрошайки в уважающую себя личность. Простым увеличением комфорта здесь не поможешь. Даже с приютами положительно роскошными (чего

не будет никогда[129]) жизнь бродяги все равно останется бесцельной, паразитической, навек отрезанной от семейного очага, пропадающей впустую для общества. Вытащить человека со дна необходимо и возможно только работой — не трудом ради труда, а реальным делом, которое исполнителю будет выгодно. Сейчас в подавляющем большинстве официальных приютов бродяги вообще ничего не делают. Одно время их направляли, отрабатывая пищу, бить щебенку, но вскоре прекратили, так как гигантские, на много лет вперед, запасы щебня лишили работы настоящих дробильщиков камней. Нынешняя праздность бродяг от того, вероятно, что дела не находится. Тем не менее для них есть довольно очевидный вид полезного труда: при каждом работном доме можно было бы организовать ферму или хотя бы огород, где всякому трудоспособному гостю предоставлялась бы возможность отработать дневную норму. Фермерско-огородная продукция пошла бы на общий стол, по крайней мере что-то добавилось бы к чаю с маргариновы-

[129] notes: 129

Справедливости ради надо отметить, что уже несколько приютов недавно улучшили условия, по крайней мере для сна. Но в большинстве все осталось по-прежнему, а относительно еды вообще нигде никаких перемен *(прим. автора)*.

ми бутербродами. Конечно, никогда приюты не станут полностью окупать себя, однако начнется некое продвижение к этому, а толпы бродячих клиентов будут, надо надеяться, менее обременительны. Следует отметить, что бродяга мертвым грузом виснет на шее государства не только из-за своего безделья, но также из-за плохого, подорванного скверной пищей, здоровья; принятая система живых людей теряет так же успешно, как деньги. Стоило бы испытать на практике схему с расширением рациона бродяг, самостоятельно производящих часть продовольствия.

Мне возразят, что не получится вести хозяйство фермы или даже огорода трудами ежедневно сменяемых работников. Но кем доказано, что бродяг можно держать в приюте только день? Они могли бы оставаться на месяц, хоть на год, если для них имеется работа. Их постоянные скитания нечто весьма искусственное. В настоящее время оплата работным домам идет за партию бродяг, а потому там цель скорее вытолкать одних, впустив других, и соответственно правило дольше ночи не задерживаться. За возвращение в пределах месяца штрафная недельная отсидка, тюрьма не манит, и скиталец, естественно, предпочитает хождения. Но если бы бродяги трудились на

работный дом, где им давали бы нормальную еду, дело другое. Из работных домов постепенно образовались бы частично окупаемые заведения, а востребованные бродяги, оседая на том или ином месте, прекратили бы бродяжить. Делали бы что-то сравнительно полезное, ели бы как люди, жили оседлой жизнью. Со временем, при удачной реализации такого плана, они, может быть, даже перестали бы видеться жалким сбродом, смогли бы завести семью, занять приличное место в обществе.

Это лишь очень сырая идея, которую легко оспорить по многим пунктам. И все-таки она намечает путь к более достойной жизни бродяг без дополнительных социальных расходов. Решение, в любом случае, где-то здесь. В самом вопросе «что делать с праздными полуголодными людьми?» подразумевается ответ — направить их силы на производство собственного пропитания.

37

Несколько слов о том, где в Лондоне бездомный может устроиться на ночлег. Кроме сугубо благотворительных учреждений нигде не найти **койки** дешевле чем за семь пенсов. Если же вы не располагаете указанной суммой, придется выбрать один из следующих вариантов.

1. Набережная. Вот что говорил относительно здешней ночевки Падди.

«С етой набережной беда, что больно рано спать туда иди. Прям от восьми скамейку занимай, не то без места будешь, мало лавок на всех-то. И как приходишь, сразу спать старайся: в ночь застынешь, а перед утром, в четыре, патруль тя вытурит. Кемаришь там кой-как — трамвай драный туда-сюда прям по башке катает и с лампочек рекламных через воду в глазу искрит. И холодрыга, жуть. Которы там привычны, так ети для тепла в газеты себя обертывают, ну а хрен ли толку? Считай, повезло сильно, когда покемаришь часа три драных».

Мне приходилось ночевать на набережной и я нахожу описание Падди абсолютно точным. Это, однако, много лучше, нежели не спать совсем,

что обязательно произойдет, когда решишься провести ночь на других улицах. За исключением нескольких специально оговоренных пунктов — набережная и еще пара мест (одно позади Лицейского театра), — по лондонским муниципальным законам отдыхать ночью на улице разрешено, но уличенных в сне патруль должен сгонять. Правило из набора откровенно оскорбительных. Считается, что цель — предотвратить случаи смерти от переохлаждения, хотя ясно, что если уж бездомный умирает от голода и холода, он умрет как спящим, так и бодрствующим. В Париже этого правила нет. Там люди целыми колониями спят под мостами через Сену, в нишах подъездов, вокруг наружных вентиляционных люков метро и даже внутри самих станций. Вреда от этого не заметно. Никто, имея лучшие возможности, не станет ночевать на улице, и раз лишился человек крыши над головой, почему бы не дать ему уснуть, если он сможет.

2. «Двухпенсовый подвес». Ночевка классом чуть повыше уличной. В двухпенсовом подвесе клиентов сажают на длинную лавку, натянув перед ними канат, который удерживает спящих, как поперечная жердь клонящейся трухлявой изгороди. В пять утра человек, насмешливо на-

зываемый камердинером, канат снимает. Сам я в подвесах не бывал, но Чумарь ночевал там часто и на вопрос, можно ли вообще спать в подобном положении, ответил, что не так худо, как слабаки про то трезвонят, — лучше уж, чем на голом полу. Подобного типа пристанища есть и в Париже, только стоят там не два пенса, а двадцать пять сантимов (полпенни).

3. «Гроб». За четыре пенса вы ложитесь в деревянный ящик, накрытый брезентом. Спать холодно, и хуже всего масса гнездящихся между досками лютых клопов, от которых никуда не деться.

Кроме того обычные ночлежки ценой от семи пенсов и дороже. Лучшая из них — Раутон-хауз, где ты за шиллинг получаешь свой отгороженный спальный отсек и пользуешься превосходными ванными комнатами. Можно также за полкроны взять «люкс», практически гостиничный номер. Помещения Раутон-хауза великолепны; единственный тамошний недостаток — строгий режим, запрещающий готовить еду, играть в карты и т п. Вероятно, самая убедительная реклама Раутон-хаузу то, что он всегда до отказа набит жильцами. Столь же великолепен Брюс-хауз, где берут на пенс больше.

Далее, лучше прочих по части гигиены общежития Армии спасения, цена семь-восемь пенсов. Общежития разные (довелось мне побывать и в таком, где грязи было, как в рядовой ночлежке), но в большинстве и чистота и хорошие ванные; впрочем, ванну оплачиваешь дополнительно. За шиллинг будешь спать в отдельном боксе. Кровати восьмипенсовых спален достаточно удобны, только их чересчур много (как правило коек по сорок в комнате) и стоят они так тесно, что на спокойный сон рассчитывать нельзя. От бесчисленных жестких ограничений пованивает тюрьмой и филантропией. Приюты Армии спасения годятся лишь для тех, кому важнее всего гигиеническая сторона.

Наконец, всякие ординарные ночлежки. Там, платишь ли семь пенсов или шиллинг, везде душно и шумно, постели одинаково грязны и одинаково неудобны. Искупается это вольной волей, атмосферой *laissez-faire*[130], теплом почти домашних кухонь, на которых можно посиживать в любое время суток. Не жилье, а берлоги, но с каким-то подобием человеческой жизни. Ночлежки для женщин, говорят, обычно еще хуже мужских.

---

[130] notes: 130
Вольности; дословно — «не приставайте, оставьте в покое» *(фр.)*.

Заведений, приспособленных для семейных пар, чрезвычайно мало; не редкость, когда муж спит в одной ночлежке, жена в другой.

Обитающих сегодня в лондонских ночлежках по меньшей мере тысяч пятнадцать. Для людей с недельным заработком ниже двух фунтов это выход. Меблированную комнату так дешево вряд ли снимешь, а здесь и бесплатные печки с плитами, и какие-никакие ванные, и общество в изобилии. Что касается грязи, не самая страшная беда. Действительно плохо то, что идешь в ночлежку спать, но именно выспаться невозможно. Получаешь за свои деньги узенькую койку длиной метра полтора, с горбатым каменным матрасом, подушкой вроде чурбака, одной тонкой накидкой и парой серых вонючих простынь. Зимой выдают одеяла, но их всегда нехватка. К тому же коек в комнате минимум пять, а иногда по пятьдесят-шестьдесят, с полуметровыми проходами. В этих условиях, конечно, нормального сна не будет. Такими скотскими стадами люди спят еще только в казармах и больницах, но в палатах общественных больниц никто и не надеется отсыпаться, а в переполненных солдатских казармах хотя бы постели удобные и народ здоровый. Теперь представьте квартирантов ночлежек, почти пого-

ловно страдающих хроническим кашлем, часто встающих из-за своих застуженных мочевых пузырей; шум и беспрерывная возня ночь напролет. По моим наблюдениям, спать удается от силы часов пять — просто гнусное надувательство за твои семь или более пенсов.

Законодательства могло бы здесь кое-что подправить. В уставе Лондонского графства множество указаний относительно ночлежных заведений и ничего об интересах самих жильцов, насчет которых только запрещения распивать спиртные напитки, драться, играть на деньги и т. д. Пункта, обязывающего предоставлять приличные кровати, нет. Хотя добиться этого было бы совсем просто — гораздо проще, чем искоренить азартную игру. Содержатели ночлежек должны были бы обеспечивать жильцов достаточно пригодными матрасами и постельным бельем, и прежде всего — сделать в спальнях перегородки. Неважно, сколь мал будет отдельный бокс, — важно, что человеку необходимо спать в одиночестве. Всего несколько дополнительных, строго обязательных пунктов дали бы огромные перемены. Ночлежки можно оборудовать с разумным комфортом даже при нынешних расценках. В муниципальном ночлежном доме Кройдона за

девять пенсов и нормальные кровати, и стулья (уникальная для ночлежек роскошь), и кухня с окнами, а не под землей. Почему бы и прочим девятипенсовым ночлежкам не достичь того же уровня.

Разумеется, владельцы, имея сейчас колоссальный доход, станут *en bloc*[131] противиться любому изменению. В среднем ночлежка за ночь приносит от пяти до десяти фунтов, причем злостных должников тут практически не бывает (кредит строжайше запрещен), а расходы, за исключением арендной платы, мизерны. Всякое улучшение условий означало бы уменьшение толкотни, то есть снижение прибыли. Тем не менее пример муниципальной ночлежки в Кройдоне показывает, что и за девять пенсов хорошо обслуживать **возможно**. Несколько верно направленных законодательных параграфов везде создадут человеческие условия. Если власти вообще намерены заниматься ночлежными домами, то начинать надо с реальных удобств, а не дурацких запретов, которых никогда не допустили бы в гостинице.

---

[131] notes: 131
Единой массой, сплотившись *(фр.)*.

38

На пути из Нижнего Бинфилда мы с Падди заработали полкроны, прополов и убрав чей-то садик, и потом, после ночевки в Кромли, снова явились в Лондон. И через день-другой расстались. Я одолжил у друга Б. еще два фунта, в последний раз, так как до конца передряг оставалось продержаться всего неделю. Мой наконец прибывший дебил оказался не столь хорош, как я предполагал, но не настолько плох, чтобы мне захотелось обратно в торчок или в «Трактир Жана Коттара».

Падди пошел на Портсмут, где какой-то приятель вроде бы мог помочь найти работу, с тех пор я его никогда не видел. Недавно до меня дошел слух, что он попал под колеса и погиб, но, может быть, сообщивший просто перепутал его с кем-то. Буквально позавчера я получил известие о Чумаре: сидит в кутузке — две недели за нищенство. Не думаю, что тюрьма его сильно беспокоит.

Здесь я закончу свою историю. Историю довольно тривиальную, могу лишь надеяться, что она будет неким образом интересна как вариант этнографического дневника. Я просто рассказал — есть мир, он совсем рядом и он ждет вас, если

вы вдруг окажетесь совсем без денег. Этот мир мне еще непременно надо будет изучить глубже и точнее. Я очень бы хотел узнать таких людей, как Марио, или Падди, или скулежник Билл не по случайным встречам, а близко, по-настоящему; я очень бы хотел понять, что же действительно творится в душах плонжеров, бродяг, постоянных жильцов набережной. Пока, конечно, мне приоткрылся лишь краешек нищеты.

Но все же кое-что, слегка хватив бедняцкого лиха, я усвоил. Я никогда уже не буду думать о бродягах, что все они пьяницы и мерзавцы, не буду ждать благодарности от нищего, которому я кинул пенни, не буду удивляться слабоволию тех, кого выгнали с работы, не буду опускать монеты в кружку Армии спасения, отказываться на улице от рекламных листовок и наслаждаться угощением в шикарных ресторанах. Начало есть.

1933

Дорога на Уиган-Пирс

Часть первая
1

Первым утренним звуком был топот фабричных работниц, грохотавших по булыжнику деревянными подметками. По-видимому, еще раньше раздавался фабричный гудок, но он меня ни разу не разбудил.

Рассчитанную на четверых постояльцев спальню, довольно гнусную берлогу, отличала неуютность помещений, используемых не по назначению. Сняв год назад обычный жилой дом и приспособив его под лавочку, торгующую требухой, и меблированные комнаты, Брукеры не сподобились набраться сил да выкинуть кое-какой доставшийся вместе с жилищем хлам, так что спали мы, квартиранты, в том, что еще опознавалось как гостиная. С потолка свисала тяжеленная стеклянная люстра, обросшая пылью, будто мехом. Вдоль одной из стен громоздилось резное чудище, нечто среднее между буфетом и витриной, с массой выдвижных ящичков и зеркальных вставок. Кроме того, имелись когда-то цветастый, линялый как половая тряпка ковер, два стула с

позолотой и драными сидениями, а также одно из тех старомодных, набитых конским волосом кресел, с которых ты, стараясь усидеть, непременно соскальзываешь. Превращение в спальню совершилось путем впихивания среди этой рухляди четырех коек.

Моя кровать стояла в правом углу, около самой двери. Поскольку вторую кровать установили впритык, поперек моей (дабы позволить двери открываться), спал я, поджав ноги, — распрямленные, они пинали бы в поясницу соседа. Им был пожилой человек, мистер Рейли, механик «наверху» одной из шахт. По счастью, ему требовалось отправляться на работу в пять утра, благодаря чему я мог наконец вытянуться и хоть пару часов поспать нормально. Койку напротив занимал шахтер шотландец, пострадавший в забое при обвале (его придавило каменной глыбой, которую удалось сдвинуть лишь через два часа) и получивший за увечье пять сотен фунтов компенсации. Сорокалетний богатырь, седеющий, с короткими усами — типаж старшего сержанта, он допоздна валялся на кровати, куря коротенькую трубочку. Четвертым спальным местом пользовались коммивояжеры, распространители газет, рекламные агенты и прочий кратковременно

гостивший люд. Эта кровать была двуспальной, значительно комфортней остальных. Я сам провел на ней первую здешнюю ночь, затем меня переместили ради нового клиента. Полагаю, все вновь прибывшие в первую ночь нежились на двуспальном ложе, служившим своего рода приманкой. Окна, по низу плотно забитые красными мешками с песком, никогда не отворялись, и утром комната воняла, как клетка хорька. Проснувшись, ты этого не замечал, но, стоило тебе выйти и вернуться, запашок крепко шибал в нос.

Я так и не узнал, сколько же в доме было спален, однако — диво дивное — там со времен еще до Брукеров имелась ванная. Внизу стандартная для подобных жилищ кухня-столовая с гигантской открытой плитой, топившейся круглые сутки. Дневной свет только через потолочный люк, поскольку с одной стороны был магазин, а с другой — кладовая, из которой шел ход в некое сумрачное подземелье с запасом рубца. Частично перекрывая дверь кладовой, раскинулся бесформенный диван, на котором в ворохе грязных одеял возлежала владелица нашего пансиона, постоянно недомогавшая миссис Брукер. Суть заболевания этой дамы с большим желтовато-бледным и страдальчески озабочен-

ным лицом оставалась неясной; подозреваю, что единственной причиной ее нездоровья являлось переедание. Перед плитой почти всегда висело сохшее на веревке белье, в центре комнаты стоял широкий кухонный стол, за которым ели и члены семьи, и постояльцы. Непокрытым я этот стол ни разу не видел, но мне доводилось разглядывать устилавшие его слои. В самом низу старые газеты, заляпанные соусом, затем липкая белая клеенка, затем кусок зеленой саржи, а поверх всего грубая льняная скатерть, которую вытряхивали редко и не меняли никогда. Крошки от завтрака встречали тебя и за ужином. У меня вошло в привычку, подметив специфические крошки, изо дня в день наблюдать их передвижение по столу.

Торговое помещение было узким и холодным. Звездочками в ночи белели приклеенные снаружи к стеклу грязного витринного окна остатки старых рекламных листовок шоколада. На мраморной стойке лежали огромные свернутые пласты очищенного белого рубца, рядом нечто темное и мохнатое под названием «черный рубец» и призрачно светящиеся свиные ножки. Типичная лавчонка, где клиентам предлагается «тушеный горох с требухой» и мало что еще кроме хлеба, сигарет и консервов. Витрина также

зазывала «чаем», однако просьбы относительно него обычно с извинением отклонялись.

Мистер Брукер, бывший шахтер, уже два года безработный, всю жизнь наряду с горняцким трудом занимался тем или иным предпринимательством. Одно время они с женой держали паб, но потеряли лицензию на азартные игры в своем заведении. Вообще я сомневаюсь, давал ли выгоду какой-либо их бизнес; похоже, они были из тех, кто заводит коммерческое дело, главным образом, чтобы ворчать по поводу убытков. Темноволосый, мелкий в кости, внешне похожий на ирландца, вечно угрюмый мистер Брукер изумлял неопрятностью. Мне не припомнить его с чистыми руками. Ввиду инвалидного состояния миссис Брукер кормлением жильцов большей частью распоряжался он и, как свойственно грязнулям, делал это сколь неряшливо, столь и медлительно. На поданном им бутерброде всегда красовался черный отпечаток большого пальца. Даже когда он ранним утром отправлялся в таинственную пещеру позади дивана миссис Брукер вытащить из подпола очередную часть продаваемой требухи, руки у него уже были черными. От квартирантов я слышал жуткие рассказы насчет места хранения рубца; говорили, что там кишмя

кишат тараканы. Не знаю, как часто хозяева заказывали свежую партию товара, но интервалы явно были длительны, ибо миссис Брукер имела обыкновение датировать ими давние случаи: «Дайте-ка вспомнить, с тех пор мне уж три раза заморозку /мороженый рубец/ привозили...». Нам, постояльцам, данный рубец к столу никогда не подавали. Тогда мне представлялось, что из-за экономии дорогого продукта, теперь я думаю — просто по причине нашей слишком хорошей осведомленности о нем. Сами Брукеры, как я заметил, свой рубец тоже никогда не ели.

Постоянными жильцами были только шахтер шотландец мистер Рейли, два престарелых пенсионера и безработный на госпособии, который звался Джо (личности его типа фамилий как бы не имеют). Шотландец при тесном общении оказался занудой. Подобно многим потерявшим работу, он слишком много времени проводил за чтением газет, так что, если ему не препятствовать, часами мог разглагольствовать о вещах наподобие «желтой угрозы», дорожных убийств, астрологии или конфликта между наукой и религией. Двух стариков, как полагается, приговорила доживать в чужом углу официальная система по назначению пенсий неимущим. Вручая Бру-

керам свои еженедельные десять шиллингов, пенсионеры получали то, чего можно ждать за эту сумму: койку на чердаке и питание, состоявшее, в основном, из хлеба с маргарином. Один из них, так сказать «старший», угасал от какой-то зловещей хвори (видимо, от рака), поднимаясь с постели лишь в те дни, когда приходилось ходить за пенсией. Другому, по прозвищу Старый Джек, было семьдесят восемь лет, из которых он больше пятидесяти проработал в шахте. Он сохранил и живой ум, и темперамент, но, что удивительно, помнил, казалось, только опыт своей юности, начисто позабыв о механизмах и прочих новшествах современных шахт. Старик любил мне рассказывать об укрощении впряженных в вагонетки, дико лягавшихся в узких штольнях лошадей. Узнав же о моей договоренности побывать в угольном забое, он презрительно заявил, что таким долговязым, как я (рост мой шесть с половиной футов), «ходку» по штрекам нипочем не одолеть, и убеждать его в определенном улучшении условий этих «ходок» было бесполезно. А вообще, он щедро проявлял дружелюбие и, перед тем как вскарабкаться к своей койке под самой крышей, всегда учтиво кидал на прощание: «Спокойной ночи, ребята!». Но больше всего в Старом

Джеке меня восхищало абсолютное нежелание попрошайничать — оставаясь к концу недели без крошки табака, он неизменно отказывался угоститься чужим куревом. Брукеры застраховали жизни дряхлых жильцов договорами с полисным взносом шесть пенсов в неделю. Кто-то подслушал разговор, когда они тревожно допытывались у страхового агента: «Долго ль живут-то эти, у которых рак?».

Джо, будучи, как и шотландец, заядлым читателем газет, целыми днями просиживал в бесплатной городской библиотеке. Весьма запущенного и заброшенного вида типичный безработный холостяк с наивно-презрительной миной на круглым, почти детском лице, выглядел он скорее беспризорным юнцом, чем мужчиной. Подобного рода моложавость, мне представляется, чаще всего идет от полной личной безответственности. Увидев Джо, я решил, что ему лет двадцать восемь, и был поражен, узнав, что сорок три. Джо любил пышные фразы и чрезвычайно гордился собственной проницательностью, позволившей избежать женитьбы. «Брачные узы — тяжкие оковы», — нередко повторял он мне, с очевидным ощущением своей мудрости и тонкости замечания. Шесть-семь из пятнадцати шиллингов его

еженедельного пособия уходили на оплату койки у Брукеров. Иногда случалось видеть, как он в кухне варганит себе чашку чая, но питался Джо где-то вне дома; главным образом, я полагаю, маргариновыми бутербродами и жареной рыбой с чипсами.

Кроме постоянных жильцов гостевала всякая временная публика: потертые коммивояжеры, заезжие артисты (непременно пошловатых жанров, поскольку приглашались они для популярных на севере воскресных эстрадных выступлений в больших пабах), агенты по распространению газет. Братию газетных распространителей я прежде не встречал. Их труд мне показался настолько ужасным, настолько безнадежным, что возникал вопрос, как, с возможной альтернативой посидеть в тюрьме, можно выбрать и вынести такое. Нанятых издателями воскресных еженедельников, агентов-распространителей снабжают картами со списком улиц и отправляют по городам «окучивать» определенные кварталы. Не сумевших гарантировать двадцать ежедневных заказов увольняют. Постоянное выполнение этой нормы дает крохотное жалование — два фунта в неделю; плюс, надо полагать, некий мизерный процент с каждой подписки.

Дело вообще-то не совсем нереальное, ибо в рабочих районах каждое семейство выписывает какой-нибудь дешевый еженедельник, довольно часто меняя свои предпочтения. Однако долго ли продержишься в лямке распространителя? Газеты нанимают отчаявшихся бедолаг (потерявших место клерков, мелких торговых агентов и т. п.), которые ценой неимоверных усилий добывают нужный минимум, но как только, выжатые до капли, они снижают показатель, их выкидывают и нанимают новых. Я познакомился с двумя распространителями общеизвестного еженедельника из числа крайне скверных. Оба содержали свои семьи, оба были немолоды, один уже стал дедом. После десяти часов на ногах, «окучив» предписанные улицы, они потом до поздней ночи сидели, заполняли пустые бланки рекламными обещаниями «призов» — надувательских штучек типа того, что, если вы, оформив подписку на полтора месяца, приложите к почтовой квитанции два шиллинга, вам подарят набор мисок. Толстяк, имевший внуков, обычно засыпал, уронив голову на ворох бланков. Ни тот, ни другой не могли себе позволить платить Брукерам за полный пансион. Оплачивая только спальные места, они стыдливо закусывали в углу кухни припасенными в чемо-

данах хлебом, маргарином и обрезками бекона.

У Брукеров имелось много сыновей и дочерей, большинство которых давно сбежали из дома. Некоторые осели в Канаде — «на Канаде», как выражалась миссис Брукер. Рядом жил лишь один сын, свиноподобный детина, работавший в гараже и регулярно приходивший в родительский дом, чтобы поесть. Здесь же целыми днями находилась его жена с двумя ребятишками, не ней лежала основная часть стряпни и стирка, в чем ей помогала Эмми, невеста другого сына, обитавшего в Лондоне. Белесенькая, остроносенькая, понурая Эмми за какую-то нищенскую зарплату трудилась на заводе, а вечерами еще рабски пахала на Брукеров. Свадьба ее все откладывалась и, как я понял, вряд ли могла состояться, зато миссис Брукер уже впрягла ее как невестку, изводя брюзжанием с особо свойственной инвалидам неотступной придирчивостью. Прочая домашняя работа исполнялась — или не исполнялась — мистером Брукером. Хозяйка редко вставала со своего дивана в кухне (ночь она проводила там же) и была слаба для любого действия кроме поглощения пищи в гигантских количествах. Так что Брукер и обслуживал клиентов в лавке, и подавал еду жильцам, и «прибирался» в спаль-

нях, невообразимо затягивая процесс каждого из ненавистных дел. Кровати нередко оставались не заправленными до шести вечера, и в любой час дня можно было встретить на лестнице Брукера, несущего полный ночной горшок, ухватив большим пальцем посудину за край. Утром он сидел у плиты и над ведром грязной воды чистил картофель со скоростью замедленной киносъемки. Трудно представить, что чистка картошки может внушать столь глубокое возмущение. «Чертова бабская возня», как называл он подобные занятия, вырабатывала в его организме некую едкую горечь. Брукер был из породы тех, кто бесконечно жует свои обиды, словно жвачку.

Подолгу оставаясь в доме, я, разумеется, выслушивал подробные отчеты о бедах Брукеров: очередной обидчик обманул их, отплатив черной неблагодарностью, лавка не окупается и содержание жильцов почти не дает прибыли... По местным меркам они не так уж бедствовали (от «Проверки средств»[132] с возможностью получать пособие по безработице, Брукер почему-то уклонялся), но плаксивые излияния любому,

[132] notes: 132

«Проверка средств» (Means-Test) — официальное обследование финансового уровня для определения прав на различные государственные субсидии.

согласному слушать, составляли их главное удовольствие. Громоздясь на диване рыхлой кучей жира и нытья, миссис Брукер часами тянула одно и то же: «Клиентов нету. Прям я даж не знаю, что такое. Рубец-то на прилавке лежит да лежит, а уж какой прекрасный-то рубец! Не тяжко ль так-то вот?». Завершавшее очередную жалобу «не тяжко ль так-то вот?» звучало будто рефрен старинных баллад. Лавка, надо полагать, действительно не окупалась; царившая в ней мерзость запустения демонстрировала очевидный упадок бизнеса. Но совершенно бесполезно было бы объяснять, почему даже желающий что-то купить прохожий зайти внутрь не решается, — ни хозяин, ни хозяйка не могли уразуметь, что валявшиеся в витрине лапками вверх дохлые прошлогодние мухи торговле не способствуют.

Однако что по-настоящему терзало Брукеров, так это мысль о двух старых пенсионерах, живущих в доме, занимающих кровати, получающих еду и дающих за все лишь по десятку шиллингов в неделю. Сомневаюсь, что хозяйские траты превышали эту сумму, хотя, конечно, доходы тут были крайне невелики. Но стариканы в глазах Брукеров являлись севшими на шею паразитами, которых содержат из милости. Старого

Джека еще кое-как терпели, поскольку днем он уходил из дома, но вот прикованный к постели старый Хукер (хозяин специфично произносил его фамилию, опуская первую букву и растягивая «у» — «Уукер»[133]) вызывал просто ярость. Чего только я не наслушался насчет старика Хукера, его капризности, мучений перестилать его постель, его блажи насчет еды (того, вишь ли, ему «не хочется», сего «не хочется»), беспредельной его неблагодарности, а главное — упрямства, с которым дряхлый эгоист отказывался умирать! Брукеры весьма откровенно жаждали его смерти. Тогда, по крайней мере, им выдали бы деньги по страховке. Казалось, они ощущали нахлебника, лежащего наверху и день за днем их объедающего, как червя, непрестанно гложущего их кишки. Отрываясь от чистки картофеля, хозяин, поймав мой взгляд и мотнув головой к потолку, к чердаку с жильцом, ронял с невыразимой горечью: «Во б..., а?». Пояснять что-либо мне, хорошо осведомленному о всех пороках старого Хукера, не требовалось. Впрочем, у Брукеров имелись свои претензии к каждому из квартирантов (несомненно, включая и меня). Живший на пособие по

[133] notes: 133

В Англии произношение слов с пропуском начального звука «h» (эйч) характеризует вульгарный, простонародный выговор.

безработице Джо входил в ту же категорию, что старики пенсионеры. Шотландец платил фунт в неделю, но редко покидал жилье, и хозяевам не нравилось что «вечно он тут торчит». Газетных распространителей не бывало по целым дням, но недовольство вызывало их питание собственным продовольствием, и даже лучший жилец Брукеров, механик Рейли, был в немилости, ибо, по словам хозяйки, будил ее, топая вниз из спальни рано утром. Брукеры бесконечно ныли, что никак не заполучить «солидных бизнесменов», вносящих плату за полный пансион и занятых своей коммерцией вне дома. Идеальным постояльцем им виделся некто, кто давал бы тридцать шиллингов в неделю, а приходил бы только ночевать. Вообще, как я заметил, люди, сдающие жилье, почти всегда ненавидят квартирантов. Деньги от них они хотят, но самих их воспринимают как вторгшихся врагов и бдительно следят за ними с особой ревностью от нежелания, чтобы жилец вел себя чересчур уж по-домашнему. Все это, конечно, плоды дурной системы, что вынуждает человека селиться в чужом доме, в чужой семье.

Еда у Брукеров подавалась однообразно скверная. На завтрак ты получал два ломтика бекона, бледное жареное яйцо и куски хлеба с маслом,

нередко приготовленные накануне и с неизменным отпечатком большого пальца. Мои попытки деликатно испросить позволение самому делать себе бутерброды успеха не имели, Брукер по-прежнему изготовлял их мне своими грязными руками, оттискивая на каждом четкую темную метку. Обед обычно состоял из консервированного мясного пудинга (думаю, в ход тут шли запасы не проданных в своей лавчонке трехпенсовых банок), вареного картофеля и рисового пудинга. К чаю предлагалось много хлеба с маслом и лежалого вида кексы, закупаемые, вероятно, как «вчерашняя выпечка». На ужин белесый и дряблый ланкаширский сыр с дешевым сухим печеньем, которое, однако, хозяева печеньем не называли, почтительно именуя «сливочным крекером» («возьмите-ка еще сливочный крекер, мистер Рейли, сливочный крекер к сыру так хорош...») и тем несколько маскируя факт, что единственным вечерним блюдом являлся сыр. Постоянно присутствовали на столе несколько бутылочек острого ворчестерского соуса и заполненная до середины банка джема. Соусом было принято поливать все вплоть до сыра, однако я никогда не видел, чтобы кто-нибудь рискнул угоститься джемом, представлявшим собой омер-

зительно засохшую бурую массу. Миссис Брукер ела отдельно, не упуская также случай закусить при каждой общей трапезе и весьма ловко устроить себе «капельку заварки», что означало чашку крепчайшего чая. В виде салфетки она использовала одеяло, а под конец моего пребывания завела моду утирать губы обрывками газет, из-за чего пол с утра усеивала гадость подолгу не выметавшихся сальных бумажек. Запах в кухне стоял ужасный, но, как и вонь в спальне, такую неприятность довольно скоро перестаешь замечать.

Пристанище было вполне нормальным для промышленных районов, что подтверждалось отсутствием каких-либо претензий со стороны жильцов. Единственным исключением при мне стал маленький черноволосый и остроносый кокни[134], агент табачной фирмы. На север страны он прежде не ездил, имея, надо полагать, работенку получше и останавливаясь в номерах повыше классом. Впервые ему пришлось столкнуться со столь убогим пансионом, приютом жалкого кочующего племени зазывал и распространителей. Утром, пока мы одевались (спал этот лондонец, конечно, на двуспальном ложе), я увидел в его

[134] notes: 134
Рядовой лондонец; тип бойкого столичного жителя.

озиравшихся глазах некое вопросительное отвращение. Глянув на меня и мигом распознав во мне земляка из южных областей, он с чувством бросил: «Чертовы скоты!». После чего собрал чемодан, спустился и твердо заявил Брукерам, что к жилью подобного сорта не привык, а потому немедленно съезжает. Брукеры остались в горестном недоумении. Их оскорбили до глубины души. Какая неблагодарность! Лишь разок переночевав, вдруг съехать невесть почему! Впоследствии хозяева многократно и всесторонне обсуждали этот случай. К перечню их обид добавилась еще одна.

В день, когда за завтраком под столом обнаружился ночной горшок, я решил, что пора попрощаться. Местожительство начинало действовать угнетающе. Не только грязь, вонь и отвратная еда, но ощущение одуряющей стоячей гнили в какой-то норе, где люди, копошась как тараканы, бесконечно заняты лишь неопрятной возней и нытьем. Самое кошмарное у подобных Брукерам — манера без конца нудить одно и то же. Возникает ощущение, что это вообще не люди, а призраки, вечно бубнящие свой вздор. Хнычущие жалобы миссис Брукер — по неизменному списку обид, с неизменным скулящим припевом «не тяжко ль так-то вот?» — допекли

меня даже больше, нежели ее обычай утирать рот обрывками газет. Есть, конечно, вариант, назвать всяких там Брукеров просто противными и позабыть о них, но ведь таких десятки, сотни тысяч, и они характерный побочный продукт современного мира. Принимая цивилизацию, их породившую, игнорировать их невозможно, поскольку такова уж часть даров промышленной эпохи. Колумб переплыл Атлантику, застучали двигатели первых паровых машин, верные традициям честные британцы одолели французские пушки при Ватерлоо, бесчестные бандиты девятнадцатого века, молясь Господу, набили себе карманы, — и все это вело сюда: в лабиринты трущоб, тесноту полутемных задних кухонь, где удручающе тоскливый, хилый люд копошится по-тараканьи муторно и монотонно. Есть своего рода долг вновь и вновь наблюдать, обонять (в особенности — обонять) подобные местечки, дабы не забывать, что они существуют. Хотя, пожалуй, слишком задерживаться там не стоит.

Поезд уносил меня вдаль, сквозь чудовищный ландшафт с терриконами шлака, дымящими трубами, грудами чугунного лома, грязными каналами, перекрестьями черных как сажа троп, затоптанных угольной пылью с подошв шахтер-

ских башмаков. Несмотря на март стоял жуткий холод, и всюду темными от копоти валами лежал снег. В городском предместье мимо медленно ползущих вагонов потянулись теснившиеся перпендикулярно к железнодорожной линии ряды убогих серых домишек. На одном из задних двориков молодая женщина, став на колени, тыкала палкой в отверстие свинцовой спускной трубы, шедшей от внутреннего и, видимо, засорившегося слива. У меня было время хорошенько рассмотреть ее — ее холщовый фартук, неуклюжие бахилы, красные от холода руки. А когда она вскинула голову на проходивший поезд, я, находясь довольно близко, поймал ее взгляд. Круглое бледное лицо, изнуренное лицо обычной трущобной девушки, которая в свои двадцать пять выглядит сорокалетней, и на нем, за секунду глаза в глаза, мне открылось самое безутешное выражение горечи и безнадежности. До меня вдруг дошло, как ошибаемся мы, говоря, что «им ведь все это совсем не так, как было бы для нас», что трущобному жителю и не представить ничего кроме трущоб. Нет, страдание в ее лице не было неосознанной животной мукой. Девушка превосходно знала, не хуже меня понимала, каково ей приходится, что за жуткая участь — в лютый

холод стоять во дворе коленями на осклизлом камне и палкой прочищать помойный водосток.

Однако очень скоро поезд выехал на простор, и природа увиделась чем-то странным, почти искусственным наподобие парка, — индустриальные районы наполняют ощущением, что дым и грязь повсюду и нет клочка земли без этого. В небольшой густонаселенной, сплошь прокопченной стране вроде нашей загаженность как бы в порядке вещей. Горы шлака и заводские трубы кажутся пейзажем нормальным, более естественным, чем трава и деревья, и даже в сельской местности, втыкая в землю вилы, привычно ожидаешь вывернуть из почвы бутылку или ржавую жестянку. Но здесь белели чистые пышные снега, и лишь верхушки каменных межевых стенок вились по холмам темными дорожками. Мне вспомнилось, как Дэвид Лоуренс[135], описывая этот или близкий этому ландшафт, говорит о волнистых заснеженных холмах, что зыблются вдали «подобно мускулам». Я бы употребил иное сравнение: на мой взгляд, снег с темневшими извивами каменных стенок напоминал белое

[135] notes: 135

Лоуренс, Дэвид Герберт (1885–1930), английский романист, поэт и эссеист, родился в поселке Иствуд (графство Ноттингемшир) в семье шахтера.

платье, расшитое черным кантом.

Хотя снег лишь слегка подтаял, солнце сияло ярко и сквозь плотно закрытое вагонное окно чудилось даже гревшим. По календарю наступила весна, и кое-кто из птиц, похоже, верил в это. Впервые в жизни, на проталине вблизи полотна, я увидел спаривание грачей, происходящее, оказывается, вовсе не на ветвях. Церемония ухаживания выглядела любопытно: дама стояла, разинув клюв, а кавалер, кружа вокруг избранницы, словно кормил ее. Всего полчаса я ехал в поезде, но, казалось, громадное расстояние пролегло от задней кухни Брукеров до этих пустынных снежных склонов, сверкающего солнца и больших, глянцево блестевших птиц.

Промышленная область нашего севера, в общем, действительно один огромный город с населением примерно равным числу жителей Большого Лондона, но, к счастью, с гораздо более обширной территорией, благодаря чему там еще остается место для пятачков чистоты и благопристойности. Ободряющий момент. Несмотря на упорные попытки запакостить все вокруг, человек в этом пока преуспел не до конца. Земля так велика, что даже в смрадной сердцевине цивилизации найдешь поля зеленой, не посеревшей

от дыма травы; существует даже вероятность обнаружить речки, в которых вместо банок из-под консервированной лососины водится живая рыба. Долго-долго, чуть не целых двадцать минут, поезд катил по просторам холмистых полей, прежде чем пейзаж вновь начал окультуриваться скопищами пошлых загородных вилл, а затем вновь трущобные окраины, коптящие трубы заводов, доменные печи, каналы, башни газгольдеров и прочие атрибуты индустриального города.

2

Наша цивилизация, как отмечает Честертон, в гораздо большей мере, чем принято думать, базируется на угле. И машины, что обеспечивают нашу жизнь, и машинное производство этих машин прямо или косвенно зависят от угля. В циркуляции организма Западного мира шахтер по важности на втором месте после землепашца. Атлант, на чьих плечах почти все остальное, не перемазанное угольной пылью. Так что, если есть случай и готовность к определенным испытаниям, процесс угледобычи весьма стоит того, чтобы его понаблюдать.

Спускаясь в шахту, важно оказаться в забое, когда там трудятся «навальщики». Это непросто, ибо посторонние мешают работе и не приветствуются, однако визит в другое время создаст ложное впечатление. По воскресеньям, например, шахта выглядит вполне безобидно. Приходить надо, когда грохочут механизмы, клубится угольная пыль и видно, что такое шахтерский труд. В рабочие часы шахта подобна аду (по крайней мере, моему представлению о преисподней). Налицо почти все, что людям мерещится в аду: удушливое пекло, темень, шум, сумятица и, прежде всего, невыносимо тесное пространство. Всё кроме адского огня, поскольку здесь лишь слабый свет рудничных ламп и электрических фонариков, лучи которых едва пробивают густую угольную мглу.

Когда наконец доберешься до места (о самой вырубке рассказ чуть позже), то, одолев последний промежуток тоннельной крепи, оказываешься среди блестящих черных стен высотой три-четыре фута. Это «плоскость забоя». Наверху гладкий потолок скалы, из которой вырублен уголь, под ногами тоже скала, высота галереи определяется толщиной пласта и, соответственно, немногим

больше ярда[136]. Первое, что ошеломляет, на время перекрывая прочие ощущения, — жуткий грохот конвейерной ленты. Особенно далеко взгляду не проникнуть (свет твоей лампы тонет в клубах черной пыли), но по обеим сторонам прохода различаешь ряды полуголых, стоящих на коленях в четырех-пяти ярдах друг от друга людей, которые, совками набирая отколотый уголь, быстро кидают его через левое плечо — наполняют бегущую в ярде за спиной резиновую, шириной два фута, полосу прожорливого транспортера. Безостановочно течет искристая угольная река, унося в больших шахтах по несколько тонн в минуту. Где-то на магистральных путях уголь перегружается в шахтные вагонетки емкостью полтораста галлонов, подтягивается к стволу и клетью поднимается наверх.

Невозможно наблюдать «навальщиков» за работой без острого чувства зависти к их закалке. Труд у них по обычным меркам устрашающий, почти сверхчеловеческий. Надо не просто перебросить немыслимый объем угля, но сделать это в положении, которое удваивает или даже утраивает необходимые усилия. Работать посто-

---

[136] notes: 136
Ярд (3 фута) = 91,44 см.

янно приходится на коленях, в низкой пещере вообще не разогнуться, и ты, разок попробовав покидать уголёк, сразу поймешь, какой мощью тут нужно обладать. Стоя орудовать совком сравнительно легко, поскольку помогают и коленные и бедренные мышцы, но, опустившись на колени, работаешь лишь напряжением мускулов рук и живота. Да и все прочие условия дело не облегчают. Жара (уровень ее колеблется, но в большинстве шахт истинное пекло), забивающая горло и ноздри, залепляющая веки угольная пыль и непрерывно стучащий конвейер, шум которого в тесном пространстве, как грохот пулемета. Однако и работают, и выглядят навальщики, словно сделаны из железа. Под слоем ровно покрывающей их с головы до пят угольной пыли внешне они действительно как кованые статуи. Только увидев шахтеров обнаженными в забое, поймешь, сколь физически великолепны эти люди. Фигуры у большинства некрупные (высокий рост — помеха в их труде), но почти все прекрасно сложены: широкие плечи, мощные торсы, плавно суженные к гибким талиям, плотные маленькие ягодицы, мускулистые бедра и ни унции лишней плоти. В жарких шахтах на горняках лишь тонкие кальсоны, башмаки на деревянных подошве

и наколенники, в самых жарких — лишь башмаки и наколенники. На взгляд трудно отличить пожилых рабочих от молодых. Им может быть и шестьдесят, и даже шестьдесят пять, но, черные и обнаженные, все они выглядят похожими. Без молодого тела, без стройности, вполне годной для королевской гвардии, с шахтерским трудом не справиться, лишние фунты на талии работать в позе навальщика не позволят. Увиденное однажды зрелище — ряд черных лоснящихся фигур, что, стоя на коленях, выгнув спины, с невероятной энергией черпают и перекидывают уголь, — незабываемо. Смена шахтеров длится семь с половиной часов, теоретически без перерывов или каких-либо «отлучек». Фактически все же минут пятнадцать они умудряются выкроить, чтобы подкрепиться взятой из дому едой: обычно это «хлеб с дрипингом[137]» и бутылка холодного чая. Впервые попав в забой, я вляпался ладонью в какую-то слизкую гадость, что оказалась комком сплюнутой табачной жвачки. Жевать табак у шахтеров в ходу, считается — помогает от жажды.

Лишь несколько спусков в шахту позволяют

[137] notes: 137

Дрипинг (dripping) — популярный в британском рационе капающий с жаркого жирный мясной сок.

разобраться в том, что вокруг тебя происходит, так как впервые наблюдаемый процесс многократной погрузки-перегрузки угля не дает заметить что-то еще, до некоторой степени даже разочаровывает или, лучше сказать, не отвечает твоим ожиданиям. Заходишь в клеть — стальной ящик не шире телефонной будки, только раза в два-три длинней. Сюда плотно, как сардины в банке, набивается десяток человек; рослому гостю тут приходится слегка ссутулиться. Стальную дверь за тобой закрывают, и некто, управляющий с земли лебедкой, бросает тебя в пустоту. Секундный желудочный спазм, будто в момент автомобильного рывка, но движение ощущаешь не очень сильно, пока, ближе ко дну, спуск не затормозится так резко, что ты готов поклясться — вас снова рванули вверх. На середине пути скорость спуска до шестидесяти миль в час, в глубоких шахтах и больше. Выбравшись из клети, оказываешься под землей на глубине ярдов четыреста. Стало быть, сверху гора приличного размера: сотни ярдов твердых скальных пород, костей вымерших животных, подпочвенного грунта, кремневой гальки, растительных корней, травы и топчущих ее коров — все это у тебя над головой, подпертое лишь деревянными стойка-

ми не толще твоей руки. Причем из-за скорости, из-за полнейшей темноты, в которой летел вниз, чувствуешь себя на глубине гораздо большей, чем в тоннеле метро под Пиккадилли.

Что еще изумляет, так это протяженность штреков[138]. Раньше я смутно представлял шахтера, рубящего уголь где-то поблизости от опустившей его клети. Мне в голову не приходило, что до места работы ему нужно добираться ходами горизонтальных выработок примерно столько же, сколько от Лондонского моста до Оксфорд-серкус. То есть вначале, разумеется, ствол шахты пробивают рядом с угольным пластом, однако по мере разработки его ветвей, забой отодвигается дальше и дальше. В среднем — на милю, достаточно обычно — на три, а рассказывают про шахты, где от ствола до забоя целых пять миль. И никакого сравнения с расстояниями на земле. Здесь милю или три надо одолевать по боковым штрекам, учитывая, что даже в магистральном тоннеле редко где можно распрямиться во весь рост.

Первые сотни ярдов особых тягот не замечаешь. Идешь, пригнувшись, по тускло освещенной галерее шириной восемь-десять футов и около

[138] notes: 138

Штрек — горизонтальная горная выработка без непосредственного выхода на поверхность.

пяти футов высотой, со стенами из сланцевых пород, наподобие пещер Дербишира. Через каждую пару ярдов деревянные стойки с перекрытиями балок, многие из которых прогибаются такими дугами, что вынуждают тебя приседать. Ступать неудобно: под ногами кучи угольной крошки, зазубренные обломки сланца, а в сырых шахтах месиво грязи, как на скотном дворе. Кроме того, затрудняют шаг рельсы для шахтных вагонеток (нечто вроде миниатюрной железной дороги с ящиками, груженными рудой). Все припорошено сланцевой пылью, и ощущается присущий, видимо, всем шахтам удушливый запах газа. Видишь загадочные механизмы, назначение которых тебе вовек не понять, висящие на проводах связки инструментов и порой стаи убегающих мышей. Мыши — на удивление обычное явление в шахтах, особенно тех, где использовались или продолжают использоваться лошади. Интересно бы знать, как вообще эти мыши тут заводятся; возможно, просто падают в ствол шахты, ведь известно, что благодаря большому коэффициенту поверхности тела относительно веса, мышь без ущерба для себя способна падать чуть не с любой высоты. Прижавшись к стене, пропускаешь цепочку вагонеток, медленно ползущих на тяге

бесконечно длинного стального троса, приводимого в движение наверху. Пробираешься через завешенные мешковиной толстые деревянные двери, выпускающие вместе с тобой тугие волны воздушного потока. Двери эти — важный элемент системы шахтной вентиляции. Отработанный воздух выкачивается из штольни[139] посредством вентиляторов, а свежий через устье другой штольни втекает сам собой. Но естественное движение воздуха, выбирая в этом круговороте кратчайший путь, оставило бы глубокие штреки без проветривания, отсюда необходимость разделить тоннели частыми шлюзовыми перегородками.

Вначале идти пригнувшись даже несколько забавно, однако забавы такого рода быстро приедаются. Мне дополнительно мешала моя исключительная долговязость, но когда потолок снижается до четырех футов и менее, тут уже худо всем кроме ребенка или карлика. Мало того что надо согнуться пополам, ты еще должен так держать голову, чтобы видеть нависающие балки и успевать нырнуть под них. Соответственно,

[139] notes: 139

Штольня — вспомогательная, обычно наклонная (разведочная, эксплуатационная, вентиляционная и пр.) выработка с выходом на поверхность.

постоянное растяжение шейных мышц, хотя это ничто в сравнении с болью в бедрах и коленях. Через полмили начинается невыносимая, я не преувеличиваю, смертная мука. Возникает вопрос, как же ты доберешься до забоя, а главное — как ты сможешь вернуться? Шагаешь все медленней и медленней. На пару сотен ярдов попадаешь в коридор столь низкий, что вынужден продвигаться на корточках. Затем внезапно потолок взлетает на дивную высоту (вероятно, образовавшаяся еще в древности скальная полость), и ярдов двадцать можно пройти распрямившись. Ошеломляющее облегчение. Но затем снова длинный низкий коридор и череда балок, под которыми надо проползать. Опускаешься на четвереньки, что после ковыляния на корточках не так уж плохо. Правда, когда, протиснувшись под балками, хочешь подняться, выясняется, что колени временно отказались тебе служить. Позорно просишь о небольшой передышке, встречая сочувствие со стороны шахтера-проводника, который понимает разницу между собственной и твоей мускулатурой. «Осталось всего четыреста ярдов», — ободряет он, хотя для тебя это звучит не утешительнее «четырехсот миль». Наконец, с грехом пополам ты все же достигаешь искомого

пункта. Чтобы пройти эту милю тебе потребовался целый час; горняк подобный путь проделал бы втрое быстрее. На месте тебе первым делом необходимо несколько минут полежать, растянувшись в угольной пыли, дабы восстановилась способность наблюдать шахтерскую работу и что-либо соображать.

Возвращение тяжелее не только из-за дикой твоей усталости, но и потому, что дорога назад идет чуть в гору. Низкие участки проходишь с черепашьей скоростью и уже ничуть не стыдишься попросить об отдыхе, когда немеют колени. Даже нести лампу становится нелегко, и нарастает вероятность ее уронить, после чего, если это лампа Дэви[140], она гаснет. Все сложней пробираться под балками, иногда и подныривать забываешь. А когда, подражая горнякам, стараешься держать голову ниже плеч, ударяешься о перекладины спиной. Такое случается и с шахтерами, вот почему в жарких шахтах, где работают полуголыми, у большинства, по их выражению, «застежка на хребте» — то есть ряд застарелых струпьев вдоль позвонков. Спускаясь по наклонным штрекам,

[140] notes: 140

Безопасная рудничная масляная лампа с ограждающей пламя двойной металлической сеткой. Сконструирована в 1815 году английским физиком и химиком Хамфри Дэви.

шахтеры, ловко используя выемку в своих деревянных подошвах, становятся на вагонеточные рельсы и скользят вниз. Там, где «ходки» особенно трудны, у горняков с собой трости длиной около двух с половиной футов. На обычных участках трость держат за рукоятку, в самых низких местах, приседая на корточки, ее перехватывают ближе к основанию, где тоже сделано углубление для пальцев. Трости очень помогают идти. Кроме того, отличное недавнее изобретение — защитные деревянные шлемы. Они напоминают стальные армейские каски французов или итальянцев, только гораздо легче, внутри снабжены прокладкой и настолько прочны, что делают нечувствительным даже сильный удар по голове. Выбравшись наконец на поверхность, проведя в шахте часа три и одолев две мили по штрекам, ты обессилен больше, чем если бы протопал по земле двадцать пять миль. Еще неделю в ногах такое окостенение, что не присесть без героических усилий: опускаешься на стул специфическим образом, боком, не сгибая колен. Знакомые горняки, приметив твои негнущиеся ноги, подшучивают: «Что, не по вкусу шахтерская работенка?». Но даже опытный шахтер, если он долго не работал (по болезни, например), вернувшись к своему

труду, первое время терпит немало мучений.

Может показаться, что я сгущаю краски, однако всякий, спускавшийся в шахту старого образца (а большинство английских шахт именно таковы) и сам ходивший к месту вырубки, думаю, подтвердит мои слова. И вот о чем мне хочется сказать особо: кошмарные — отнимающие столько сил, сколько обычный человек тратит за день напряженных трудов, — хождения до забоя и обратно вообще не берутся в расчет, оставаясь просто неким приложением к шахтерскому делу вроде поездок к службе на метро. А ведь между двумя походами за смену шахтер еще бешено вкалывает свои семь с половиной часов. Мне никогда не приходилось добираться до угольного пласта больше мили, но зачастую здесь у горняка трехмильный путь, что для меня и прочего народа не шахтерских профессий физически оказалось бы совершенно невыполнимым. Вот этот момент всегда упускается из вида. В представлении о забое подземная глубина, тьма, духота, черные от угольной пыли рубщики, а мили, что необходимо осиливать по штрекам, как-то без всякого внимания. К тому же здесь и вопрос времени. Семь с половиной часов шахтерской смены не устрашают продолжительностью, однако сюда

следует добавить, по крайней мере, ежедневный час на «ходки», а чаще это два часа, порой и три. Формально «ходка», конечно, не труд, и за нее не платят, но сил она требует никак не меньше. Удобно ссылаться на то, что сами-де шахтеры не возражают против этого. Понятно, что подобные тяготы они переносят лучше, чем вы или я. Они с детства привыкли, у них должным образом развиты мускулы, они умеют двигаться под землей с потрясающим, даже жутковатым проворством. Пригнув голову, шахтер широким шагом несется там, где я, например, еле ковыляю, и видишь, как он в нужные моменты на четвереньках легко перепрыгивает ямы почти на собачий манер. Только не стоит полагать, что это ему доставляет удовольствие. Я разговаривал со многими шахтерами, все они признают «ходку» по штрекам действием весьма трудоемким. Достаточно послушать их собственные обсуждения работ в шахте: речь у них непременно зайдет насчет «ходок». Бытует мнение, что возвращаться со смены легче, чем идти на нее. Однако горняки единодушно утверждают, что их особенно изматывает обратный путь. Да, таково условие их шахтерских трудов, и они с этим вполне справляются, хотя, конечно, при огромных затратах сил.

Сопоставимо, на мой взгляд, с необходимостью перед работой и после нее взбираться на небольшую гору.

Побывав в двух-трех шахтах, начинаешь улавливать рабочие процессы под землей. (Должен, кстати, оговориться, что относительно технических сторон горной промышленности я абсолютнейший профан — просто описываю свои наблюдения). Уголь содержится в узких швах внутри скальных напластований, так что угледобыча по сути похожа на выковыривание центрального слоя из «неаполитанского» мороженого. В прежние времена шахтеры вручную отбивали уголь ломом и киркой — дело весьма небыстрое, поскольку в девственном состоянии уголь по твердости едва уступает камню. Теперь предварительный этап ведется электрической врубовой машиной, которая в принципе является чрезвычайно мощной ленточной пилой, режущей пласт не вертикально, а горизонтально прочнейшими двухдюймовыми зубцами. По воле направляющего пилу оператора машина может двигаться вперед или назад, попутно издавая грохочущий вой из самых жутких, что мне доводилось слышать, и вздымая угольную пыль тучами, которые не позволяют видеть дальше па-

ры шагов и почти не дают дышать. Подпиленная футов на пять в глубину часть пласта крошится, отбивается уже сравнительно легко. Тем не менее, в подготовке «неподатливых» участков требуются еще взрывные работы. Электрическим буром наподобие миниатюрного отбойного молотка подрывник высверливает ряд отверстий, заполняет их минным порохом, замазывает глиной, сам становится за углом, если таковой имеется (положено отходить на двадцать пять ярдов), и посылает разряд электрического тока. Все это не для дробления пласта, а лишь затем, чтоб сетью трещин ослабить его плотность. Хотя, конечно, иногда чересчур сильный заряд рушит угольную стену, а подчас и скальный потолок.

Далее навальщики откалывают уголь и совками швыряют на ленту транспортера, уносящего чудовищные груды весом до двадцати тонн. С конвейера груз поступает в шахтные вагонетки, цепь которых на стальном тросе безостановочно подтягивается по магистральному пути к подъемной клети. Наверху уголь сортируют, просеивая сквозь решетки и промывая в случае необходимости. «Мусор», то есть сланец, с предельной щедростью используют в устройстве подземных путей. Все, что не пригодилось, выкидывают

на поверхность, громоздя гигантские кучи «отвалов» — безобразных серых холмов, столь характерных в пейзаже шахтерских регионов. После извлечения угля, подпиленного врубовой машиной, забой углубляется футов на пять. Образовавшееся пространство за следующую смену оснащают новой секцией опор и балок; сюда, частично разобрав и заново собрав, передвигают конвейерную ленту. Отдельные фазы угледобычи по возможности ведутся в разные смены: машинная вырубка во второй половине дня, взрывные операции ночью (закон, не всегда соблюдаемый, требует проводить их в отсутствии работающих горняков), «навалка» в утренние часы.

Будучи даже внимательным, но лишь временным наблюдателем, пока не сделаешь ряд вычислений, не оценишь, с какой гигантской нормой справляется навальщик. Каждому из них положено взять уголь с участка шириной четыре-пять ярдов. Механически подрезанный вглубь на пять футов пласт в высоту имеет фута три или четыре, и соответственно человек должен выломать, перекидать на транспортер от семи до двенадцати кубических ярдов угля. Вес такого кубического ярда приблизительно тонна с третью — стало быть, требуется ворочать около двух

тонн в час. Моего личного землеройного опыта вполне достаточно для понимания того, что это значит. Копая у себя в саду канаву и перевернув за день пару тонн земли, я чувствую, что честно заслужил свой ужин. Но земля несравненно мягче, пластичнее угля, и мне не надо копать, стоя на коленях в страшно глубокой подземной норе, где изнываешь от жары, глотаешь угольную пыль при каждом вздохе, не надо также милю добираться до места работ, согнувшись пополам. Горняцкий труд мне столь же не по силам, как трюки на воздушной трапеции или чемпионство на Больших скачках. Хотя я не живу и, упаси боже, не собираюсь жить физическим трудом, какую-то мускульную работу я все же мог бы исполнять. Я мог бы при необходимости довольно сносно подметать улицы, садовничать и даже, пусть довольно бестолково, трудиться на ферме. Но никаким напряжением, никаким обучением и тренажом я не сумел бы сделаться шахтером, чья работа за несколько недель свела бы меня в гроб.

Глядя на горняков в забое, вдруг ощущаешь, сколь разнятся миры человеческого обитания. Под землей, где идет угледобыча, совсем особенный мир, о котором многие не знают вообще ничего. Возможно, большинству даже желатель-

но о нем не знать. Однако же тот нижний мир абсолютно необходим в пару нашему, верхнему. Едим ли мы мороженое, плывем через океан, печем хлеб или сочиняем книгу — фактически любое наше действие впрямую или косвенно связано с потреблением угля. Уголь требуется для всех мирных дел, а если вспыхивают войны, то тем более. Во времена восстаний шахтер должен продолжать трудится, иначе самой революции конец, — реакция нуждается в угле не меньше. При любых событиях на земле, уголь должен выдаваться на-гора бесперебойно (во всяком случае, без слишком долгих пауз). Чтобы Гитлер устраивал маршировки гусиным шагом, Римский папа обличал большевизм, матч по крикету собирал толпы на стадионе «Лордз», поэты славословили друг друга, — нужен уголь. А мы словно не ведаем о том; то есть, конечно, всем известно, что «уголь необходим», но мало кому, почти никому не интересно, как же он добывается. Вот я сижу, пишу перед своим уютным угольным камином. Хоть на дворе апрель, мне еще нужно греться у огня. Пару раз в месяц к дому подъезжает телега, грузчики в кожаных безрукавках втаскивают тугие, отдающие смолистым запахом мешки и с грохотом ссыпают топливо в подвал под лестницей.

Исключительно редко мозг мой специальным усилием сопрягает этот уголь с некими трудами в далеких шахтах. Просто «уголь» — нечто, чем надо запастись, твердое черное вещество, загадочно возникающее ниоткуда подобно манне небесной, с тем лишь отличием, что за него надо платить. Ты можешь запросто объехать на автомобиле весь север Англии, ни разу не вспомнив, что под тобой, сотнями футов ниже, идет шахтерская рубка угля. Между тем в известном смысле и движение твоей машины обеспечивают именно шахтеры. Их освещенный тусклыми лампами подземный мир для солнечного мира, как корень для цветка.

Не так давно условия в шахтах были значительно хуже сегодняшних. Еще живы старухи, работавшие в молодости под землей, на четвереньках таскавшие вагонетки с помощью прикрепленных к поясу, пропущенных между ног цепей. В этих упряжках ползали они обычно и во время беременности. Мне представляется, даже теперь, если б никак иначе, мы скорее бы примирились с трудом впряженных в угольные вагонетки беременных женщин, нежели лишили себя угля. Просто пришлось бы, разумеется, пореже мучить себя мыслями о тех бедняжках.

Так ведь со всеми видами физического черного труда: ими держится наше существование, но в думах наших они не присутствуют. Шахтер — ярчайший представитель сословия работяг не потому лишь, что труд его устрашающе тяжел, а еще потому, что, жизненно необходимый, труд его совершается вдали от нас, от наших глаз и позволяет не осознавать его, как не осознается бегущая по венам кровь. Смотреть на действия шахтеров неким образом даже унизительно. Мелькает неуверенность насчет себя-«интеллектуала» и вообще персоны более важной. До тебя вдруг доходит (по крайней мере, в этот момент), что все «вышестоящие» на высоте только за счет того, что горняки парят кишки в забоях. И вы, и я, и редактор Литприложения «Таймс», и стихотворцы, и архиепископ Кентерберийский, и товарищ Икс, автор «Марксизма для младенцев», — все мы нашим относительным благополучием обязаны чумазым до самых глаз, наглотавшимся шахтной пыли работягам, что своими стальной мощи руками без устали швыряют уголь на транспортер.

3

Когда шахтер поднимается наверх, даже сквозь черную угольную маску видно, как он бледен. Бледность из-за спертого, грязного воздуха в забое и постепенно она исчезает. Но впервые посетившему горняцкий север человеку с юга зрелище выходящих после смены нескольких сотен шахтеров кажется диковатым и несколько зловещим. Изнуренные лица с густой чернотой в каждой впадине выглядят свирепо. Потом отмытых горняков уже не очень отличишь от прочих местных жителей. Грубая мешковатая одежда скрывает их великолепное телосложение, а небольшой их рост малозаметен благодаря походке с очень прямой спиной и расправленными плечами (реакция на постоянную сгорбленность под землей). Точней всего шахтеры узнаются по синим черточкам на лбах и носах. Внешность каждого из них навек помечена этой характерной штриховкой. Постоянно клубящаяся в шахте угольная пыль, проникая в любую царапинку и зарастая кожей, разрисовывает лица своеобразной, фактически самой настоящей, татуировкой. У некоторых ветеранов лбы сплошь в синих прожилках напо-

добие сыра рокфор.

Поднявшийся шахтер первым делом прополаскивает горло, освобождая носоглотку от самой вредоносной пыли, затем идет домой и сразу или же не сразу, это согласно привычке, моется. По моим наблюдениям, большинство предпочитает сначала поесть, как и сам бы я поступил в подобных обстоятельствах. Нормальная картина — сидящий за столом шахтер с лицом исполнителя негритянских блюзов: абсолютно черным кроме розовых губ, отчищенных едой. После трапезы ставится, наливается таз, и шахтер очень тщательно моет руки, потом грудь, шею и подмышки, потом лицо и голову (на голове особенно толстая корка грязи), потом жена куском фланели моет ему спину. Принято мыть лишь верхнюю половину туловища, и впадина пупка, по-видимому, остается гнездом угольной пыли, но даже при этой частичной процедуре нужна немалая сноровка, чтобы обойтись одним тазом воды. Лично мне по возвращении из шахты потребовалось две полных ванны. Промывание запорошенных углем век уже целое дело минут на десять.

В некоторых крупных и лучше оснащенных шахтах наверху имеются ванные. Огромное пре-

имущество, поскольку горняки не только могут ежедневно — и весьма комфортабельно, даже роскошно — вымыться целиком, но благодаря индивидуальным шкафчикам с чистой и рабочей одеждой у черного как негр шахтера есть возможность через двадцать минут после смены отправиться на футбольный матч при полном параде. Однако подобный комфорт встречается довольно редко: угольный пласт не бесконечен, так зачем тратиться, всякий раз оборудуя банные удобства наверху вновь пробитого ствола. Не знаю точных цифр, но, похоже, мытье на шахте доступно лишь трети рабочих. У большинства, по-видимому, тело ниже пояса черным-черно, по крайней мере, шесть дней в неделю. Дома же вымыться от головы до ног им практически невозможно. Каждую каплю воды требуется нагреть, и в крошечных помещениях, где кроме кухонной плиты и прочей обстановки еще толкутся жена, дети, а часто и собака, просто нет места для установки ванны. Даже с тазом надо управляться осторожно, чтобы ненароком не плеснуть на мебель. Представителям среднего класса нравится рассуждать о том, что шахтер, как ни благоустраивай его жилище, все равно не станет мыться должным образом, но это чушь,

поскольку, когда ванные для выходящих после смены горняков имеются, то пользуются ими фактически все. Лишь среди самых пожилых рабочих порой еще гуляет опасение чересчур частым мытьем ног «нажить прострел». Кроме того, шахтерские ванны целиком или частично оплачивают сами горняки из собственного Фонда социальной помощи. Иногда долю вносит угольная компания, иногда это полностью за счет Фонда, но престарелым леди из пансионов Брайтона по-прежнему нравится твердить: «Дайте шахтеру ванну — он только уголь будет в ней держать».

А вообще даже удивительно, что шахтер моется так регулярно при том, как мало у него времени между работой и сном. Полагать, что его рабочий день длится семь с половиной часов, весьма ошибочно. Семь с половиной часов он трудится в забое, но, как я уже пояснял, сюда надо добавить минимум час, а то и три, на «ходки» по штрекам. Значительное время также уходит на дорогу до шахты. В индустриальных районах острейшая нехватка жилья, и только у жителей маленьких шахтерских поселков дома вблизи горной разработки. Горожанам почти всегда приходится добираться до шахт автобусом, полкроны в неде-

лю им обычно стоит транспорт. Один шахтер, у которого я квартировал, трудился в утреннюю смену. Смена эта длится с шести утра до половины второго, но он должен был подниматься без четверти четыре и возвращался домой после трех. В другом месте, где я останавливался, пятнадцатилетний подросток, работавший в ночную смену, уходил в девять вечера, затем, вернувшись в восемь утра, завтракал, вскоре ложился и до шести вечера спал. Так что свободного времени у него оставалось часа четыре в сутки (фактически гораздо меньше, учитывая время на еду, мытье и переодевания).

Для семейства подстраивать домашний распорядок к шахтерскому изменчивому графику, должно быть, чрезвычайно обременительно. С ночной смены шахтер приходит на завтрак вовремя, после утренней смены — в середине дня, после вечерней — уже ночью, и во всех вариантах ему сразу нужна основательная трапеза. Кстати, преподобный У. Р. Инге[141] в своей книге «Англия» упрекает шахтеров в обжорстве. Никак не могу согласиться. Едят они как раз на удивление немного. Те, рядом с которыми мне доводилось

[141] notes: 141

Инге, Уильям Ральф (1860–1954) — декан собора святого Павла в Лондоне, профессор теологии Кембриджского университета.

жить, обычно ели поменьше меня. Многие из них объясняют, что, плотно набив желудок перед сменой, трудно работать, а что касается пищи, которую они берут с собой (стандартно это хлеб с дрипингом и холодный чай), ею можно лишь слегка перекусить. Носят такой паек в подвязанных к поясу плоских жестянках, так называемых «захлопках». Вернувшегося с работы среди ночи голодного шахтера ждет жена, но, встав к утренней смене, горняк по традиции готовит себе завтрак сам. Очевидно, след не совсем угасшего суеверия, согласно которому увидеть женщину утром перед походом в забой — к несчастью. Говорят, в старину шагающий на утреннюю смену шахтер, встретив женщину, частенько поворачивал обратно и тем днем уже не работал.

До посещения угольных районов я разделял общую иллюзию насчет высоких шахтерских заработков. Постоянно слыша, что шахтеру платят 10–11 шиллингов за смену, путем несложной арифметики нетрудно вычислить доход около трех фунтов в неделю или полутора сотен в год[142]. Но здесь легко впасть в заблуждение.

[142] notes: 142

Речь идет о временах до перехода Англии на десятичную денежную систему, когда фунт равнялся двадцати шиллингам, а шиллинг — двенадцати пенсам.

Во-первых, тарифная ставка 10–11 шиллингов касается лишь непосредственных добытчиков угля, а прочие — скажем, установщики крепежа, — получают всего по 8–9 шиллингов. К тому же нередко оплата у добытчиков сдельная, за тонны, выданные на-гора, и тогда заработок очень зависит от качества угля; кроме того, поломка механизма или «разрыв» (скальная жила поперек угольного пласта) могут на день-другой оставить вовсе без заработка. В любом случае нельзя строить расчеты, исходя из шахтерского труда шесть дней в неделю, пятьдесят две недели в год. Почти всегда находятся причины для временного отстранения от работ. По данным отраслевой статистики средний заработок британского шахтера (без различия пола и возраста) в 1934 году составил 9 шиллингов 1,75 пенса за смену, и если бы все горняки трудились все рабочие дни, это действительно бы означало почти 2 фунта 15 шиллингов в неделю, то есть примерно 142 фунта в год. Однако реальный доход значительно ниже, так как расчет сделан по выплатам за отработанные смены, без учета вынужденных простоев.

Передо мной пять разных, выданных йоркширским шахтерам в начале 1936 года чеков на получение недельной зарплаты (недели эти не

подряд). В среднем тут получается приличная сумма — 2 фунта 15 шиллингов 2 пенса в неделю, почти 9 шиллингов 2,5 пенса за смену. Но эти чеки отражают ситуацию зимой, когда работа в шахтах идет полным ходом, а с наступлением весны торговля углем сворачивается и все больше шахтеров «временно увольняют»; тех же, кто формально продолжает трудиться, каждую неделю отстраняют на день или два. Из этого с очевидностью следует, что воображаемые 150 или даже 142 фунта годовых сильно завышают цифру действительных доходов. На деле средний заработок британского шахтера в 1934 году составил лишь 115 фунтов 11 шиллингов 5 пенсов. Суммы заметно колеблются в зависимости от региона, в Шотландии достигая цифры 133 фунта 2 шиллинга 8 пенсов, а в Дархеме не дотягивая до 105 фунтов. Данные взяты мною из книги мэра йоркширского города Барнсли Джозефа Джонса «Ведерко для угля». Мистер Джонс пишет:

«*Средние цифры* вбирают доход и молодежи, и опытных шахтеров, и начальства, и низшего персонала /.../ включают и неординарно высокий заработок, и солидные должностные оклады, и оплату сверхурочных.

Усредненные цифры не дают обнаружить по-

ложение тысяч взрослых рабочих, чьи доходы *существенно ниже* среднего показателя, кому платили только 30–40 шиллингов в неделю и даже меньше».

(Курсив мистера Джонса). Но прошу обратить внимание, что и указанный, столь мизерный доход выше тех сумм, которые реально попадают в руки шахтера. В одном районе Ланкашира мне дали типичный список еженедельных вычетов. Вот его пункты:

Страхование (по безработице или болезни).
Прокат шахтерских ламп.
Заточка инструмента.
Контроль весовщика.
Амбулатория.
Больница.
Фонд взаимопомощи.
Профсоюзные взносы.
— –
Итого.....

Ряд этих платежей (типа профсоюзных взносов или фонда взаимопомощи), так сказать, добровольно взят на себя шахтерами. Другие вычеты определяет угольная компания. Тут бывает по-разному; не всюду, например, шахтера жуль-

нически вынуждают платить за прокат лампы (выкладывая шесть пенсов в неделю, рабочий эту лампу покупает несколько раз в год), но, в целом, сумма индивидуального убытка примерно та же. По цифрам пяти йоркширских платежных чеков средний максимум недельной зарплаты 2 фунта 15 шиллингов 2 пенса, но после всяческих удержаний это лишь 2 фунта 11 шиллингов 4 пенса, — 3 шиллинга 10 пенсов съели вычеты. Причем, естественно, тут зафиксированы только отчисления, назначенные угольной компанией, а с учетом профсоюзных взносов было удержано более четырех шиллингов. О вычетах из недельной зарплаты каждого взрослого шахтера в размере примерно четыре шиллинга можно говорить уверенно. Таким образом, представленные статистикой 115 фунтов годовых это чистыми всего лишь около 105 фунтов. Мне возразят: зато ведь у шахтера есть дотация в виде права покупать уголь по льготной цене (по восемь-девять шиллингов за тонну). Однако, согласно выкладкам мистера Джонса, «средняя по стране сумма всех шахтерских компенсаций едва достигает четырех пенсов в день». Компенсация, которая в большинстве случаев способна покрыть лишь расходы на проезд до работы и обратно! Итак,

британский шахтер на руки получает и домой приносит не больше (скорее, чуть меньше) двух фунтов в неделю.

А сколько же угля при этом он добывает?

Годовой объем угледобычи в расчете на число рабочих отрасли довольно медленно, но постоянно растет. В 1914 на каждого шахтера приходилось 253 тонны, в 1934 — уже 280. Расчет этот, конечно, подразумевает горняков всех специальностей; добытчик в забое берет намного больше, нередко свыше тысячи тонн. Но даже среднестатистические «280 тонн» это весьма внушительно. Ярче всего сравнение шахтерской продуктивности с чьей-либо иной. Если я проживу до шестидесяти лет, то, вероятно, напишу около тридцати книг, которыми можно будет заполнить пару полок в стеллаже. Шахтер за это время даст 8400 тонн угля — достаточно, чтобы покрыть Трафальгарскую площадь двухфутовым угольным слоем или же обеспечить углем семь больших семейств на добрую сотню лет.

В пяти вышеупомянутых платежных чеках трижды возле фамилий горняков проставлен штамп «выбыл по причине смерти». Когда рабочий гибнет в шахте, его коллегам полагается сделать некоторый взнос для сбора средств вдове

погибшего (обычно по шиллингу, автоматически вычитаемому компанией из шахтерской зарплаты). Однако сколь выразительна деталь — специальный резиновый штемпель. Количество несчастных случаев в горняцком деле так велико, что это как бы в порядке вещей, словно при ограниченных военных действиях. Ежегодно один из девятисот шахтеров погибает, один из пяти получает увечье. Большинство травм, конечно, можно назвать мелкими, но, копясь и копясь, они доводят до полной инвалидности. А степень риска такова: работа в течение сорока лет оставляет шансов избежать увечья семь к одному и не более двадцати к одному — избежать смерти в недрах шахты. Никакой другой труд не приближается к шахтерскому по уровню опасности (следующая в угрожающем списке отрасль это торговый флот, где ежегодно гибнет один моряк из тысячи трехсот). Приведенные данные соотносятся с общим числом горняков, а для работающих под землей риск, разумеется, гораздо выше. Всякий долго трудившийся шахтер в беседах со мной непременно упоминал либо о собственном достаточно серьезном несчастном случае, либо же о случавшихся у него на глазах смертях приятелей. В каждой шахтерской семье

вам расскажут об отцах, дядьях, братьях, погибших в шахте («упал, семь сотен футов пролетел, и кусков бы не собрать, если б не новая его клеенчатая роба...»). От некоторых рассказов мороз по коже. Один горняк, например, описывал мне, как работавшего рядом с ним «подённого» придавило рухнувшей скалой. Товарищи подбежали, сумели освободить ему голову и плечи, чтобы тот мог дышать, — он еще был жив, говорил с ними. Но тут снова обвал, все разбежались и «подённого» вновь завалило. Вторично примчались, опять откопали голову и плечи, вновь несчастный говорил с ними. И третий обвал, после которого пришлось откапывать беднягу несколько часов, найдя его уже, конечно, мертвым. Рассказчик этой истории (на него самого однажды рухнула скальная кровля, однако ему удалось, спрятав голову между ног, сохранить некое пространство для дыхания) не считал описанный случай чем-то особенно ужасным. Его больше занимало, что «подённый» отлично знал, как опасен доставшийся ему участок, и каждый день шел туда в ожидании беды. «Так ему это в ум вошло, что он, на смену уходя, жену поцеловал. Она мне после говорила — впервые, мол, поцеловал за двадцать лет».

Самая известная и очевидная причина аварий — взрывы газа, который всегда, более или менее, присутствует в шахтной атмосфере. Есть специальные лампы для контроля воздуха, а если газ сгущается активно, это можно обнаружить даже голубоватым огоньком обычной лампы Дэви. Синева пламени, не исчезающая даже с выкрученным до предела фитилем, означает, что концентрация газа опасно высока. Однако точно определить затруднительно, ибо газ растекается неравномерно, сгущаясь в трещинах и разломах. Перед началом работ шахтер часто проверяет насыщенность газом, тыча своей лампой во все углы. Причиной возгорания могут стать или взрывные работы, или искра от удара по камню, или неисправная лампа, или особенно сложные для тушения, тлеющие в кучах угольной пыли «рудничные огни». Поскольку наиболее заметные, уносящие сотни жизней катастрофы обычно вызываются взрывами газа, бытует убеждение, что это главная опасность в шахтерском труде. На практике несчастья чаще происходят из-за постоянных и каждодневных угроз, в особенности из-за обрушений скальной кровли. Круглые дыры выпавших «валунов» над головой указывают, откуда срывались камни, способные убить не хуже

пушечного ядра. И могу вспомнить только одного шахтера, который в беседах со мной не сетовал на увеличившие риск мощные механизмы и вообще «гонку». Отчасти здесь консерватизм мышления, но достаточно резонный. Во-первых, нынешняя скорость отбойки угля на целые часы оставляет новое пространство забоя без креплений, чем повышает угрозу обвала. Притом еще расшатывающая стены вибрация, а также шум — помеха человеческому чутью. Безопасность шахтера в огромной мере зависит от его хорошо развитой чуткости. Опытные горняки утверждают, что есть инстинктивное спасительное ощущение: «Чуешь, как камень сверху давит». На слух они способны уловить малейший скрип готовых сломаться балок. Кстати, деревянные опоры в шахтах до сих пор предпочитают металлическим именно потому, что деревянные скрипят, предупреждая о беде, а железные валятся неожиданно и мгновенно. В оглушительном машинном грохоте ничего не расслышишь — стало быть, меньше шансов уберечь себя.

Если шахтера завалило, сразу ему помочь, конечно, невозможно. Погребенного под горой камней и зажатого в жуткой щели, его надо не только высвободить, но еще милю или больше

тащить по штрекам, где людям даже не распрямиться. Побывавшие под завалом рассказывают, что их извлекали, вытягивали на поверхность часа два. С клетью тоже порой происходят аварии. Движение ее достигает скорости железнодорожного экспресса, а управляется она находящимся наверху оператором, который сам не видит что и как. Приборы позволяют следить за продвижением клети, но ведь случаются ошибки управления, и тогда клеть на полной скорости врезается в дно штольни. Кошмарная смерть. Только представить: замурованный в тесном стальном ящике десяток людей летит вниз сквозь сплошной мрак, в какой-то момент люди понимают, что механизм подвел, и несколько секунд ясно осознают, что их сейчас расшибет всмятку. Один шахтер рассказал мне, как, находясь в клети, не затормозившей на подходе ко дну, он и все остальные ощутили аварийную ситуацию. Они решили, что лопнул трос. Приземление прошло достаточно благополучно, но, выбравшись из клети, шахтер обнаружил во рту сломанный зуб, — так стиснулись его челюсти в ожидании страшного конца.

При той физической силе, которая необходима их трудам, шахтеры, если не считать производственных травм, должны бы, кажется, отличаться

здоровьем. Однако их мучает ревматизм, человеку со слабыми легкими в насыщенных угольной пылью шахтах тоже долго не протянуть, но главная горняцкая болезнь — нистагм. Заболевание, заставляющее глазные яблоки странно подергиваться на свету, возникает, видимо, благодаря работе в полутьме и нередко приводит к полной слепоте. Рабочие, ставшие инвалидами по этой или иной связанной с шахтой причине, получают от компании денежную компенсацию либо единовременно, либо как пенсию. Такая пенсия везде не больше двадцати девяти шиллингов, но если она меньше пятнадцати, то инвалид еще имеет право на госпособие по безработице или дотацию в соответствии с актом «проверки средств». На месте увечного шахтера, я бы предпочел единовременную сумму: тогда хоть деньги наверняка получишь. Пенсий по нетрудоспособности ни один централизованный фонд не гарантирует, так что, если компания банкротится и прекращает платежи, шахтер, хотя формально он тоже в числе кредиторов, остается ни с чем.

В Уигане[143] я некоторое время проживал у шахтера, страдавшего нистагмом. На расстоянии

---

[143] notes: 143

Уиган — старейший шахтерский город на северо-западе Англии, в графстве Ланкашир.

комнаты он еще что-то различал, но дальше видел очень плохо. Девять месяцев ему выплачивали пенсию двадцать девять шиллингов в неделю, затем компания заговорила насчет перевода его на «частичную компенсацию» — четырнадцать шиллингов. Все теперь зависело от того, признает ли врач его состояние годным для легкой работы «наверху». Нет нужды пояснять, что и с положительным вердиктом медика никакой подходящей легкой работы ему бы не нашлось, зато он стал бы получать госпособие, а частная компания — еженедельно экономить на нем пятнадцать шиллингов. Наблюдая походы этого шахтера в контору за компенсацией, я остро ощутил, сколь глубоки до нынешнего дня различия, определяемые статусом. Человек почти потерял зрение на одной из самых важных, полезных для общества работ и больше кого-либо иного заслужил свою пенсию. И все же он не мог, так сказать, требовать положенные деньги — не мог, например, получать их тогда и как ему удобно. Раз в неделю, в назначенный день ему приходилось отправляться на шахту и там часами ждать возле конторы на холодном ветру, а в довершение он еще, можно не сомневаться, армейским жестом брал под козырек, благодаря за выданные

шиллинги. Во всяком случае, он должен был впустую потратить день да еще выложить шесть пенсов за автобус. Для приобщенного к сословию буржуазии, даже такого захудалого, как я, совсем другой канон. Даже на грани нищеты за мной числятся некие права по моему буржуазному статусу. Зарабатываю я лишь чуть больше шахтера, но деньги мне, джентльмену, переводят на банковский счет, с которого я их беру, когда хочу. И даже если счет мой пуст, менеджер банка со мной достаточно любезен.

Гнусность пренебрежительного отношения, унизительно долгих ожиданий, непременных уступок ради чужого удобства — постоянное слагаемое жизни пролетария. Множеством способов на него беспрерывно давят, загоняя в рамки пассивного существования. Живет он не действием, а под воздействием. И чувствуя себя рабом неведомых могучих сил, он пребывает в твердом убеждении, что «они» не позволят ему ни того, ни сего, ни этого. Однажды на сезонном сборе хмеля я спросил у ишачивших там, мокрых от пота работяг (платили им меньше шести пенсов в час), почему не организуется союз поденщиков? Мне тут же возразили: никогда, мол, «они» не дадут сезонникам объединиться. Кто именно будет

препятствовать, никто из сборщиков сказать не мог, но «они» явно были всемогущи.

Личность буржуазного происхождения идет по жизни в стойком ожидании когда-то уж непременно получить желаемое (ну, в разумных пределах). Отсюда то, что в тяжелые времена вожди, как правило, из «образованных». Талантами они одарены не более всех прочих, да ведь и «образованность» сама по себе бесполезна, но эти люди привыкли к уважению своих прав и соответственно наделены необходимой командирам самоуверенностью. Поэтому их лидерство всегда и всюду видится непреложным. В книге французского журналиста Проспера Лиссагаре «История Парижской коммуны», в описании репрессий после подавления восставших есть интересный пассаж. Власти искали главарей и, не имея информации о них, определяли таковых на глаз: по признакам принадлежности к высшим классам. Офицер шел вдоль строя арестованных, высматривая обличающие вожаков приметы. Одного человека расстреляли, поскольку на руке его были часы, другого — потому что у него было «интеллигентное лицо». Мне лично не хотелось бы получить пулю за «интеллигентное лицо», но как не согласиться, что во главе почти всякого

бунта люди с правильной, культурной речью.

4

Приехав в очередной промышленный город, плутаешь по лабиринту узких слякотных проходов среди закопченных кирпичных хибар и засыпанных шлаком двориков с вонючими мусорными ящиками и будками полуразвалившихся уборных. Количество комнат в домах здесь варьируется от двух до пяти, но интерьеры жилищ поразительно однообразны. Всюду почти одинаковые, тесные (примерно десять на десять или двенадцать на двенадцать футов) общие комнаты, эти кухни-столовые-гостиные. Если площадь внизу побольше, имеется закуток для мытья посуды, если поменьше — раковина и котел здесь же, рядом с кухонной плитой. Позади дома либо крохотный дворик, либо такой индивидуальный отсек общего для нескольких домов двора, которого хватает вместить лишь ящик для мусора и сортир. Горячего водоснабжения нет нигде. Можно пройти, я полагаю, сотни миль вдоль домов, населенных шахтерами, каждый из которых приходит после работы черный от головы до пят, и не найти жилище с ванной. Строителям

в свое время было бы очень просто установить водогрейные системы, работающие от кухонных плит, но подрядчик, видимо, экономил по десятку фунтов с объекта, да и в голову никому тогда не приходило, что шахтерам нужны ванные.

Отметим, что, в основном, дома у шахтеров старые, простоявшие не меньше полусотни лет, по любым сегодняшним нормам непригодные для человеческого обитания. Живут в них просто потому, что больше негде. И это главная проблема относительно жилья в промышленных районах. Она не в том даже, что здания убоги, безобразны и лишены санитарных удобств, что дома скучены в невообразимо мерзких трущобах подле коптящих заводов, воняющих каналов и курящихся серным дымом холмов сланца (хотя все это безусловный факт), — главная проблема в том, что зданий элементарно не хватает.

«Дефицит жилья», который довольно широко обсуждается еще со времен войны[144], для людей с недельным доходом десять или хоть пять фунтов тема не слишком актуальная. Что же касается дорогих престижных домов, тут проблема отнюдь не здания, а поиск арендаторов. Пройдитесь по

---

[144] notes: 144
Имеется в виду Первая мировая война 1914–1918 гг.

любой улице Мэйфера[145] и в половине окон вы увидите таблички «сдается внаём». Но в промышленных областях одно из худших проклятий бедности — сложность вообще найти жилье. И люди соглашаются на любую дыру, любой клоповник с прогнившими полами и треснувшими стенами, на вымогательство маклера и домовладельца-шкуродера — только бы получить крышу над головой. Я бывал в жутких жилищах, в домах, где, даже приплати мне, никогда не поселился бы и на неделю, но съемщики в них обитали по двадцать, по тридцать лет, мечтая лишь о том, чтобы прожить там до конца дней. Обычно, хотя не всегда, жильцы воспринимают эти условия как вполне нормальные. Некоторые, кажется, едва ли представляют, что где-то есть приличные дома, полагая клопов и дырявые крыши творением Божьим, другие горько клянут домовладельцев, но все под страхом худших вариантов цепляются за свои норы. При этакой нехватке жилья у местных муниципальных властей маловато возможностей благоустроить или вообще заменить ветхие постройки. Совет вправе определить дом «непригодным», но нельзя приказать его снести,

[145] notes: 145
Один из самых престижных районов Лондона.

пока жильцам не будет другого пристанища. Так что приговоренные здания стоят и стоят, делаясь, разумеется, все хуже, поскольку владельцу развалюхи нет резона тратиться сверх минимально необходимого на дом, который рано или поздно снесут. В таком городе, как Уиган, более двух тысяч жилых зданий давно признаны непригодными, и целые кварталы были бы обречены на снос, имейся хоть какая-то надежда выстроить новые. А в таких городах, как Лидс и Шеффилд, несть числа «сдвоенных» домишек, сам тип которых не годится для житья, но которые простоят еще не одно десятилетие.

Я осмотрел множество жилищ в шахтерских городах и поселках, коротко помечая для себя основные детали. Думаю, ясное представление об увиденном даст часть этих записей, взятых сейчас почти наугад (кое-что здесь я ниже поясню и расшифрую). Итак, несколько записей из Уигана:

1. Дом в квартале Уоллгейт. Задняя стена глухая. Внизу 1, наверху 1. Общая 10–12 футов, спальня такая же. Под лестницей чуланчик 5×5 (используется как кладовка, мойка и склад угля). Окна открываются. До уборной 50 ярдов. Аренда 4ш. 2п., налог 2ш. 6п., итого — 7ш. 3п.

2. Соседний дом. По площади, как предыдущий, но чулана под лестницей нет, просто стенная ниша с раковиной. Никаких помещений для кладовки и пр. Аренда 3ш. 2п., налог 2ш., итого — 5ш. 2п.

3. Дом в квартале Скоулис. Признан непригодным. Внизу 1, наверху 1. Обе по 15×15. Раковина и котел в комнате. Под лестницей угольный погреб. Перекрытия просели. Ни одно окно не открывается. Дом достаточно сухой. Хозяин хороший. Аренда 3ш. 8п., налог 2ш. 6п., итого — 6ш. 2п.

4. Соседний дом. Внизу 2, наверху 2. Есть угольный погреб. Стены еле держатся. Потолки над спальнями протекают так, что в дождь вода хлещет ручьем. Полы кривые. Окна внизу не открыть. Хозяин плохой. Аренда 6ш., налог 3ш. 6п., итого — 9ш. 6п.

5. Дом на Гринос-роу. Внизу 2, наверху 1. Общая комната 8×12. Стены в трещинах, проникает вода. Передние окна открываются, задние нет. Семья из десяти человек, восемь детей мал мала меньше. Ввиду чрезвычайной перенаселенности муниципалы пытаются найти им другое жилье, но безнадежно. Хозяин плохой. Аренда 4ш., налог 2ш. 3п., итого — 6ш. 3п.

Хватит, пожалуй, про Уиган. Таких страниц у меня много. Вот запись из Шеффилда — типичный пример одного из тысяч и тысяч «сдвоенных» домов:

Дом на Томас-стрит. Сдвоенный. Внизу 1, наверху 2 (т. е. три этажа, на каждом по одной). Имеется подвал. Все помещения по 10×14, раковина в столовой. Спальни наверху без дверей: открытые проемы с лестницы. Стены внизу сыроватые, в спальнях совсем ветхие, протечки со всех сторон. Дом такой темный, что всегда должен гореть свет. За электричество платят по полшиллинга в день (наверное, слегка преувеличено). Семья шесть человек; четверо детей, сплошь в соплях и прыщах. Муж на госпособии по безработице и болен туберкулезом. Один ребенок в больнице, остальные вроде бы здоровы. Снимают это жилье семь лет. Хотели бы переехать, но некуда. Аренда, включая налог: 6ш. 6п.

А вот парочка записей из Барнсли:

1. Дом на Уортли-стрит. Внизу 1, наверху 2. Общая комната 10×12. Котел с раковиной здесь же, под лестницей угольный погреб. Слив сделан плохо, раковина постоянно переполнена. Постройка очень дряхлая. Свет газовый, счетчик

со щелью для монет. Дом темный, за освещение 4 пенса в день. Верхние комнаты — одна, просто разгороженная пополам. Стены совсем трухлявые, в задней — сквозная трещина. Оконные рамы сгнили, держатся прибитыми планками. В дождь всюду течет. Из канализационной трубы под домом страшная вонь, но муниципалы говорят, что для ремонта «пока нет возможности». Шесть человек, четверо детей, самому старшему ребенку пятнадцать. Младший (предпоследний) в больнице — подозревают туберкулез. Дом кишит клопами. Аренда, включая налог: 5ш. 3п.

2. Дом на Пил-стрит. Сдвоенный. Внизу 2, наверху 2, имеется большой подвал. Общая комната квадратная, раковина и котел здесь же. Соседняя равного размера и, вероятно, предназначалась быть гостиной, но служит спальней. Площадь наверху такая же. Очень темно, за газовое освещение 4 пенса в день. До уборной 70 ярдов. Четыре кровати и восемь человек: старики родители, две взрослые дочери (старшей двадцать семь), парень и трое младших. Одна кровать отцу с матерью, вторая — старшему сыну, еще две — для остальных пятерых. Клопов до ужаса («да как им не плодиться-то в тепле?»). Неописуемая нищета внизу, а наверху невыносимый запах. Аренда,

включая налог: 5ш. 7п.

3. Дом в Мэплвелле (маленький шахтерский поселок близ Барнсли). Внизу 1, наверху 2. Общая комната 13×14, раковина здесь же. Стены с обвалившейся штукатуркой. Духовка без единой полки. Слегка ощущается утечка газа. Верхние каморки по 8 на 10. Четыре кровати (в семье шестеро людей, все взрослые), но «одна щас не прибрана» — похоже, нет постельного белья. Ближайшая к лестнице спальня без двери, а лестница без перил, так что рискуешь после сна шагнуть в пролет и с десятифутовой высоты рухнуть на каменный пол. Наверху сквозь дыры прогнившего настила можно обозревать нижнее помещение. Клопы, хотя «уж их и моришь, и дезинфекцией поливаешь». Земляная дорога рядом с домом, как навозное месиво; зимой, говорят, едва пройти. Дворовые кирпичные уборные почти в руинах. Снимают это жилье уже двадцать два года, задолжали 12 фунтов, в счет чего платят дополнительно шиллинг в неделю. Хозяин, предъявляя повестки о выселении, требует съехать. Аренда, включая налог: 5ш.

И т. д., и т. п. Примеров в моем блокноте множество, и всякий пожелавший осмотреть жилища

промышленных областей может добавить к списку сотни тысяч подобных. Теперь я должен пояснить кое-что в своих записях. Цифры с пометкой «внизу», «наверху» — количество комнат на каждом этаже. «Сдвоенный» дом — два семейных жилья в одной постройке с входами на противоположных сторонах; то есть когда вы видите вдоль улицы двенадцать домов, реальных жилищ тут двадцать четыре. Половина сдвоенного дома выходит на улицу, половина — во двор, но проход возле здания один. Результат очевиден. Уборные на задних двориках, так что, живя в фасадной части, вы добираетесь до клозета и мусорного ящика, лишь совершив прогулку вокруг здания, — путь, длиной иногда до двухсот ярдов. Если же ваш вход со двора, у вас прелестный вид на ряд сортиров. Дома с «глухой задней стеной» — тип обычного дома, где строитель, однако, почему-то (по чистой злобе, вероятно) не прорезал проем для задней двери. Особенность шахтерских домов — окна, которые нельзя открыть. Подрытая тоннелями шахт почва постоянно оседает и постройку перекашивает. В Уигане дивишься шеренгам дико накренившихся домов с невероятно косоугольными рамами окон. Многие наружные стены выпирают дугой, словно дом на последнем

месяце беременности. Кирпичную стену можно переложить ровно, но вскоре ее вновь начнет выпячивать. Дом, где слив терзает коварством, окна навек заклинило, дверные косяки разъехались и требуют срочной замены, — этим местных жителей не удивишь. Рассказ о пришедшем со смены шахтере, который обнаружил, что попасть в дом сможет, лишь прорубив дверь топором, воспринимается комичным случаем. В некоторых моих записях есть пометки «хозяин хороший» или «хозяин плохой», поскольку о владельцах жилья обитатели отзываются весьма по-разному. Для себя я открыл (возможно, этого следовало ожидать), что наихудшие домовладельцы — самые мелкие. Констатировать такой факт неприятно, но объяснить нетрудно. Хотелось бы, чтобы типичным владетелем трущобы оказался бесчеловечный жирный скряга (предпочтительно — епископ), наживающий золотые горы грабительской арендой. Увы, значительно типичней бедная старуха, которая вложила все сбережения долгих лет в покупку трех лачуг, теперь, живя в одной из них, пытается существовать, сдавая две другие, — и в результате никогда не наскребает денег на ремонт.

Эти сухие краткие заметки многое говорят

только мне самому. Перечитывая их, я снова вижу те места, где побывал, но устрашающих условий в трущобах северного шахтерского края просто не выразить. Слабоваты слова. Что скажет запись «крыша протекает» или «четыре кровати на восьмерых»? Глаз скользнет, не особенно вникая. А сколько за этим горя и тягот! Например, перенаселенность. Зачастую в трехкомнатном домишке ютится семейство из восьми, даже десяти человек. Одна комната — общая, и так как в ней, на площади чуть более двенадцати квадратных метров, кроме плиты и раковины еще втиснуты стол, немало стульев и буфетный шкаф, места для койки тут не остается. Соответственно, восемь или десять человек спят в двух каморках, вмещающих обычно по две кровати. Особенно плохо, когда много взрослых, работающих членов семьи. Помню дом, где три девушки делили одну кровать, трудясь в разные смены и нервируя друг друга при каждом своем уходе-возвращении; помню молодого горняка, работавшего в ночную смену, спавшего на узкой койке днем и на ночь уступавшего ее другому члену семьи. Дополнительная сложность возникает, когда подрастают мальчики и девочки, которых уже не положишь рядом. Я видел дом, где жили отец,

мать, их юные, лет по семнадцать, сын и дочь, но имелось лишь две кровати. Отец там спал вместе с сыном, а мать с дочерью — единственный вариант избежать угрозы кровосмешения. Или вот бедствие дырявых крыш и сырых стен, из-за чего в некоторых спальнях зимой почти невозможно находиться. Или вот полчища клопов. Если уж эти твари завелись, то никогда не сгинут, пока сам дом не сломают, — надежного средства их извести не существует. Или вот беда с окнами, которых не открыть. Надо ли пояснять, что это означает летом в душной комнатенке при беспрерывной готовке пищи на плите, топящейся чуть не круглые сутки. Или вот специфичные напасти сдвоенных домов. Полсотни ярдов до уборной или мусорного ящика не слишком стимулируют гигиеничность. У хозяек фасадных половин (во всяком случае, в проулках, куда муниципалы не заглядывают) развивается привычка выплескивать помои прямо из входных дверей, благодаря чему сточный желоб вечно полон раскисших корок и плесневеющей чайной заварки. Стоит также призадуматься о том, что это значит для ребенка, — жить в половине «со двора» и расти в постоянном созерцании ряда сортиров вдоль кирпичной стенки.

Женщина в подобных домах — лишь несчастная ломовая лошадь, шалеющая от бесконечности забот. Она может высоко держаться духом, но ей не до высоких эталонов чистоты и опрятности. Всегда надо спешно что-то делать, а удобств никаких и в помещении не повернуться. Только умоешь одного ребенка, другой успел измазаться; только отскребешь кастрюльки после трапезы, уже пора варить-жарить для следующей. Хозяйства мне встречались самые разные. Некоторые были так приличны, как максимально позволяла ситуация, некоторые же настолько ужасны, что описать нельзя. Начать с такой существенной и царящей детали, как запах — буквально неописуемый. А грязь, а кавардак! Тут бак с помоями, там таз с невымытой посудой, всюду нагромождения плошек, на полу клочья газет и в центре обязательно этот кошмарный стол с липкой клеенкой, на котором куча кастрюль и сковородок, недоштопанные чулки, огрызки хлеба и кусочки сыра в сальных бумажках. А толкотня в комнатушке, где еле протиснуться между мебелью, да еще непременно по лицу хлещет сырое, висящее на веревке белье и под ногами детей густо, как поганок в лесу! Несколько сцен помнятся необыкновенно ярко. Почти голая общая ком-

ната в доме маленького шахтерского поселка; огромное семейство сплошь безработных и на вид полуголодных; целый отряд уныло, вяло развалившихся детей и взрослых обоего пола, до странности похожих рыжей шевелюрой, крепкой костью и лицами, опустошенными недоеданием и бездельем; один из них, сидящий перед огнем рослый парень, слишком апатичный, чтоб хоть заметить приход незнакомца, медленно стягивает с разутой ноги липкий носок. Жуткая комната дома в Уигане, где, кажется, вся мебель была из ящиков и деревянных бочек, притом едва державшихся. Старуха с грязными разводами на шее и висящими космами на своем ланкаширско-ирландском наречии яростно поносит домовладельца, а ее мать, мумия за девяносто, сидя позади на бочке, что служит ей стульчаком, глядит на нас безучастным кретинским взглядом. Я мог бы исписать страницы картинами подобных интерьеров.

Конечно, запущенность убогих пролетарских жилищ отчасти иногда на совести самих жильцов. Даже живя в сдвоенном доме, имея четверых детей и лишь пособие в тридцать недельных шиллингов, ничто не мешает вынести стоящий весь день посреди общей комнаты ночной гор-

шок. Но столь же верно, что подобные условия существования не поощряют чувство собственного достоинства. Возможно, определяющий фактор — количество детей. Наиболее благопристойно всегда выглядит домашнее хозяйство там, где детей нет либо не более двоих, а при наличии, скажем, трех комнатушек и шестерых ребят добиться сколько-то приличного вида жилья, пожалуй, невозможно. Еще существенный момент, который следует учесть, — нижняя, общая комната не отражает степень бедности семьи. Вы можете посетить беднейших безработных, но, побывав у них только внизу, вынести ложное впечатление об их достатке. Глядя на довольно обильный ассортимент посуды и мебели в столовой, трудно поверить, что обитателей гнетет жестокая нужда. Только поднявшись в спальни, обнаружишь действительную пропасть нищеты. Не знаю, то ли гордость заставляет жильцов до конца цепляться за обстановку своих «кухонь-гостиных», то ли спальные принадлежности удобней, выгодней закладывать в ломбард, но именно спальни нередко меня просто устрашали. Надо сказать, что в семьях, уже годами живущих на пособие по безработице, нечто похожее на стандартный набор постельного белья встречает-

ся как исключение. Часто вообще ни простыней, ни даже матрасов и подушек — только груда старых пальто и всяких тряпок на ржавом остове железной койки. Увеличение числа домочадцев ухудшает дело. В знакомой мне семье из четырех человек (отец с матерью и два ребенка) имелось две кровати, но спали все в одной, поскольку не хватало принадлежностей, чтобы элементарно оснастить вторую.

Тем же, кого вдруг заинтересует наихудший вариант последствий нехватки жилья, необходимо посетить примыкающие к городам промышленного севера жуткие фургонные поселения. Со времен войны, когда ввиду жилищного дефицита для некоторых стало невозможным получить кров в нормальном доме, бесприютный народ временно, как предполагалось, обосновался в свезенных за городскую черту старых, отслуживших свой срок фургонах. Например, возле Уигана, города с населением 85 000, таких жилых фургонов стоит около двухсот, в каждом семья, — то есть общее число поселенцев, вероятно, около тысячи. Сколько подобных жителей по всем промышленным районам, подсчитать нельзя даже приблизительно: муниципалы о них умалчивают, перепись 1931 года тоже, видно,

решила их игнорировать. Насколько мне удалось выяснить, колонии фургонов существуют близ большинства крупных городов Йоркшира и Ланкашира, а может быть и далее на север. Так что в Северной Англии, надо полагать, живут тысячи или даже десятки тысяч семей — не отдельных людей, а семей! — чьим единственным домом является фургон.

Однако слово «фургон» вводит в заблуждение. Мысленно возникает картина стоянки цыганского табора (в чудесную погоду, разумеется), с уютным треском костров, детишками, собирающими ежевику, и разноцветным ярким платьем на веревках. Колонии фургонов возле Уигана и Шеффилда на это совсем не похожи. Я видел несколько, уиганские осмотрел очень внимательно и, на мой взгляд, житье сопоставимой нищеты отыщешь только на азиатском Востоке. Мне тут сразу вспомнилась Бирма и лачужки индийских кули. На Востоке, правда, настолько худо быть не может: там не бывает наших сырых, продирающих до костей холодов и там спасающее от многих инфекций солнце.

На пустырях по берегам уиганского мутного канала, словно отходы из гигантского мусорного ведра, красуются свалки фургонов. Часть их и

впрямь цыганские фургоны, только совсем ветхие, поломанные. В большинстве же это бывшие маленькие низкие автобусы (еще меньше тех, что бегали лет десять назад), с которых сняли колеса, установив кузова на деревянные подпорки. Есть и простые грузовые телеги с ребрами дуг, обтянутых холстом — единственной преградой между жильем и наружной природной атмосферой. Внутри бывшие транспортные средства шириной обычно футов пять, в высоту — около шести (я не смог полностью распрямиться ни в одном), длина колеблется от шести до пятнадцати футов. Наверное, в каких-то обитает по одному человеку, но мне не попалось фургона, приютившего менее двоих, а вот большие семьи я встречал. К примеру, был фургон длиною четырнадцать футов, который населяли семь человек, — семеро в пространстве, где на каждого приходился объем значительно меньший, чем кабинка общественной уборной. Тесноту и грязь в этих убежищах не представишь, пока не оценишь собственным глазом и в особенности — носом. Обстановка обязательно включает крохотную печурку и столько коек, сколько удается сюда впихнуть: иногда две, чаще одну, и как-то уж, вповалку, вся семья должна в ней улечься.

На полу спать почти невозможно из-за сырости — при мне сворачивали плетеный матрас, все еще влажный в одиннадцать утра. Зимой такой холод, что печку надо топить круглые сутки, а все оконца, разумеется, задраены. Воду берут из гидранта, обычно единственного на колонию, и многим за каждым ковшом приходится топать до крана полтораста-двести ярдов. Санитарных удобств вообще никаких. Уборными служат будочки или шалаши, сооруженные на пятачках земли возле фургонов, и раз в неделю где-нибудь поодаль роют ямы для захоронения нечистот. Все поселенцы, особенно дети, невообразимо чумазы и, нет сомнения, покрыты паразитами. По-другому тут быть не может. Мысль, часто посещавшая меня, когда я бродил от фургона к фургону: что происходит там внутри, если кто-нибудь умирает? Но это, конечно, из тех вопросов, что не решаешься задать.

В таких колониях люди живут по много лет. Теоретически муниципалам должно покончить с этим безобразием, переселить людей в дома, но так как здания не строятся, фургонному житью конца не видно. Большинство здешних обитателей, с которыми я говорил, давно оставили надежду вновь обрести нормальное пристанище.

Население тут поголовно безработное, для него что дом, что работа — вещи, одинаково нереальные, недостижимые. Кому-то это вроде бы уже привычно и нипочем, а кто-то очень ясно понимает, на какое дно его кинуло. Передо мной стоит изможденное до предела, больше похожее на череп лицо одной женщины, взгляд которой выражал полное сознание невыносимой нищеты и деградации. Тщась держать в чистоте обильный выводок своих детей, она, я это видел, ощущала мои опасливые чувства в ее диком свинарнике. Необходимо помнить: эти люди не цыгане, это добропорядочный английский люд, у всех у них (кроме рожденных здесь детей) когда-то имелись дома; к тому же их фургоны гораздо хуже цыганских, а вдобавок лишены преимущества вольно укатить в другие края. Конечно, немало персон среднего класса убеждены, что низшему сословию такое житье не претит, и, случись им увидеть из окна поезда колонию фургонов, они тут же заявят, что люди туда скатились по собственному выбору. Я сейчас не намерен затевать дискуссию на эту тему. Но прошу обратить внимание, что жизнь в фургонах даже экономически невыгодна, поскольку обитатели старых повозок и автобусов платят за свой приют столько же, сколько бы они

платили за обычные съемные домишки. Мне там не приходилось слышать о цене ниже пяти шиллингов (пять шиллингов за помещение, куда не втиснуть вторую койку!), а порой аренда фургона доходит до цены в полфунта. Неплохие деньжата кто-то делает, сдавая жильцам эти помойки! И как уютно в прениях относительно данной, все длящейся и длящейся печальной ситуации о нищете впрямую не упоминать, скорбеть лишь о нехватке зданий.

Беседуя с шахтером, я спросил однажды, когда в их местах остро встала проблема расселения? «Да когда нам растолковали насчет этого», — ответил он, подразумевая бытовавшие до недавних пор в народе столь низкие стандарты, что почти любая перенаселенность воспринималась как должное. Он также рассказал, как в пору его детства все одиннадцать членов семейства спали в одной комнате, не особо думая о том. Рассказал и про взрослое свое, уже с супругой, житье в сдвоенном доме старого образца, где мало того, что от входной двери до уборной тащиться надо было пару сотен ярдов, но зачастую еще требовалось в очереди постоять: ведь той уборной пользовались тридцать шесть человек. Эти прогулки до клозета жена его была вынуждена совершать

даже в период тяжелой, убившей ее болезни. Как заключил мой собеседник, такой уж был народ, такой породы, что терпел бы и терпел «пока им не растолковали насчет этого».

Не знаю, прав ли он. Что очевидно, это то, что ныне никто не считает терпимым положение, когда одиннадцать человек спят в одной комнате, и даже люди с приличным доходом смутно обеспокоены вопросом «трущоб». Отсюда постоянная на протяжении всех послевоенных лет трескотня по поводу «сноса трущобных клоак» и «переселения людей». Епископы, политики, филантропы и прочие важные лица рады благонравно потолковать о «сносе трущобных клоак», дабы отвлечь внимание от более серьезных зол и убедить, что ликвидация трущоб заодно ликвидирует и саму нищету. Только вот результат этих дебатов на удивление мизерный. Насколько можно видеть, за последнее десятилетие скученность в бедняцких кварталах не рассосалась, а, пожалуй, даже несколько увеличилась. Конечно, от города к городу большое различие в темпах борьбы с дефицитом жилья. Где-то муниципальное строительство почти стоит на месте, где-то ведется так активно, что вытесняет частные фирмы застройщиков. Например, в Ливерпуле жилищный

фонд значительно обновлен и, главным образом, усилиями городских властей. В Шеффилде тоже сносят старые дома, возводят новые довольно быстро, хотя, учитывая беспримерный кошмар тамошних трущоб, со скоростью все же недостаточной[146].

Почему процесс в целом идет так медленно, и почему в некоторых городах деньги на это изыскивают легче, чем в других, мне неизвестно. На такие вопросы должен бы ответить некто более осведомленный о механизме местных органов управления. Муниципальный дом обходится обычно в три-четыре сотни фунтов (стоимость «прямых трудозатрат» дешевле, чем через подрядчика). Арендная плата за него, в среднем, чуть более двадцати фунтов в год, так что, даже с учетом предельной стоимости и процентов по займу, любой городской Совет, как представляется, мог бы настроить у себя домов на всех, готовых это жилье снять. Разумеется, во многих случаях жильцами стал бы народ на госпособии, и приток средств от их арендной платы походил бы

[146] notes: 146

К началу 1936 года в Шеффилде построено менее полутора тысяч муниципальных домов (при мне достроили 1398-й), тогда как подсчитано, что для полного расселения трущоб городу требуется сто тысяч зданий (*прим. автора*).

на перекладывание денег из кармана в карман (местные органы получали бы аренду из сумм своей же социальной помощи). Но пособия людям все равно обязаны платить, а пока изрядную долю этих денег съедают частные домовладельцы. Причины, которыми всегда объясняют задержки со строительством, — нехватка средств и сложности с участками земли, поскольку муниципальное жилье сооружают не отдельными объектами, а целыми «районами», иногда сразу по сотне домов. Однако меня поражает загадочная вещь: многие северные города при вопиющей необходимости расселить жителей, изыскивают средства возводить роскошные административные здания. В Барнсли, например, недавно истратили сто пятьдесят тысяч фунтов на новую ратушу, хотя там всеми признана нужда в срочной постройке минимум двух тысяч жилых домов для рабочих, не говоря об общественных банях. (Общественные бани в Барнсли предоставляют девятнадцать мужских банных скамей — это в городе, где 70 тысяч жителей, главным образом шахтеров, ни один из которых не имеет дома ванной!) За полтораста тысяч муниципалитет мог бы отстроить триста пятьдесят домов, да еще оставить себе десять тысяч на ратушу. Впрочем, я уже при-

знавался, что не постиг финансовых секретов местного управления. Я просто отмечаю факт, что городам отчаянно необходимы новые здания, а строительство зачастую идет с активностью паралитика.

Тем не менее работа все же идет, и районы муниципальных новостроек с рядами и рядами краснокирпичных домиков, одинаковых как горошины в стручке (кстати, откуда такое выражение? горошины весьма индивидуальны), — непременная часть предместий индустриальных городов. О том, каковы эти новые дома и чем отличаются от трущобных, мне проще всего рассказать, приведя очередные заметки из своего дорожного блокнота. Мнения арендаторов здесь тоже весьма различны, так что я выберу по одному примеру одобряемых и порицаемых жилищ. Обе записи из Уигана, обе о домах стандарта «без излишеств», с минимумом комнат и чрезвычайно тесным пространством для бытовых удобств.

1. Дом в районе Бич-Хилл.

Внизу. Просторная гостиная с кухонным камином, буфетами и встроенным шкафом; на полу линолеум. Маленькая прихожая, довольно большая кухня. Современная электрическая плита (напрокат от муниципалитета, обходится много

дороже газовой).

Наверху. Две большие спальни и еще крошечная — годится только как кладовая или для временной ночевки. Ванная, туалет, горячая вода.

Сад маловат; есть в этом районе и более обширные, но, в основном они здесь меньше обычных частных садовых участков.

В семье четверо: муж с женой и двое детей. Муж на хорошей работе. Дом построен добротно, выглядит вполне мило. Имеется ряд ограничений: запрещено держать домашнюю птицу или голубей, брать квартирантов, сдавать площадь в субаренду и начинать какой-либо бизнес без разрешения городских властей (легко получить согласие только относительно квартирантов). Арендатор очень доволен домом и гордится им. Здания этого района содержатся в полном порядке. Власти ответственно выполняют ремонт, но требуют от жильцов следить за надлежащей опрятностью, чистотой территории и т. п.

Аренда, включая налоги: 11ш. 3п. Автобусный проезд по городу — 2п.

2. Дом в районе Уэлли.

Внизу. Гостиная 10×14 футов, кухня значительно меньше, крошечная кладовка под лестницей,

маленькая, но приличная ванная. Газовая плита, электрическое освещение. Туалет снаружи.

Наверху. Спальня 10×12 с маленьким камином, вторая спальня того же размера, но без камина и еще спальная каморка 6×7. В лучшей спальне стенной платяной шкаф.

Садик примерно 20×10 ярдов.

В семье шесть человек: родители и четверо детей, старшему сыну девятнадцать, старшей дочери двадцать два. Работу имеет только старший сын. Жилищем очень недовольны. Жалобы: «Дом холодный, вечно сырость и сквозняки. Камин в гостиной плохо топится и закоптил всю комнату (строители, видно, установили его слишком низко). От маленького камина в спальне вообще никакого толка. Стены наверху потрескались. В каморке спать невозможно, и пятеро ночуют в одной спальне, а старший сын — в другой».

Садовые участки этого района в совершенном небрежении.

Аренда, включая налог: 10ш. 3п. До города чуть больше мили, но автобус здесь не ходит.

Можно привести еще много примеров, но и этих достаточно, поскольку муниципальное жилье, в принципе, однотипно. Две вещи на поверхности. Первая — самые плохонькие дома

здесь лучше старых, трущобных (только возможность иметь ванну и хотя бы небольшой садик перевесит почти любое неудобство в новом здании). Вторая — жить в новых районах значительно дороже. Обычный случай, когда человека, платившего за ветхую лачугу шесть шиллингов в неделю, переселяют в дом, за который он должен платить уже по десять. Правда, это затрагивает лишь людей работающих, получающих зарплату. Живущим на пособие аренду устанавливают в четверть от получаемой субсидии или же назначают специальные дотации (хотя все-таки есть разряд муниципальных зданий, недоступных народу на пособии). Но существуют моменты, удорожающие жизнь в муниципальных районах независимо от характера личных доходов. Прежде всего, ввиду более высокой аренды помещений магазины дороже и их меньше. К тому же отдельно стоящий дом, который и внутри просторней прежних затхлых клетушек, согреть значительно труднее, и, стало быть, увеличение трат на топливо. Кроме того (это особенно касается работающих в городе), расходы на транспорт. Тут вообще одна из самых явных проблем обновления жилищного фонда. Расчистка города от лепящихся в центре трущобных гнезд означает

переселение жильцов, а при масштабах муниципальной строки новые районы расползаются в предместья. Определенным образом это прекрасно: из тесноты зловонных переулков человека переселяют туда, где в комнатах можно дышать. Но с точки зрения самих переселяемых, их загоняют куда-то за пять миль от работы. Простейшее решение — квартиры в многоэтажных домах. Если уж люди не намерены покидать большой город, им все-таки придется научиться жить друг над другом. Однако северный рабочий люд крайне нерасположен к жилью в презираемых «многоэтажках». Практически любой вам скажет, что ему «хочется свой дом», и, судя по всему, съемный дом в гуще квартальной застройки видится несравненно более «своим», чем овеваемая чистым воздухом квартира.

Возвращаясь к примеру вызывающего недовольство муниципального жилья. Арендатор жаловался, что дом плохой, сырой, холодный и т. п. Возможно, дом действительно построили халтурно, но столь же вероятно, что претензии были преувеличены. Мне довелось видеть, какой халупой в центре Уигана являлось прежнее пристанище данного арендатора, который, обитая там, изо всех сил стремился получить муници-

пальный дом, а, переехав, тут же затосковал о трущобе. Это напоминает капризную привередливость, но выражает подлинные чувства. Очень часто (пожалуй, в половине случаев) я сталкивался с тем, что новое жилье людям действительно не нравится. Они рады покинуть вонючие развалюхи и понимают, как хорошо, что их детям наконец будет где играть, но им очень неуютно на новом месте. Исключения — люди с приличным заработком (так сказать, верхний слой рабочего класса), те, кого не пугает некоторое увеличение расходов на топливо, обиход и автобусы. Однако большинству переехавших из трущоб недостает прежнего душного тепла их обиталищ. Слышишь их жалобы, что «в поле-то, за городом», то есть на городских окраинах, они «околевают» (мерзнут). И, разумеется, зимой во множестве новых районов довольно сурово. Некоторые новостройки, через которые я проезжал, расположены на холмах, на голых глинистых склонах, открытых ледяным ветрам, и как места для проживания выглядят угнетающе. Нет, речь не о душевном пристрастии обитателей трущоб к тесноте и грязи, во что столь сладостно верить холеным буржуа. (Перечтите хотя бы диалог о сносе трущоб из «Лебединой песни» Голсуорси,

где устами филантропа, уверенного в том, что трущобы созданы ее жителями, но никак не наоборот, высказана обожаемая мысль сытых рантье). Дайте человеку достойное жилье — он быстро научится содержать его достойно. Свой красивый, нарядный дом повысит самоуважение, разовьет вкус к чистоте и позволит детям начать жизнь с лучшего старта. Но пока в муниципальных новостройках все-таки веет казенным, до некоторой степени даже тюремно-казарменным холодком, и люди, там живущие, хорошо это ощущают.

Именно здесь сложнейшее звено проблемы расселения. Проходя по мрачным, закопченным трущобам Манчестера, думаешь — только бы снести до основания эту мерзость и выстроить вместо нее приличные дома. Но беда в том, что разрушение трущоб уничтожает и кое-что иное. Конечно, новые жилища отчаянно необходимы и, разумеется, их следует строить гораздо, гораздо быстрее, однако акция переселения — возможно, с неизбежностью — включает нечто чудовищно бесчеловечное. Не только неприютный вид новехоньких необжитых построек. Всякий дом поначалу безобразен новизной, а сам тип нынешних муниципальных домов выглядит как раз вполне

сносно. В предместьях Ливерпуля целые поселки сплошь из муниципального жилья, отнюдь не оскорбляющего глаз, а корпуса многоквартирных домов для рабочих в центре города (по образцу, я полагаю, подобных кварталов Вены) смотрятся просто замечательно. И все же непременно оттенок бездушной, безжалостной неволи. Возьмите, например, ограничения, которые на вас наложит проживание в муниципальном доме. Вам не позволят содержать свой дом и садик, как захочется (в ряде районов даже строжайше предписан единый стандарт садовых оград). Вам не позволят держать домашнюю птицу или голубей. А йоркширским шахтерам почтовые голуби в радость, у них на задних дворах голубятни, они по выходным устраивают состязания своих любимцев. Однако от голубей грязь, и городские власти пресекают это увлечение. Еще серьезнее ограничения касательно магазинов. Количество торговых точек в районе твердо лимитировано, и предпочтение, как говорят, отдается универмагам или же сетевым филиалам (что вряд ли стопроцентно верно, хотя на мой взгляд, в общем, подтверждается). Это плоховато для массового покупателя, но для владельцев небольших лавок просто катастрофично. Многих мелких торгов-

цев забывшая о них схема переселения доводит до полного краха. Целую часть города сносят, дома ломают, жильцов отправляют в дальние новостройки, — местный лавочник разом теряет клиентуру, не получив ни пенни компенсации. А переехать со своим бизнесом в тот же новый район не получится: даже если владелец магазинчика осилит более высокую аренду, ему, скорее всего, откажут в лицензии. Что касается пабов, они практически изгнаны из новых рабочих кварталов; лишь изредка увидишь заведения крупных пивоваренных компаний, гнетущие как пышным оформлением «под старину», так и немыслимой дороговизной. Представителю среднего класса здесь был бы досадный дискомфорт (милю тащиться, чтобы выпить кружку пива), но пролетарию, для которого паб — своего рода клуб, этим наносится серьезный удар по всей его социальной жизни. Переселить обитателей трущоб в приличные дома — огромное достижение, прискорбно лишь, что в специфичном духе нашего времени таким благим деянием предусмотрена необходимость лишить человека последних остатков свободы. И люди это чувствуют, вот эти свои чувства они и выражают жалобами, что в новых домах (зданиях, несравненно лучше преж-

них) им неудобно, холодно, «как-то не по себе».

Временами я склонен думать, что цена свободы не столько вечное борение, сколько вечная грязь. В некоторых муниципальных районах жильцов, прежде чем допустить их в новые дома, обязательно подвергают санитарной обработке на предмет избавления от вшивости. Весь скарб их до последней нитки тоже перед переездом увозят и окуривают для уничтожения насекомых. Поясняются данные меры тем, что очень обидно завезти нечисть в чистейшие помещения (а клоп, укромно таясь среди багажа, и впрямь сумеет не отстать от хозяев), но все это вызывает желание даже сам термин «гигиена» изъять из словаря. Клопы, конечно, гадость, но ситуация, в которой допустимо дезинфицировать людей, как скот, еще гаже. Впрочем, когда дело касается сноса трущоб, с некой долей властной жестокости следует, видимо, смириться. В конечном счете, важнее всего, чтобы люди больше не жили в хлеву. Я видел достаточно всяких трущобных нор, чтобы вполне тут разделять гневный пыл Честертона. Место, где дети получают возможность дышать чистым воздухом, матери — облегчение трудов по хозяйству, а отцы — радость покопаться в своем садике, просто не может быть хуже зло-

вонных тупиков Лидса и Шеффилда. Так что, подводя баланс, муниципальное жилье, конечно, лучше трущоб; жаль только, что отнюдь, отнюдь не во всем.

Изучая жилищную проблему в шахтерских городах, я посетил немало, наверно около двухсот домов и не могу завершить эту главу, не отметив, с какой любезностью, с каким добросердечием меня всюду встречали. Ходил я не один, всегда в сопровождении какого-нибудь помогавшего мне друга из местных безработных, но все же это наглость — лезть в дом к незнакомцам и просить показать трещины на стене их спальни. Однако люди проявляли необычайную терпимость, понимая как-то почти без объяснений, зачем я задаю свои вопросы и что хотел бы посмотреть. Вломись кто-то ко мне да начни вдруг допытываться, не текут ли потолки, хорош ли мой домовладелец и сильно ли допекают клопы, я посоветовал бы визитеру пойти к черту. Единственный подобный случай произошел, когда навстречу вышла глуховатая женщина, принявшая меня за тайного агента по обследованию нуждаемости, однако и она, быстро смягчившись, дала всю интересующую информацию.

Мне ведомо, что автору негоже касаться кри-

тики его произведений, но я сейчас хотел бы возразить обозревателю «Манчестер Гардиан», который по поводу моих книг высказался так:

«Сидя в Уигане или в столичном Уайтчепеле, мистер Оруэлл неизменно являет нам свой безошибочный дар упускать из вида любого рода позитивные моменты, дабы от всей души чернить и клеймить человечество».

Неправда. Мистер Оруэлл довольно долго «просидел» в Уигане, ничуть не вдохновившись заклеймить тамошнее человечество. Он очень полюбил Уиган, не пейзаж города — его народ. Но одно им и впрямь упущено из вида: знаменитый Уиганский пирс, который ему так хотелось посмотреть[147]. Увы! Старинный деревянный пирс снесен, и даже места, где он находился, с точностью уже не определить.

5

Статистические данные о двух миллионах безработных с легкостью побуждают воспринять это в том смысле, что два миллиона людей без работы,

[147] notes: 147

Построенный на канале XV века пирс для угольных барж был снесен в 1929 г.

а прочая часть населения устроена сравнительно неплохо. Признаться, до недавнего времени я сам думал примерно так. Мои поправки не шли далее того, чтобы дополнить статистику безработицы народом в крайней нужде или по разным причинам просто незарегистрированным и полагать общим числом недоедающих (в Англии все, кому выпало жить на пособие или подобные жалкие средства, недоедают), самое большее, пять миллионов человек.

Колоссальная недооценка! Во-первых, статистикой учитывается лишь непосредственный получатель пособия, — то есть, как правило, глава семейства. Иждивенцы (если им не идут какие-то свои социальные выплаты) в реестрах не фигурируют. Чиновник биржи труда сказал мне, что количество лиц, реально живущих на пособие, можно представить, умножив официальную цифру, по меньшей мере, на три. Уже одно это вместо двух миллионов дает шесть. А кроме того, множество людей работают, но обеспечены ничуть не лучше безработных, ибо заработки их нельзя и близко обозначить как прожиточ-

ный минимум[148]. Учтя и эту категорию лиц, а также их иждивенцев, прибавив сюда стариков пенсионеров и прочую горемычную голь, недоедающего населения набирается далеко за десять миллионов человек. Сэр Джон Орр[149] полагает — двадцать миллионов.

Скажем, тот же достаточно типичный для промышленных областей Уиган. Взятых на страховой учет рабочих здесь числится 36 000 (26 000 мужчин и 10 000 женщин). Из них в начале 1936 года без работы были десять тысяч. Но то зимой, когда шахты функционируют в полную силу, а летом это, вероятно, тысяч двенадцать. Умножьте, как выше пояснялось, на три, получится тридцать тысяч или даже тридцать шесть. Население Уигана — около восьмидесяти семи тысяч; стало быть, на пособие там фактически существует каждый третий. Добавлю, что среди

---

[148] notes: 148

Например, недавнее обследование хлопкопрядильных фабрик Ланкашира показало, что более сорока тысяч *полностью занятых* работников имеют недельный заработок менее тридцати шиллингов. В Престоне, если брать только город, получающих больше тридцати шиллингов обнаружилось шестьсот сорок человек, а меньше этого — три тысячи сто тринадцать (*прим. автора*).

[149] notes: 149

Орр, Джон Бойд (1880–1971) — шотландский ученый и педагог, работавший над проблемой питания и здоровья различных народов (лауреат Нобелевской премии мира 1949 г.).

десяти-двенадцати тысяч тамошних безработных почти половина постоянно на пособии уже в течение семи лет. И пример Уигана на общем фоне наших индустриальных городов не самый худший. Даже Шеффилд, из-за войн или ожидания войны столь преуспевший в последние годы, дает ту же пропорцию: негде работать одному из трех шахтеров.

Впервые оставшись без работы, человек, пока действует его страховка, получает «полную помощь», исчисляемую по следующей недельной норме:

Мужчина.....17ш.
Жена.....9ш.
Каждый ребенок младше 14 лет .....3ш.

Таким образом, общий доход типичной семьи с тремя детьми, один из которых старше четырнадцати, в этот период составит 32 шиллинга плюс то, что сможет заработать старший ребенок. Когда личный страховой фонд исчерпывается, человеку до перевода его на пособие КГП (Комитета Государственной Помощи) двадцать шесть недель выплачивают «переходное пособие» регионального УПБ (Управления Помощи Безработным), нормы коего таковы:

Одинокий мужчина.....15ш.
Мужчина с женой.....24ш.
Ребенок 14–18 лет.....6ш.
Ребенок 11–14 лет.....4ш. 6п
Ребенок 8–11 лет.....4ш.
Ребенок 5–8 лет.....3ш. 6п.
Ребенок 3–5 лет.....3ш.

Здесь недельный доход семьи с тремя детьми, ни один из которых не работает, составит 37ш. 6п. Арендную плату назначают в четверть пособия, то есть она будет минимум 7ш. 6п. (если аренда больше указанной четверти — дадут надбавку, если меньше — соответственно вычтут из пособия). Выплаты КГП теоретически исходят из местных норм, но определяются централизованным фондом по схеме:

Одинокий мужчина.....12ш. 6п.
Мужчина с женой.....23ш.
Старший ребенок.....4ш.
Каждый последующий ребенок.....3ш.

Местные власти полномочны слегка увеличить объем госпособия, доплачивая (или не доплачивая) 2ш. 6п. «на одинокого мужчину» и доводя его недельное содержание до 15ш. Арендная плата при пособии от КГП также должна укладываться

в четверть суммы. Доход указанного выше типичного семейства тут будет 33 шиллинга. Помимо этого в большинстве мест есть дотация на уголь: шесть недель до и шесть недель после Рождества к пособию добавляют по полтора шиллинга (стоимость сотни фунтов топлива).

Нетрудно увидеть, что в среднем доходы семьи при всех вариантах около тридцати шиллингов. Вычтя четвертую часть как плату за жилье, можно убедиться, что каждого члена семьи, будь то ребенок или взрослый, необходимо накормить, одеть, обогреть, в общем — обеспечить на шесть-семь шиллингов в неделю. Таков уровень, на котором существует огромная масса людей, — минимум треть населения индустриальных областей. Официальные службы Проверки средств ведут очень строгий надзор, лишая помощи при малейшем признаке того, что безработный нашел еще какой-то денежный источник. Например, портовые грузчики, которых нанимают-то всего на несколько часов, обязаны ежедневно, утром и вечером, отмечаться на бирже труда, иначе они считаются работавшими и пособие им соответственно урезают. Я наблюдал случаи уклонения от предписаний контрольных органов, но, надо сказать, в промышленных городах,

где еще теплится коллективизм и все соседи хорошо знают друг друга, сделать это значительно сложней, чем в Лондоне. Популярен прием, когда живущий с родителями парень добывает себе фиктивный адрес, чтобы получать отдельное пособие. Однако процветают слежка и доносительство. Знакомого мне безработного заметили за кормлением цыплят во дворе уехавшего на время приятеля. Администрацию тут же оповестили, что у него «куроводческое дело», и ему с немалым трудом удалось опровергнуть клевету. Любимый комический рассказ в Уигане о человеке, которого лишили пособия на основании данных о его работе «возчиком дров». Промыслом этим, по сообщению доброхотов, он занимался ночью. Бедняге пришлось сознаться, что возил он не дрова — собственную мебель, тайком смываясь от кредиторов.

Самым жестоким и бесчеловечным результатом системы Проверки средств является ее способность разбить семью, выгнать из дома немощных, возможно прикованных к постели, стариков. Достигший пенсионных лет вдовец жил бы и жил с кем-нибудь из своих детей, его еженедельный десяток шиллингов шел бы в общий бюджет, родные о нем, вероятно, неплохо

бы заботились. Но нет! Живя у сына или дочери, в реестрах Проверки средств он подпадает под категорию «квартирант», вследствие чего пособие его детям сокращают. И старику за семьдесят приходится селиться в чужом углу, вручая пенсию хозяевам и существуя на грани голода. Я лично был свидетелем подобных вариантов. Такое происходит и сейчас на всей территории Англии, происходит благодаря деятельному надзору Проверки средств.

Степень безработицы на нашем индустриальном севере ужасная, однако тамошняя бедность — чрезвычайная тамошняя бедность — не так очевидна, как нищета в столице. Все выглядит поплоше, поскромней, меньше автомобилей и нарядной публики, но явной голытьбы тоже поменьше. Даже в крупных городах вроде Ливерпуля или Манчестера удивляет малочисленность нищих. Лондон водоворотом втягивает всякий выброшенный за борт народ, и человеческая жизнь в его обширных дебрях теряется сиротливо, безымянно. Пока не нарушишь закон, никто внимания на тебя не обратит, ты можешь вконец опуститься, сгинуть, что вряд ли бы произошло в местах, где вокруг сплошь твои знакомые. Но в промышленных областях ста-

ринный коллективизм еще не выветрился, еще сильна традиция, и там почти у каждого родня — то есть практически всегда найдется кров. В городах с населением пятьдесят-сто тысяч нет даже временных приютов для бездомных (не возникло такой надобности) и, кстати, нет спящих на улице. Кроме того — воздадим справедливость правилам регулирования безработицы — правила эти не препятствуют людям вступать в брак. Семейная жизнь на двадцать три шиллинга в неделю недалека от края нищеты, однако муж с женой все-таки могут свить какое-никакое гнездо, и материально им живется значительно лучше, чем холостяку на его пятнадцать шиллингов. Существование одинокого безработного это кошмар. Живет он порой в ночлежке, а чаще в «меблированных комнатах», платя за недельное спальное место шесть шиллингов, как-то выкручиваясь на остальные девять (обычно шесть на еду, три на одежду, курево и развлечения). Никакого нормального питания и обихода ему ждать не приходится, к тому же постояльца, дающего всего шесть шиллингов, не поощряют находиться в доме больше необходимого. Поэтому дни он проводит, околачиваясь в публичной библиотеке либо ином доступном укрытии от

непогоды. Побыть в тепле — почти главная забота одинокого безработного зимой. В Уигане излюбленным убежищем стали киношки, фантастически дешевые. Туда в любой момент вход открыт за четыре пенса, на утренние сеансы и за два. Даже полуголодный человек с готовностью отдаст два пенса, чтобы не мучиться на морозе. В Шеффилде меня, уставшего, угораздило по пути зайти на лекцию священника — ничего скучнее, бездарней я не слышал и, надеюсь, не услышу. Это оказалось просто физически невыносимо, и ноги сами понесли меня к выходу, но зал был битком набит безработными, согласными внимать всякой бессмыслице, сидя под крышей и в тепле.

Мне встречались безработные холостяки, прозябавшие в крайней нищете. Помню целую их колонию в одном городе, где они, в общем-то незаконно, заняли брошенную развалюху. Обстановку составлял мебельный хлам, вероятно со свалок; запомнилось, что столом там служила тумба с мраморной доской от старого умывальника. Впрочем, подобные вещи существуют как исключение. Холостяки в рабочей среде редкость, а женатому человеку безработица не так уж сильно меняет образ жизни. Дом его становится беднее, но все же остается домом, и стандартная

ненормальная ситуация, когда муж без работы, а жена трудится в прежнем режиме, нисколько не колеблет позицию мужского превосходства. Не бывает такого, чтобы, как у среднего класса, центром семьи являлись женщина или ребенок, — у рабочего сословия это всегда и только мужчина, хозяин. Никогда, например, не увидишь мужа, занятого уборкой, мытьем посуды и т. п. Безработица не сломала эту традицию, что выглядит несколько несправедливо. Муж с утра до ночи баклуши бьет, тогда как у жены забот даже прибавилось, поскольку ей надо со всем управиться на меньшие деньги. Однако жены, насколько я мог заметить, не протестуют. Полагаю, они, как и мужья, чувствуют, что мужчина утратит мужественность, если вдруг просто по причине отсутствия рабочих мест превратится в «хозяюшку».

Но отупляюще и оглупляюще безработица действует на всех, семейных или одиноких, и на мужчин сильнее, чем на женщин. Тут самый блистательный интеллект тускнеет. Несколько раз я встречал безработных с несомненным литературным даром; есть и другие, мне лично не знакомые, но чьи тексты мне попадались. Время от времени, очень редко, на страницах

периодики появляются то их очерки, то небольшие рассказы, безусловно превосходящие массу поделок крикливой рекламной журналистики. Почему же они так скупо проявляют свой талант? Досуга у них хоть отбавляй, почему бы им не заняться писательством? А потому что для писательской работы нужны не только комфорт и одиночество (добиться одиночества в пролетарских домах весьма сложно), необходим сосредоточенный покой. Но попробуй-ка обрести душевное равновесие и волю, без которой ничего не создашь, когда над тобой черной тучей вечно висит отсутствие работы. Тем не менее, человек, полюбивший книги, может хотя бы занять себя чтением. Ну а как насчет тех, кому и читать трудновато? Взять, например, шахтера, с детства занятого горняцким делом, обученного только этому и ничему иному. Ему-то, черт подери, чем заполнить свои пустые дни? Советы искать работу — чушь. Нет никакой работы, и всякому это известно. Да и нельзя искать работу ежедневно на протяжении семи лет. Существуют огородные участки, помогающие скоротать время и подкормить семейство, но в больших городах они есть у редких счастливцев. Несколько лет назад для безработных были организованы центры

обучения ремеслам. В целом затея провалилась, но кое-где такие центры пока действуют. Я там бывал. В теплых помещениях специалисты учат людей столярничать, сапожничать, ткать на ручных станках, плести корзины и циновки и т. п. — идея в том, что человек, бесплатно получая инструмент и материал, может сам изготовить что-нибудь полезное для дома, для собственного быта. От большинства социалистов я слышал резко отрицательные отзывы: всё это, по их мнению, было затеяно лишь с целью держать безработных в покорном смирении, внушая иллюзию заботы о них. Подоплека, несомненно, именно такова. Займите человека починкой обуви, и у него убавится тяги к статьям «Дейли Уокер»[150]. Но еще эта тошно-благостная атмосфера, как на собраниях «молодых христиан»[151]. Безработные здесь, в основном, из привыкших брать под козырек, сам вид такого пролетария мгновенно сообщает: перед вами сторонник умеренной линии и голосует он всегда за консерваторов. И все

[150] notes: 150

«Дейли Уокер» (*Daily Worker*) — ежедневная газета, орган Коммунистической партии Великобритании; выходила с 1930 по 1966 гг.

[151] notes: 151

Имеется в виду «Ассоциация молодых христиан» — религиозно-благотворительная организация, которая занимается популяризацией религии среди молодежи, содержит свои клубы, общежития и т. п.

же однозначную оценку дать трудно. Все-таки, наверное, лучше человеку возиться с ерундой типа плетения циновок из морской травы, нежели вообще не делать абсолютно ничего.

Гораздо благотворнее для безработных деятельность НДБТ — Народного движения безработных трудящихся. Эта революционная организация сплачивает потерявших работу людей, помогает во время забастовок противостоять штрейкбрехерству, дает юридические советы относительно официальной Проверки средств. Движение возникло стихийно, усилиями и грошами самих безработных. Я много общался с его участниками и восхищаюсь активистами, столь же обтрепанными, недокормленными, как рядовая масса. Еще более меня восхищают их такт, терпение: уговорить бедняка, живущего на пособие, вносить хотя бы «пенс в неделю» нелегко. Английский пролетариат, как я уже говорил, не демонстрирует особых лидерских талантов, зато прекрасно умеет организоваться. Свидетельство тому все профсоюзное движение; великолепны и мужские рабочие клубы (по сути, славные, отлично налаженные кооперативные пабы), что так популярны в Йоркшире. Во многих городах НБДТ имеет свои помещения, устраивает выступления

коммунистических ораторов. Жаль только, что приходящий туда народ просто сидит у печки да иногда играет в домино. Если бы еще взять кое-что от идеи обучения ремеслам, было бы совсем здорово. Жутко смотреть на искусных рабочих, год за годом тупеющих в беспросветном безделье. Обязательно надо придумать, как и каким полезным делом занять их руки, не сворачивая при этом на стиль безумно обожающих какао «молодых христиан». Необходимо также уяснить, что для нескольких миллионов англичан (если снова не полыхнет война) никогда в этой жизни не найдется настоящей работы. Но одно здесь и можно и нужно срочно предпринять — выделить каждому желающему огородный участок, бесплатно снабдив людей инвентарем. Позорно, что у мужчин, обреченных влачить существование на пособие, нет возможности хотя бы вырастить овощи для своей семьи.

В полноте проблема безработицы открывается лишь в промышленных областях. На юге это тоже существует, но не так плотно, не так неизбывно. Во множестве сельских местечек о безработных едва слышали, в южных городах не увидишь целые районы, населенные получателями социальной помощи. Только пожив на улицах, где все

вокруг лишены работы, где вероятность ее получения видится равной шансу заиметь аэроплан и значительно меньшей, нежели выигрыш сотни фунтов в почтовом футбольном тотализаторе, начнешь улавливать перемены внутри нашего общества. А то, что некий сдвиг произошел, сомнений не вызывает. Положение беднейших пролетариев в корне отличается от ситуации, имевшей место семь-восемь лет назад.

Сам я впервые осознал проблему в 1928-м. Я тогда только что вернулся из Бирмы, где «безработица» была лишь словом, а уезжал я туда юношей, в период еще продолжавшегося послевоенного бума. И в первых встречах с безработными британцами меня просто сразило, что они стыдились своих горестных обстоятельств. Я очень мало знал, но, тем не менее, уже не мог тешиться представлением, будто в том случае, когда потеря иностранных рынков приводит к появлению двух миллионов безработных, эти два миллиона виноваты более персон, у которых не вышло «зачистить Калькутту». В те дни, надо заметить, никто не желал признавать неизбежность безработицы, поскольку это означало бы признание ее длительной перспективы. В средних классах по-прежнему толковали о «тянущих пособие

лентяях», о том, что «захочешь найти работу, так найдешь», и подобное мышление, конечно, заражало самых пролетариев. Помню собственное изумление, когда, узнав среду бродяг и нищих, я обнаружил, что изрядная доля людей, которых меня приучили считать бандой циничных паразитов, состояла из вполне благонравных молодых шахтеров и ткачей, глядевших на свою судьбу со скорбным недоумением, как звери, угодившие в капкан. Им просто было не понять, что приключилось. Они ведь созданы трудиться, а нате-ка! И поначалу неизбежно их мучило сознание деградации. Таково было самоощущение безработных — беда, свалившаяся лично на тебя и по твоей личной вине.

Когда вдруг четверть миллиона шахтеров остается без работы, среди них обязательно окажется и какой-нибудь неприметный житель Ньюкасла Арчи Смит. Арчи Смит — просто один из четверти миллиона, статистическая единица. Но человеку сложно воспринимать себя единицей статистики. И пока живущий напротив Берти Джонс продолжает работать, Смит не может не чувствовать себя позорным неудачником. Соответственно, то переживание бессилия и отчаяния, которое является едва ли не самым

большим злом безработицы, — хуже любых тягот, хуже неотвратимо деморализующего безделья (еще хуже лишь физическое вырождение детей, растущих в семье безработного). Всякий, кто видел постановку пьесу Гринвуда «Любовь на пособии», помнит душераздирающий момент, когда хороший, несчастный и недалекий работяга бьется головой о стол с криком: «Боже, пошли мне хоть какую-то работу!». Не драматическое преувеличение — реальность. Такой крик, и наверно теми же словами, десятки, сотни тысяч раз звучал в английских домах за прошедшие пятнадцать лет.

Теперь, думаю, не звучит — по крайней мере, не так часто. Жизнь есть жизнь: что толку брыкаться? В конце концов, даже до среднего класса — о, даже до рыцарей бриджа в провинциальных городках! — доходит наличие такой штуки, как безработица. Совсем недавно рокотавшее за каждым благородным чайным столом: «Дорогой мой, не верю я во всю эту чепуху насчет безработицы. Ну отчего же мы буквально на прошлой неделе искали человека прополоть клумбы и не нашли? Работать они не желают — вот что!..» слышится уже реже. Что касается рабочего сословия, у него прибавилось знаний по части политэкономии.

Думаю, немалую роль сыграла «Дейли Уокер», чье влияние растет пропорционально тиражу. Так или иначе, опыт освоен, и не только из-за масштабов безработицы, а по причине её длительности. Годами получая вспомоществование, люди свыкаются; неприятное ощущение остается, но стыд уходит. Как глубоко укорененный страх перед долгами ослаб благодаря системе покупок в рассрочку, так поколеблена старинная боязнь потерять независимость, живя на подачки. На улочках Уигана и Барнсли я видел нужду всех сортов, но осознанного положения кормящихся за счет общества нищих наблюдалось меньше, чем десять лет назад. В народе уяснили, что с позорной безработицей ничего не поделаешь. Теперь не один Арчи Смит, теперь и сосед его Берти Джонс без работы, и оба уже давным-давно. Взгляд на вещи меняется, когда всем достается одинаково.

Итак, жителям целых регионов предстоит весь их, так сказать, жизненный срок существовать на госпособии. Одно, по-моему, здесь ободряет — пожалуй, даже обнадеживает, — люди, приняв это, не пали духом. В отличие от представителей среднего класса, рабочих нищета не пришибает до земли. Взять хотя бы тот факт, что пролетарий

и будучи на пособии спокойно, с легким сердцем женится. Это, конечно, раздражает пожилых леди в Брайтоне, но доказывает присущий народу здравый смысл: людям ясно, что потеря работы вовсе не означает утрату человеческого естества. Так что определенным образом в районах экономического бедствия не столь ужасно, как могло бы быть. Жизнь там течет достаточно нормально, значительно нормальней, чем ты был вправе ожидать при данных обстоятельствах. Семейства обнищали, но традиция семейного дома прочна. Народ живет как бы сокращенной версией прежнего быта. Вместо гневной обиды на судьбу он притерпелся, понизив свои стандарты.

Кстати, понижение стандартов не обязательно идет за счет отказа от излишеств ради насущного, чаще как раз наоборот — путем, если задуматься, более органичным. За десятилетие экономической депрессии заметно вырос спрос на дешевую роскошь. Основное влияние, я полагаю, оказали два послевоенных фактора — кинематограф и массовое производство дешевой нарядной одежды. Юнец, подростком оставивший школу, временно служит где-нибудь посыльным, а к двадцати он становится безработным и, вероятно, на всю жизнь, но за пару фунтов в рассрочку можно

купить себе костюм, который, если не приглядываться, словно сшит на Сэвил-Роу[152]. Девчонка и в платье за меньшую цену может смотреться, как картинка журнала мод. У вас никаких перспектив, для жилья только угол в сырой спальне и в кармане только три пенса, но, недорого прифрантившись, вы можете постоять на перекрестке, всласть предаваясь грезам, представляя себя Кларком Гейблом или Гретой Гарбо, что многое вам компенсирует. И даже дома обычно найдется чашка чая («дивного чая с ароматом сказки»), и у отца, что сидит без работы восьмой год, периодически минуты счастья возле чайника с заваркой «элитного сорта, выведенного на специальных плантациях для русского цесаревича».

Послевоенная торговля должна была отреагировать на спрос оголодавшей, обносившейся клиентуры, так что излишества теперь почти всегда дешевле товаров первой необходимости. Одна пара надежной прочной обуви стоит столько же, сколько две пары шикарно отделанных штиблет. За цену одной порции плотной еды можно купить два фунта карамелек. Мяса на три пенса много не купишь, зато получишь гору

---

[152] notes: 152
Лондонская улица с дорогими ателье элегантной мужской одежды.

«рыбы-с-чипсами». Пинта молока стоит три пенса, пинта даже «легкого» пива — четыре пенса, но аспирина дадут семь пакетиков на пенни, а пачки чая хватит для сорока чашек. И прежде всего, азартные игры — роскошество по самым низким ценам. Даже практически нищие, имея пенни на лотерею, могут приобрести несколько дней надежды («чтоб интерес был жить», как они выражаются). Игровой бизнес вырос чуть ли не в главную отрасль национальной индустрии. Скажем, почтовой футбольный тотализатор с годовым оборотом около шести миллионов фунтов, выкаченных преимущественно из пролетарских карманов. Мне случилось находиться в Йоркшире, когда Гитлер вновь оккупировал Рейнскую область. Но Гитлер, Локарно[153], фашизм и угроза войны едва мерцали на горизонте местных интересов, зато решение Союза футбольных клубов Англии заранее не объявлять календарь матчей (попытка подавить футбольные тотализаторы) ввергла население Йоркшира в пучину ярости. А еще диво современной электротехники, щедро

[153] notes: 153

Имеется в виду состоявшая в октябре 1925 года в Локарно (Швейцария) конференция ряда западноевропейских держав, подписавших Рейнский гарантийный пакт о неприкосновенности германо-французских и германо-бельгийских границ и сохранении демилитаризованной Рейнской зоны.

дарящей свои фокусы публике с полупустым желудком. Можешь всю ночь дрожать из-за отсутствия теплого одеяла, но уж утром пойдешь в городскую библиотеку — прочтешь в газетах все новости, что для твоей забавы телеграфом присланы из Сан-Франциско и Сингапура. Двадцать миллионов людей недоедают, зато каждому англичанину доступно радио. Потерянное в нормальном питании нам восполняют электротехникой. Целые категории рабочих дочиста ограблены, народу действительно нужна компенсация, частью которой выступает доступный шик — блестящий лак на тусклых буднях.

Вас лично увлекает такой шик? Меня — нет. Но, возможно, установка, которую выбрал простой народ, есть лучшее, что эти люди могли сделать в сложившейся ситуации. Они не стали ни бунтарями, ни холопами, а просто сохранили себя, свое достоинство и успокоились, облюбовав стандарты «рыбы-с-чипсами». Бог знает, какова бы оказалась альтернатива, продлись в их среде настроение смертельной безнадежности. Это могло бы привести к восстанию, а бунт в столь твердо управляемой стране, как Англия, обернулся бы лишь морем крови и режимом диких репрессий.

Разумеется, послевоенный расцвет всякой гро-

шовой роскоши сыграл на руку властям. И весьма вероятно, рыба-с-чипсами, чулки из искусственного шелка, консервные деликатесы, недорогой шоколад (пять плиточек за шесть пенсов), кино, радио, футбольный тотализатор и крепкий чай между делом предотвратили революцию. Нас даже порой уверяют, что все это коварнейший маневр правящих классов — своего рода версия «хлеба и зрелищ», дабы держать в повиновении толпы безработных. Однако мой опыт контактов с высшим классом не убеждает относительно его столь тонкой изощренности. Да, так случилось, но само собой — в процессе органичного взаимодействия рыночных целей и стремления полуголодных людей хоть чем-либо себя вознаградить.

6

Когда я был маленьким мальчиком, каждый семестр в нашу школу приезжал университетский историк, выразительно читавший очередную лекцию о знаменитых битвах при Бленхейме, Аустерлице и т. д. Лектор любил цитировать наполеоновский афоризм «армия сильна сытым желудком» и неизменно заканчивал выступле-

ние обращенным к аудитории вопросом: «Так что важней всего на свете?». Ожидалось, что мы хором крикнем: «Еда!», и если зал молчал, историка это разочаровывало.

Определенным образом тот лектор был прав. Человек, в первую очередь, емкость для пищи; прочие его деяния и таланты, возможно, ближе подобию Божию, однако все это уже как производное, а вначале еда. Да и впоследствии — покойного хоронят, его слова и дела забывают, но все им съеденное продолжает жить в здоровой или хилой плоти его детей. Думаю, есть основание поспорить, заявив, что смена рациона важнее смены монархических династий и даже религиозных верований. Например, без изобретения консервов вряд ли могла бы состояться мировая война. История Англии последних четырех веков была бы совершенно иной без появления в конце средневековья корнеплодов и многих других овощей, а позже — разных безалкогольных (чай, кофе, какао) и спиртных напитков, к которым не привык пивший лишь пиво британец. Даже удивительно, как редко признается тотальное значение продовольствия. Всюду памятники политикам, поэтам, епископам, но умельцам коптить грудинку или выращивать томаты — ни-

когда. Император Карл V, рассказывают, почтил монументом одного гения за рецепт ярмутской копченой сельди, однако кроме этого мне ничего подобного не вспоминается.

Так что важнейшим (если смотреть в будущее — действительно главным) пунктом относительно безработных является их рацион. Как уже говорилось, типичное семейство безработного имеет около тридцати шиллингов в неделю, отдавая примерно четверть суммы за жилье. Стоит детальней изучить расходную часть семейного бюджета. По моей просьбе безработный шахтер и его жена составили список их обычных еженедельных трат. Пособие этого шахтера составляло тридцать два шиллинга, на его иждивении кроме супруги были двое детей, малыш двух с половиной лет и девятимесячный младенец. И вот перечень расходов:

наименование — шиллинги — пенсы
Арендная плата за дом — 9 — 0,5
Клуб покупателей бонусной одежды — 3 — 0
Уголь — 3 — 0,5
Газ — 1 — 3
Молоко — 0 — 10,5
Профсоюзные взносы — 0 — 3
Страховки (детские) — 0 — 2

Мясо — 2 — 6
Мука (16 фунтов) — 3 — 4
Дрожжи — 0 — 4
Картофель — 1 — 0
Дрипинг — 0 — 10
Маргарин — 0 — 10
Бекон — 1 — 2
Сахар — 1 — 9
Чай — 1 — 0
Джем — 0 — 7,5
Горох и капуста — 0 — 6
Морковь и лук — 0 — 4
Овсяные хлопья — 0 — 4,5
Мыло, порошки, синька и т. п. — 0 — 10
Итого — 32 — 0

Дополнительно к перечисленным продуктам от клиники Охраны детства им еженедельно выдавались три пачки сухого молока.

Теперь несколько комментариев. Сразу видно, что многое в список не вошло: соль, перец, уксус, сапожная вакса, дрова для растопки, бритвенные лезвия, предметы утвари или постельного белья взамен пришедших в негодность (называю первое, что вспомнилось). Любые деньги на это означали бы сокращение трат по какой-либо графе. Более серьезная статья расхода — табак.

Хотя данный шахтер не был злостным курильщиком, на сигареты ему требовалось уж никак не меньше шиллинга в неделю, стало быть, еще минус из продовольствия. Дороговато обходится членство в «клубах покупателей бонусной одежды», организованных крупными торговыми фирмами во всех промышленных городах, однако без клубных скидок безработным вообще бы не купить себе новых вещей. Не знаю, существует ли возможность покупать через такие клубы и постельное белье, но у этого шахтерского семейства относительно простынь и наволочек наблюдался жуткий дефицит.

Итак, за вычетом расходов на табак и прочие «не продовольственные» нужды, здесь получается шестнадцать шиллингов пять с половиной пенсов. Оставим ровно шестнадцать и сбросим со счетов младенца, которого бесплатно снабжает сухим молоком Охрана детства. Шестнадцать шиллингов, чтобы неделю обеспечивать едой и топливом троих, ребенка и двух взрослых. Вопрос: возможно ли это даже теоретически? В период дебатов по поводу Проверки средств разгорелся омерзительный публичный спор насчет недельного прожиточного минимума. Сколько помнится, одна школа диетологов представила

схему питания человека на пять шиллингов девять пенсов, а другая, более щедрая, — на пять и девять с половиной. После чего в газеты посыпались письма от множества персон, утверждавших, что они кормятся всего на четыре шиллинга в неделю. Приведу один такого рода недельный продуктовый бюджет (опубликован был в «Нью Стейтсмен», перепечатан в «Ньюс оф зе Уорлд»[154]):

наименование — количество — шиллинги — пенсы
Серый хлеб — 3 буханки — 1 — 0
Маргарин — 0,5 фунта — 0 — 2,5
Дрипинг — 0,5 фунта — 0 — 3
Сыр — 1 фунт — 0 — 7
Лук — 1 фунт — 0 — 1,5
Морковь — 1 фунт — 0 — 1,5
Печенье (в остатках) — 1 фунт — 0 — 4
Финики — 2 фунта — 0 — 6
Сгущенное молоко — 1 банка — 0 — 5
Апельсин — 1 штука — 0 — 5
Итого — 3 — 11,5

---

[154] notes: 154

«Нью Стейтсмен» (*New Statesman*) — еженедельный общеполитический журнал, отражавший взгляды правых лейбористов; «Ньюс оф зе Уорлд» (*News of the World*) — популярная газета бульварного толка.

Обратите внимание на отсутствие расходной строки о топливе. Фактически автор сообщил, что не мог себе позволить покупку угля и дров и ел все продукты в сыром виде. Было это письмо подлинным или фальшивым, сейчас значения не имеет. Главным, я полагаю, сам этот образчик мудрого расходования средств — с необходимостью кормиться на три шиллинга и одиннадцать с половиной пенсов в неделю едва ли удалось бы изобрести более питательное меню. Приблизительно такой рацион и возможен для живущих на пособие по безработице, если действительно сосредоточится на самых необходимых продуктах, а не как-то иначе.

Однако сравните данный список с приведенным ранее бюджетом безработного шахтера. Шахтерское семейство тратит лишь десять пенсов в неделю на зеленые овощи, лишь десять с половиной пенсов на молоко (напомню, что в семье кроме младенца ребенок младше трех лет) и ни полпенни на фрукты, зато шиллинг и девять пенсов уходит на сахар (около восьми фунтов сахара!) и целый шиллинг — на чай. Два с половиной шиллинга на мясо могли бы обеспечить приготовленный домашним способом настоящий мясной кусок, когда бы вместо этого

не покупалось банок пять говяжьей тушенки. Соответственно, в основе рациона белый хлеб с маргарином, мясные консервы, картофель и сладкий чай — кошмарное питание. Не лучше ли больше тратить на полезные продукты типа апельсинов или серого хлеба с отрубями, даже если, подобно автору письма в «Нью Стейтсмен», экономить на топливе и есть морковь сырой? Да, лучше, однако люди из народа никогда на это пойдут. Простой человек предпочтет голодать, только бы не питаться серым хлебом и сырой морковью. И специфическое зло: чем меньше денег, тем слабее влечение к здоровой пище. Миллионер способен наслаждаться завтраком из апельсинового сока и ржаных хлебцев, а безработный не способен. Тут вперед выступает та самая тенденция, о которой я говорил в конце предыдущей главы. Когда ты безработный — стало быть, недокормленный, измученный бедностью, тоской и скукой, — не тянет тебя к унылому здоровому питанию, тебе хочется чего-то «вкусненького». Купим-ка на три пенни три пакета чипсов! Сбегаем, возьмем брикет мороженного за два пенса! Поставим чайник и выпьем по чашечке отличного крепкого чайку! Вот так работает сознание, когда сидишь на пособии по

безработице. Сдобный белый хлеб с маргарином и сладкий чай здоровья совсем не прибавляют, зато они приятнее (так, по крайней мере, кажется большинству) серого хлеба с дрипингом и чистой воды. Безработица это бескрайняя ноющая горечь, которая постоянно нуждается в дозах болеутоляющего — особенно чая, опиума англичан. Чашка чая или хоть аспирин как временные стимуляторы гораздо эффективней, нежели пресный серый хлеб.

А результат налицо — физическая деградация, которую можно наблюдать воочию либо увидеть в цифрах демографической статистики. Показатели физических данных у обитателей индустриальных городов крайне низки, ниже чем у лондонских рабочих. Шагая по улицам Шеффилда, ощущаешь себя словно среди древних пещерных жителей. Шахтеры сложены великолепно, но они маленького роста, и та мускулатура, что обретается их трудом, отнюдь не передается по наследству их потомкам. Во всяком случае, характерные местные дефекты представлены вполне наглядно. Наиболее явный признак неполноценного питания — плохие зубы. В Ланкашире придется долго искать пролетария с хорошими, здоровыми зубами. Вообще

свои зубы у взрослых людей тут увидишь нечасто, да и на детских зубах черноватая гниль, в чем, по-видимому, виноват дефицит кальция. Дантисты говорили мне, что здешний человек, после тридцати сохранивший хоть часть своих зубов, — аномалия. От разных жителей Уигана я слышал, что желательно все зубы повыдергивать как можно раньше. «Беда только с этими зубами», — уверяла одна женщина. В очередном доме, где я останавливался, жили пятеро людей, самому старшему было сорок три, самому юному — пятнадцать. Лишь у паренька еще имелись свои зубы и, с полной очевидностью, ненадолго. Что касается демографии крупных промышленных городов, тот факт, что общая смертность и смертность младенцев в беднейших кварталах всегда минимум вдвое превышает этот показатель в кварталах солидных обитателей, вряд ли требует комментариев.

Разумеется, не стоит напрямую связывать телесное несовершенство с безработицей индустриальных областей, ибо физическая форма англичан давно клонится к упадку по всей стране. Вывод этот не доказать статистикой, но к нему неизбежно ведут зрительные впечатления и в сельской глуши, и в процветающей столице.

Во время похорон Георга V, когда тело короля везли к Вестминстеру, мне, зажатому толпой, случилось пару часов простоять на Трафальгарской площади. Глядя вокруг, нельзя было не заметить поразительно чахлую наружность соотечественников. Окружала меня публика совсем не пролетарская — в основном, племя торговцев или коммивояжеров с вкраплением более зажиточного элемента. Ну и видок был у компании! Хилая плоть, бледные сероватые лица под хмурым лондонским небом! Трудно было отыскать глазами мужчину крепкого сложения или ладную женскую фигуру, и ни пятнышка свежего румянца на щеках. При появлении траурного кортежа все джентльмены сняли шляпы, и, как сказал стоявший на другой стороне Стрэнда мой приятель: «Единственным цветным пятном в картине зарозовели лысины». Мне показалось, даже гвардия в отряде, сопровождавшем королевский гроб, выглядела уже не так, как двадцать-тридцать лет назад. Где же восхищавшие меня в детстве гиганты с мощно выпяченной грудью и густыми усами, взлетавшими парой орлиных крыльев? Полегли, погребены в болотах Фландрии, я полагаю. Вместо них бледные юноши, выбранные в гвардейцы за свой рост и

соответственно похожие на длинные жерди в мундирах (нынешний англичанин ростом более шести футов это кожа да кости с мизерной добавкой прочего телесного вещества). Отчасти, конечно, физическое вырождение есть следствие того, что Мировая война, отобрав миллион самых здоровых парней, выкосила их, в большинстве не успевших дать потомство. Но процесс, видимо, начался раньше благодаря нездоровому образу жизни, внедренному промышленной эпохой. Я не имею в виду «городской уклад» (во многих отношениях город создает условия лучше деревенских) — я о нынешней технике, снабжающей человека сплошными эрзацами всего на свете. В конечном счете, как мы видим, консервы — оружие губительнее пулеметов.

К сожалению, английские пролетарии (да и вообще все англичане) относительно еды проявляют исключительное невежество и расточительность. Я уже писал когда-то, насколько цивилизованнее относится к пище французский рабочий, и не могу представить в его доме обычного британского транжирства. Конечно, на кухнях самых нищих безработных мотовства не заметишь, но там, где появляется возможность небрежно выкинуть продукт, его частенько и вы-

кидывают. Есть просто поразительные примеры такого рода. Даже обычай северных краев выпекать собственный домашний хлеб изначально несколько расточителен: у перегруженной заботами хозяйки нет времени печь хлеб чаще одного, от силы двух раз в неделю и нельзя знать заранее, сколько будет съедено, а сколько пойдет на помойку, так что пекут с огромными излишками. Обычно разом выпекается шесть больших пшеничных караваев и двадцать булок. Все это в русле старинного широкого отношения к жизни — милое английское качество, но злосчастное в наши дни.

И всюду, насколько мне известно, хлеб из непросеянной муки английским простым людом отвергается; в пролетарских кварталах его и не купишь. Иногда эту неприязнь объясняют — мол, серый хлеб «с трухой». Подозреваю, истинной причиной является то, что серый хлеб путают с черным, который ассоциативно издавна связан с папизмом[155] и деревянными башмаками. (Хватает в Ланкашире и католиков, и деревянных башмаков. Жаль, черного хлеба больше нет!). На здоровую пищу англичанин, особенно про-

[155] notes: 155

Т. е. католицизмом, враждебно воспринимаемым пролетарским, в массе — протестантским, населением.

столюдин, морщит губу почти автоматически. Год от года растет число людей, предпочитающих рыбные или овощные консервы настоящей рыбе и настоящему горошку, и уже многие, кто могут купить к чаю настоящее молоко, охотнее покупают сгущенку — даже эту жуть из муки и сахара, на жестяных банках которой крупная надпись «ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ НЕПРИГОДНО». Кое-где предпринимаются попытки научить безработных больше ценить полезные продукты и умнее тратить деньги. Как отнестись к подобным акциям? Тут разрывает двойственное чувство. Я слышал речь одного коммуниста, с трибуны яростно громившего все это. В Лондоне, говорил он, фаланги светских дам имеют наглость отправляться в Ист-Энд, дабы учить жен безработных правильно делать покупки. Оратор приводил этот факт как образчик мышления правящего класса: сначала приговорить семью к жизни на тридцать шиллингов в неделю, а потом с дьявольским нахальством поучать бедняков, как тем расходовать свои гроши. Сердцем я признаю — он прав. И все-таки обидно, что лишь по недостатку знания и воспитания люди глотают консервную пакость, качеством несравнимую с коровьем молоком.

Сомневаюсь, впрочем, что, хорошо усвоив уроки бережливости, человек без работы извлек бы много выгоды. Именно потому, что он не бережлив, пособия держатся на относительно высоком уровне. Государство дает безработному пятнадцать шиллингов в неделю, поскольку это минимальная сумма, позволяющая англичанину выжить. Будь он, скажем, индийским или японским кули, умеющим существовать на рисе с луком, то получал бы не пятнадцать шиллингов в неделю, а, если очень повезет, пятнадцать шиллингов в месяц. Хотя наши пособия и мизерны, но определены для населения с весьма высокими запросами и весьма скудным понятием об экономии. А предположим, научился бы английский безработный управляться с деньгами, выказал бы свою расчетливость, — что ж, думаю, недолго бы ему осталось ждать значительного сокращения пособия.

Существенно облегчает жизнь северных безработных дешевизна топлива. В шахтерских краях цена за сто фунтов угля около полутора шиллингов, тогда как в южной Англии — два с половиной. Работающие на шахте вообще имеют право брать уголь по восемь-девять шиллингов за тонну и те из них, у кого в доме есть подвалы,

иногда, сделав обширный запас, продают топливо (подозреваю — нелегально) безработным соседям. Кроме того, у безработных широко и постоянно практикуется кража угля. Я называю это «кражей» соответственно формальной стороне действия, хотя ущерба от него нет никому и никакого. В горах поднятого на поверхность шлака всегда есть обломки угля, и безработные часами выбирают его из отвалов. С утра до ночи бродит по этим странным серым холмам народ с мешками и корзинами; в любой час видишь людей, ползающих сквозь сернистый дым (насыпи шлака часто тлеют изнутри), принужденных выискивать там и сям крохотные угольные самородки. Встречаешь уезжающих, катящих на своих диковинных велосипедах (собранных из ржавого старья со свалки, без седел, без цепей, почти всегда без шин), поперек которых приторочены мешки с какой-нибудь полусотней фунтов угля — трофеем за день поисков. Во время забастовок, когда всем туго с топливом, шахтеры кирками и совками так перекапывают шлак, что некоторые холмы сплошь покрываются пещерами, а в периоды длительных забастовок шахтеры, найдя выход угольной жилы, на много ярдов углубляются под землю.

В Уигане у безработных шлак стал объектом столь жестокой конкуренции, что в местном обиходе появилось особенное состязание — «бой за уголь». На него стоит посмотреть; я даже удивляюсь, что это еще не сняли для кино. Знакомый безработный взялся показать мне весь процесс. Мы добрались до места, до гряды отвалов вдоль железнодорожной линии. Пара сотен людей в драном старье, у всех под полами пальто подвязаны мешки и отбойные молотки, ждали, стоя «на высотке» (гигантской куче шлака). Поднятый из шахты свежий шлак грузовиками доставляется к вершине очередного отвала. Суть «боя за уголь» состоит в том, чтобы попасть на этот движущийся автопоезд; шлак из грузовика, в который ты сможешь запрыгнуть на ходу, считается твоим. Вот показалась вереница машин — с диким воплем толпа ринулась вниз по откосу, торопясь поймать грузовики на объезде холма. Даже на этом повороте машины шли со скоростью двадцать миль в час. Но народ прыгал и, уцепившись за кольца задних бортов, карабкаясь по бамперам, в кузова забирались по пять-десять человек. Водители внимания на это не обращали. Сгрузив шлак на гребне отвала, машины поехали обратно к шахте, откуда уже двигалась новая автоколонна. Вновь

повторился бешеный пиратский натиск оборванцев. В конце концов, оба заезда проиграли не более полусотни участников.

Мы поднялись к вершине холма. Мужчины разгребали привезенный шлак, а их жены и дети, ползая на коленях, проворно шаря руками во влажной пустой породе, выискивали куски угля размером с яйцо или меньше. Какая-то женщина хищно цапнула маленький осколок, потерла его о передник, удостоверилась, что уголь, и заботливо опустила в мешок. Конечно, беря грузовик на абордаж, не знаешь, что он везет: может, просто камень из ходового штрека, а может, лишь глинистый сланец тоннельной кровли. Никакого угля в таком сланце нет, однако имеется другой горючий минерал, так называемый «кеннел» («кеннельский уголь»), который очень похож на сланец, только чуть темнее и наподобие шиферных сланцев легко колется параллельными слоями. Тоже топливо, коммерчески для добычи невыгодное, но достаточно сносное, чтобы задаром себе его разыскивать. И те, кому достались грузовики глинистого сланца, тщательно выбирали «кеннел», надкалывая молотками сомнительные куски. У подножья «высотки» неудачники двух сегодняшних боев за уголь

подбирали скатившиеся крохи угля не крупнее лесного ореха, радуясь и такой поживе.

Мы оставались там до конца. За пару часов весь привезенный в тот день шлак был просеян до последней крошки. Затем, взвалив мешки на плечи или пристроив их к велосипедам, люди отправились в двухмильный обратный путь до Уигана. Большинство семей собрали фунтов по двадцать-тридцать угля или «кеннела», так что в общей сложности покража составила от пяти до десяти тонн топлива. Этот грабительский промысел в Уигане ведется ежедневно (по крайней мере, зимой). Занятие, разумеется, чрезвычайно опасное. В тот день все обошлось благополучно, но несколько недель назад один человек, попав под грузовик, лишился ног, а неделю спустя другому размозжило пальцы. Хотя всем ясно, что оставшийся в грудах шлака уголь просто пропадет, формально это все же воровство, и для порядка компании через суд систематически штрафуют каких-нибудь очередных грабителей, вот и тем утром местная газета сообщила о наказании двух незаконных сборщиков. Но меры эти никого не трогают (один из названных газетой штрафников при мне спокойно продолжал рыться в отвале), а штрафы шахтеры оплачивают в складчину.

Для всех дело понятное: должен же безработный откуда-то брать топливо. И каждый день сотни мужчин рискуют головой, сотни женщин часами роются в грязи ради мешка скверного топлива ценой меньше десятка пенсов.

Ярким воспоминанием о Ланкашире стоит перед глазами сцена: замотанная шалью коренастая женщина в дерюжным фартуке, в тяжелых черных башмаках, ползает на коленях по сырому грязному шлаку — на ледяном ветру старательно выискивает крохи угля. И люди вполне готовы так надрываться — зимой они на все готовы ради топлива: оно тогда едва ли не важней еды. А вокруг до самого горизонта гигантские конусы отвалов и вышки шахтных лебедок, и ни одна шахта не способна продать весь свой добытый уголь. Поневоле вспомнишь майора Дугласа[156].

7

По пути на север глазам, привыкшим к виду юга или востока Англии, огромная разница становит-

---

[156] notes: 156

Дуглас, Клиффорд Хью (1879–1952) — британский военный инженер, ставший экономистом. Автор теории социального кредита, выступавший за справедливое распределение общественных доходов и против ростовщичества частных банков.

ся заметна только после Бирмингема. В Ковентри ты словно в лондонском Финсбери-парке, бирмингемский Бычий рынок мало чем отличается от рынка в Норидже, и между всеми городами центральных графств тянется та же садово-коттеджная цивилизация, что на юге. Только еще севернее, после «Гончарного округа»[157], перед тобой во всей красе возникает индустриальное уродство — уродство настолько дикое и жуткое, что его требуется, так сказать, переварить.

Шахтный террикон отвратителен уже своей никчемностью. В прямом смысле отбросы, выкинутые на землю, словно великан опрокинул помойное ведро. В предместьях шахтерских городов зловещие ландшафты, где горизонт вокруг перекрыт зубчатой стеной темно-серых отвалов, почва из грязи и золы, а над головой стальные тросы, по которым многие мили медленно тянутся вагонетки со шлаком. Шлак в отвалах часто загорается, ночами видны алые ручейки змеящегося по насыпям пламени и слабо тлеющие, будто исчезающие, но оживающие вновь и вновь синие огоньки горящей серы. Даже когда

[157] notes: 157

«Гончарный округ» — Сток-он-Трент, известный производством посуды и керамики комплекс из шести городков между Бирменгемом и Манчестером.

пирамиды шлака оседают (что с ними рано или поздно происходит), то зарастают лишь дрянной бурой осокой и сохраняют кочковатую поверхность. Один такой осевший террикон, по виду вмиг окаменевшее бурное море, в трущобах Уигана служил детской площадкой, именуясь там «свалявшимся матрасом». Пройдут века, машины избороздят, перепашут места, где прежде шла угледобыча, но участки старинных шлаковых отвалов все еще будут различимы с самолета.

Помнится зимний день в кошмарных окрестностях Уигана. Вокруг лунный пейзаж насыпей шлака, а в просветах между этими, с позволения сказать, холмами ряды дымящих черным дымом фабричных труб. Вдоль канала полоса мерзлой угольной грязи, истоптанной подошвами горняцких башмаков, и всюду пятна «заливин» — залитых грунтовыми водами ложбин, образовавшихся вследствие просадки подрытой шахтами почвы. И жуткий холод. «Заливины» покрыты горчичного цвета льдом, лодочники на баржах замотаны мешками до самых глаз, шлюзовые ворота обросли гроздьями сосулек. Словно мир, изгнавший всякую растительность, — ничего кроме дыма, шлака, льда, золы, грязи и мутной воды. Но даже Уиган красив в сравнении с Шеф-

филдом. Шеффилд, я полагаю, справедливо мог бы претендовать на звание самого безобразного города Старого света (жители, жаждущие хоть чем-то всех превзойти, возможно выдвинут такое требование). В этом городе с полумиллионным населением приличных зданий меньше, чем в обычной, с пятью сотнями обитателей, деревне на востоке Англии. А тамошняя вонь! Если изредка отступает серное зловоние, то лишь потому, что его перебивает запах газа. Даже воды бегущей через город мелкой речки окрашены ядовитой желтизной из-за какой-то химии. Остановившись однажды на улице, я пересчитал имевшиеся в поле зрения фабричные трубы: их оказалось тридцать три, и удалось бы насчитать гораздо больше, развейся на минуту густая пелена дыма и копоти. Характерным ландшафтом отпечатался в памяти наводящий смертную тоску пустырь (пустыри там почему-то еще тоскливей лондонских). Абсолютно голый, ни травинки, замусоренный дрянью рваных газет и дырявых кастрюль участок, направо ряд угрюмых четырехкомнатных домов из закопченного до черноты красного кирпича, налево тающий в дымной мгле частокол бесконечных фабричных труб, позади засыпанная шлаком насыпь железной дороги, а прямо

в центре пустыря куб ярко-желтой кирпичной постройки с вывеской «Томас Грокок, перевозка автотранспортом».

Ночью, когда ужасные строения не видны да и все прочее во тьме, города вроде Шеффилда приобретают некое зловещее великолепие. Розовыми и зеленоватыми клубами медленно плывет густой дым, из-под колпаков на трубах литейных заводов, словно огненные циркулярные пилы, вьется зазубренное пламя. Через открытые двери цехов видишь гибкие полосы раскаленного железа, с которыми лихо управляются облитые алым светом литейщики; слышишь свист, грохот паровых молотов и звонкие удары по металлу.

Что касается гончарных городков, они почти одинаково безобразны на свой манер. Прямо в шеренгах закопченных домишек, так сказать посреди улицы, торчат похожие на врытые в землю гигантские бутыли бургундского, дымящие трубами чуть не в лицо конические кирпичные печи для обжига керамики. А где-нибудь неподалеку обязательно увидишь чудовищно огромный (шириной в сотни футов и почти такой же глубины) глиняный карьер, по одной стороне которого рельсовый путь с тянущейся цепью маленьких ржавых вагонеток, по другой — рабочие, умело,

как скалолазы, отбивающие на кручах плотный грунт. Я проезжал там в снежную погоду, и даже снег был совершенно черным. Лучшее, что можно сказать о гончарных городках, — они невелики и довольно компактны. Не отъехав и на десяток миль, ты уже среди нетронутой природы, и с холмов городки эти уже видятся лишь грязными пятнышками.

Раздумывая относительно подобного уродства, задаешься двумя вопросами. Во-первых, неизбежно ли? Во-вторых, важно ли?

На мой взгляд, индустриализация вовсе не предполагает непременной некрасивости. Фабрика или даже газовый завод не обязательно должны быть безобразнее дворца, собачьей конуры или церковного собора. Все зависит от типа архитектуры. Северные промышленные города столь неприглядны, ибо выросли в период, когда строительство не знало современных стальных конструкций и дымоочистных устройств, когда вообще всех слишком занимали барыши, чтобы думать о чем-либо еще. Уродливость там сохраняется в значительной степени из-за того, что северяне к ней привыкли, перестали её замечать. Множество жителей Шеффилда либо Манчестера, подышав воздухом корнуэльских утесов,

вероятно, не обнаружат в нем особой прелести. Однако после войны промышленность начала распространяться все южнее, приобретая почти симпатичный вид. Типичная послевоенная фабрика — не почерневшие кирпичные бараки с нагромождением коптящих труб, но сверкающие сооружения из бетона, стали и стекла, окруженные зелеными лужайками и клумбами тюльпанов. Взгляните на заводские корпуса, когда поездом отправитесь из Лондона по Западной магистрали: это, возможно, не шедевры зодчества, но уж конечно не кромешная жуть газовых заводов Шеффилда. Вместе с тем, хотя северное индустриальное уродство очевидно и вызывает протест каждого новоприбывшего, я сомневаюсь, что оно имеет первостепенное значение. Может быть, даже нежелательно изощряться в камуфляже объектов индустрии под что-то, чем они отнюдь не являются. Как верно замечено Олдосом Хаксли, тайная сатанинская мельница должна выглядеть именно тайной сатанинской мельницей, а не храмом прекрасных загадочных богов. Кроме того, и в худшем из промышленных городов многое по-своему живописно, выразительно. Коптящие трубы или зловонные трущобы отталкивают, главным об-

разом, поскольку подразумевают исковерканные жизни и больных детей. С чисто эстетической точки зрения это может обладать определенным мрачным очарованием. Лично я обнаружил, что нечто донельзя странное, пусть даже одиозное, в итоге магически завораживает. Устрашавшая меня в Бирме природа стала таким навязчивым видением, что пришлось написать роман, дабы избавиться от наваждения (истинный предмет изображения всех романов о Востоке — восточный пейзаж). Нетрудно, видимо, по примеру Арнольда Беннета, обнаружить специфическую красоту угрюмых промышленных городов; легко представить, допустим, Бодлера, воспевающего шахтный террикон. Но безобразен или же красив индустриальный вид, это вряд ли существенно. Действительное зло гораздо глубже и оно неискоренимо. Вот это важно помнить при соблазне полагать чистенькое оформление индустриализации гарантией ее безвредности.

Только попав на промышленный север, осознаешь, что очутился не просто в незнакомой обстановке, но в иной стране. Отчасти из-за некоторых реальных различий, а более всего, из-за прочно вколоченной в нас антитезы север — юг. В Англии сложился примечательный культ

«северности», с некоей «северной» вариацией снобизма. Приехавший в южное графство йоркширец непременно даст понять свое убеждение в превосходстве над тобой, южанином. И, если спросишь, он охотно объяснит, что лишь на севере жизнь «настоящая», труд «настоящий» и люди «настоящие», тогда как южный народ сплошь бездельники и паразиты, жирующие за счет северян. У северянина есть «твердость», он суров, угрюм, бесстрашен, добросердечен и демократичен, а южанин ленив, изнежен и тщеславен — в теории, по крайней мере, так. Соответственно, южанин появляется на севере с тем смутным ощущением ущербности, которое испытывает цивилизованный турист, рискнувший оказаться среди дикарей, а йоркширец, как и шотландец, прибывает в Лондон с настроением варвара-завоевателя. Очевидная реальность на мифы, взлелеянные давней традицией, не влияет. Как малорослый худосочный англичанин ощущает себя выше и сильней Карнеры[158] («какого-то итальяшки!»), примерно таково и отношение северян к южанам. Помню, один тщедушный йоркширец, который почти наверняка пустился

[158] notes: 158

Примо Карнера (1906–1974) — легендарный итальянский боксер-тяжеловес ростом более двух метров.

бы наутек от гавкнувшего фокстерьера, сообщил мне, что на английском юге он чувствует себя «яростным викингом». Благоговейный культ севера нередко усваивают даже те, кто родом из других мест. Несколько лет назад мой друг, родившийся и выросший на юге, но ныне проживающий на севере, вез меня на машине через Суффолк. Проезжая через весьма симпатичную деревню, он, глянув на дома, заметил:

— Поселки в Йоркшире, конечно, страшные. Зато там замечательные люди! А тут наоборот: селения хороши, да население — гниль. Во всех этих коттеджах народ никудышный, вконец испорченный.

Не удержавшись, я спросил, есть ли у него тут знакомые. Нет, никого он тут не знал, но жители Восточной Англии, естественно, являлись никудышными. И другой мой приятель, по рождению тоже южанин, никогда не упустит случая воспеть северный край в укор югу. Цитата из одного его письма:

«Живу я сейчас в Клитероу, в Ланкашире... буквально ощущаю волшебство здешних рек, катящих среди гор и вересковых пустошей, — не то что на жирном вялом юге. У Шекспира «тще-

славно серебрится Трент»[159], а по мне южные реки значительно самодовольней».

Любопытный образчик культа севера. Не только вас, меня и прочих английских южан щелкнули по носу, припечатав «жирными и вялыми», — оказывается, даже вода на северных широтах из H_2O вдруг превращается в нечто неизъяснимо дивное. Особенно интересно, что автор процитированных слов чрезвычайно интеллектуальный человек «передовых» взглядов, и национализм в привычных формах для него отвратителен. Скажи ему что-нибудь вроде того, что «один британец дороже трех иностранцев», он это с ужасом отвергнет. Однако в любом сопоставлении севера и юга вывод у него заранее готов. Все националистические схемы различий — все претензии на превосходство ввиду особой формы черепа или особого наречия — абсолютная фикция, реальна лишь человеческая вера в них. И, без сомнения, англичане насквозь проникнуты убеждением, что народы, живущие южнее, — хуже; этим до некоторой степени руководствуется даже наша внешняя политика. Поэтому, я полагаю, стоит уточнить, когда и почему это возникло.

---

[159] notes: 159
Шекспир. Генрих IV. Часть первая, акт 3, сцена 1.

Когда национализм впервые сделался религией, британцы, заметив, что на карте их остров почти в самом верху северного полушария, развили лестную для себя теорию о разрастании добродетелей по мере топографического продвижения на север. На уроках истории в начальной школе нам примитивнейшим образом объясняли, что холодный климат людей закаляет, а жаркий расслабляет, из чего закономерно выводилась победа Нельсона над Испанской армадой. Чушь относительно беспримерной энергии англичан (фактически самых ленивых европейцев) изрекалась и перемалывалась, по меньшей мере, целое столетие. «Нам посчастливилось, — вещал в 1827 году «Куотерли ревью»[160], — ибо лучше тяжко трудиться на нашей суровой земле, чем роскошествовать среди олив, виноградников и грязных пороков». Эти «оливы, виноградники и грязные пороки» ярко выражают типично британское отношение к латинским народам. В мифологии Карлейля или Кризи «северянин» («тевтонский», позднее «нордический» тип) это дюжий решительный парень с белокурыми усами и чистой душой, а «южанин» — трусливый

[160] notes: 160

«Куотерли ревью» (*Quarterly reviewer*) — литературно-публицистический журнал, отражавший взгляды партии консерваторов.

аморальный лицемер. Хоть данная теория и не достигла логического завершения, когда бы следовало утверждать, что нет людей прекрасней эскимосов, она внедрила представление о том, что люди к северу от нас повыше качеством. Отчасти этим объясняется столь глубоко пропитавший за последние полвека английскую жизнь культ Шотландии и всего шотландского. Индустриализация нашего севера добавила антитезе север — юг особой специфики. Еще сравнительно недавно северная часть Британии была отсталой, феодальной, а промышленность концентрировалась в Лондоне и на юго-востоке. Например, в годы Гражданской войны XVII в. (упрощая до схемы: в бунте буржуазии против феодализма) за парламент воевал народ южных и восточных областей, а население северных и западных краев стояло за короля. Однако с развитием на севере угольной индустрии там выкристаллизовался новый социальный тип — тип делового, самостоятельно всего добившегося северянина (диккенсовские мистер Раунсвел, мистер Баундерби[161]). Северный бизнесмен с его гнусным кредо «пробивайся или выбывай» сделался цен-

[161] notes: 161
Персонажи романов Диккенса «Холодный дом» и «Тяжелые времена».

тральной фигурой девятнадцатого века и, словно труп верховного владыки, он правит нами до сих пор. Это назидательно представленный, скажем, в романах Арнольда Беннета герой, который начинает, имея полкроны, а финиширует, нажив полсотни тысяч, — герой, чьей главной гордостью является не только сохраненное, но приумноженное в богатстве хамство. Присмотрись к нему, и единственным его достоинством окажется умение делать деньги. Но пусть это даже убогий, узколобый и неотесанный невежда, нас приучили восхищаться им: ведь он имел «твердость» и «преуспел» — иначе говоря, набил мошну.

Такие умильные восторги в наши дни абсолютный анахронизм, поскольку северные бизнесмены больше не процветают. Однако фактами привычку не разрушить, и доныне у нас в почете северная «твердость». По-прежнему жива идея, что северянин «пробьется» (наживется) там, где южанин спасует. В глубине души каждый приезжающий в столицу йоркширец или шотландец видится себе Диком Виттингтоном[162],

[162] notes: 162

Согласно легенде (она связана с реально управлявшим британской столицей в конце XIV в. Ричардом Виттингтоном) служивший у лондонского купца нищий мальчик сбежал от хозяина, но, услыхав в колокольном звоне: «Вернись, Дик Виттингтон, трижды лорд-мэр Лондона!», вернулся, и со временем пророчество колоколов исполнилось.

который, начав карьеру уличным продавцом газет, увенчает ее постом лорд-мэра. Самонадеянности им, действительно, хватает. Только не следует думать, что это качество присуще подлинным пролетариям. Отправляясь несколько лет назад в Йоркшир, на слишком вежливый прием я не рассчитывал. Зная лондонских йоркширцев с их вечным резонерством и горделивой демонстрацией сокровищ родимой мудрости («вовремя разок пришить — после сто раз не чинить», так-то вот в наших краях говорят!), я был готов столкнуться с изрядной грубостью. Но ничего подобного не обнаружилось, и менее всего среди шахтеров. Горняки Йоркшира и Ланкашира проявляли сердечность и учтивость, даже смущавшие меня (порой до такой степени, что если и существует племя, чье превосходство я почувствовал, это шахтеры). Кстати, не прозвучало ни единой нотки презрения ко мне как уроженцу другой части страны. При том что британская региональная кичливость — национализм в миниатюре, стоит особо отметить: пролетариат снобизмом подобного сорта не увлекается.

Тем не менее, разница между севером и югом действительно есть; во всяком случае, есть доля правды в представлении о Южной Англии как об

одном большом курорте с толпами барственных бездельников. По климатическим причинам сословие трутней, живущих дивидендами, предпочитает селиться на юге. В текстильных городах Ланкашира ты можешь месяцами не услышать «культурной» речи, тогда как в южных городах брось камешек, так непременно угодишь в племянницу епископа или иную благородную особу. Ввиду отсутствия подобных, задающих тон господ, на севере усвоение буржуазных вкусов хотя и происходит, но очень медленно. И, например, все северные диалекты упорно сохраняются, в то время как говор южан сдается под натиском кино и столичного радио. Соответственно, ты со своей «культурной» речью на севере воспринимаешься скорее чужеземцем, нежели заезжим барином, что дает огромное преимущество в задаче найти контакт с рабочим классом.

Реально ли, однако, по-настоящему сблизиться с пролетариями? К этой проблеме я еще вернусь, пока только замечу, что мой ответ здесь отрицательный. Хотя, несомненно, север больше располагает, приближает к равенству отношений. В шахтерской семье тебя без особых затруднений могут принять как домочадца; в семействе простого южного фермера это весьма

маловероятно. Шахтеров я видел достаточно, чтобы не полагать их идеальными, но знаю: многому научишься в их домашнем кругу, было бы лишь желание. Главное, что твои классовые эталоны и предубеждения проверяются тут иной традицией, не обязательно лучшей, но совершенно другой.

Ну, например, характер родственных связей. В семьях рабочих та же спаянность, что в семействах среднего класса, зато гораздо меньше деспотизма. У пролетария не висит вечным жерновом на шее фамильный престиж. Я уже говорил, что личностей среднего класса бедность крушит вдребезги, и не в последнюю очередь благодаря родне, без устали ворчащей, изводящей беднягу, не способного «преуспеть». Достаточно очевидны умение рабочих объединяться и невозможность этого в сословии с иным пониманием семейного долга. Сильный профсоюз служащих среднего класса не создать, поскольку здесь у каждого жена, которая во время забастовок будет настойчиво склонять супруга плюнуть на стачку и постараться занять хорошее место его товарища. Пролетариям также свойственна (весьма стесняющая поначалу) прямота в разговоре на равных. Предложишь рабочему человеку нечто

для него нежелательное, он там, где люди с воспитанием соглашаются из деликатности, так и отрежет — не хочу. А отношение к «образованию»: как отличается оно от нашего и насколько оно трезвей! Чья-то ученость, в общем, вызывает уважение пролетариев, но если дело касается их самих, всю «образованность» они видят насквозь и отвергают здоровым инстинктом. Было время, когда я печалился, воображая грустные сюжеты о парнишках, вырванных из школы, жестоко брошенных «трудиться». Подобный приговор судьбы казался мне ужасным. Теперь-то я, конечно, понимаю, что в рабочей среде из тысячи подростков не найти одного, кто не мечтал бы поскорей бросить учебу. Нелепо же, на взгляд таких ребят, попусту тратить годы на чепуху вроде истории и географии, их тянет к реальному делу. Ходить в школу, когда ты почти взрослый, — для пролетариев это не по-мужски, попросту смехотворно. Вот еще выдумали: здоровенному малому, которому давно уж пора приносить деньги в семью, до восемнадцати лет бегать в школьном костюмчике и даже подвергаться порке за плохо приготовленный урок! Да чтоб рабочий парень позволял кому-то себя выпороть! Нет, он уже не сосунок, как некоторые. Эрнст Понтифекс из романа Сэмюеля

Батлера «Путь всякой плоти», получив кое-какой реальный опыт, называет годы своей школьной и университетской учебы «тошной изнурительной гулянкой». С позиции рабочего люда, многое в привычном существовании средних классов выглядит изнурительным и тошным.

Домашняя обстановка у рабочих — я говорю не о семьях безработных, а о домах сравнительно благополучных — дышит такой уютной, честной, человечной атмосферой, какую с трудом обнаружишь где-то еще. Надо сказать, шансов жить счастливо работяга (если у него постоянное место и неплохой, «с приростом», заработок) имеет больше, чем человек «образованный». Домашняя жизнь у него налажена как-то естественней и симпатичней. Сцены в его жилище часто вызывали у меня ощущение некоей стройной завершенности, точнейшей сообразности. Особенно зимними вечерами, когда пылает огонь открытой плиты и блики пламени играют на стальном щитке. По одну сторону очага хозяин с подвернутыми рукавами рубашки сидит в кресле-качалке, изучает газетный отчет о скачках; по другую — хозяйка с шитьем на коленях, дети наслаждаются мятными карамельками, а пес поджаривает себе бок, развалясь на тряпичном

коврике... Неплохо бы вот так, с условием, что у тебя не только это; хотя, пожалуй, и этого достаточно.

Подобные сценки реже, чем до войны, но все еще воспроизводятся во многих английских домах. Наличие их, главным образом, зависит от того, есть ли у хозяина дома работа. И эти уютные вечера семейства, которое, плотно закусив копченой рыбой и крепким чайком, блаженствует у горящего очага, принадлежат лишь нашему времени, нашей эпохе. Загляни в светлое будущее лет через двести: абсолютно все изменится; ни единой детали, наверное, не сохранится. Когда труд полностью будет машинным и каждый станет «образованным», едва ли хозяин дома останется тем же работягой с большими грубыми руками, которому сидя в одной рубашке приятно восклицать: «Ух, на дворе-то прямо колотун!». Не будет и пылающего угля, только какой-нибудь невидимый обогреватель. А мебель будет из металла, резины и стекла. Газеты, если и останутся, то уж конечно без новостей о скачках: с ликвидацией бедности угаснет азарт игр на тотализаторе, и лошади исчезнут с лица земли. Собак по соображениям гигиены тоже перестанут заводить. Да и детей благодаря ограничению рождаемости

станет гораздо меньше. Так будет в следующей эпохе, а заглянув в средневековье, увидишь столь же непохожий и словно чужестранный мир. Лачуги без окон, топка по-черному, дым ест глаза, заплесневевший хлеб, расстроенный желудок, вши, цинга, ежегодно по младенцу, дети мрут как мухи и священник пугает рассказами о преисподней.

Но вот ведь интересно — не триумфы современной техники, не радио, кинематограф, не пять тысяч новых романов ежегодно, не гигантские толпы на ипподроме «Аскот» или матчах в Итоне и Харроу[163], а именно сценки в простых скромных жилищах (особенно те, что случалось видеть еще до войны, когда Англия благоденствовала) побуждают меня считать наше время, в общем, довольно сносным для житья.

[163] notes: 163

«Аскот» — ипподром близ Виндзорского дворца (загородной королевской резиденции), где ежегодно проходят знаменитые четырехдневные скачки; Итон и Харроу — самые привилегированные из английских частных закрытых средних школ.

Часть вторая
8

Долог путь от Мандалая[164] до Уигана, и сразу не понять, чем объясняется такой маршрут.

В предыдущих главах я кратко описал свои впечатления от Йоркшира и Ланкашира. Поехал я туда отчасти потому, что хотел вживе изучить худший вариант массовой безработицы, отчасти из желания узнать среду наиболее пролетарской части английских рабочих. Для меня, моего подхода к идеям социализма важно убедиться в искренности своих политических пристрастий, то есть самому решить, терпимо или нетерпимо существующее положение дел, и выработать личную позицию по страшно трудной классовой проблеме. Так что необходимо сделать отступление, пояснив, как формировались мои взгляды. Естественно, потребуется изложить кое-что из собственной биографии, чего я не стал бы касаться, если б не полагал себя достаточно типичным для своего сословия и свой случай довольно по-

[164] notes: 164

Мандалай — крупнейший город на севере Бирмы, где Оруэлл в молодости служил офицером Имперской полиции.

казательным.

По рождению я принадлежу к общественному кругу, который можно обозначить как низы верхов среднего класса. Тех невысоких верхов, что под знаменем Киплинга волной поднялись в последней трети девятнадцатого века и рухнули с отливом викторианского процветания. Впрочем, лучше обойтись без метафор, а просто указать слой населения с годовым доходом от трех сотен до двух тысяч и уточнить: мое семейство тут держалось довольно близко к нижнему пределу. Шкала по цифрам дохода удобна ввиду ее наглядности и внятности. Но относительно британской классовой системы весьма существенно, что деньги определяют в ней отнюдь не все. На вид элементарная, наша финансовая иерархия пронизана ветвистой кастовой структурой (вроде старинных призраков, витающих и в современных хлипких домах). Соответственно, есть такие верхи среднего класса, коим выпало жить, вернее влачить существование, на триста фунтов в год — деньги гораздо меньшие, чем у середняков среднего класса без лишних социальных амбиций. Вероятно, имеются страны, где легко угадать воззрения человека, исходя из его дохода, но в Англии подобная прямая связь не

гарантирована; в Англии первостепенно выяснить личную установку. У морского офицера и его бакалейщика доход, вполне возможно, одинаковый, однако это люди разных мировоззрений, и вместе они могут оказаться только в крайних ситуациях типа войны или всеобщей стачки, да и тогда совсем не обязательно.

Разумеется, сейчас ясно, что «верхне-среднему» слою конец. В каждом сельском городке на юге Англии, не говоря о тоскливых лондонских окраинах, вымирают его последние представители, познавшие дни славы, а ныне лишь глухо ворчащие на мир, который перестал вести себя как должно. Стоит мне открыть томик Киплинга или войти в шикарный торговый пассаж, куда когда-то так любила ходить эта публика, как в голове всплывает: «Перемену и гибель во всем вижу я»[165]. Перед войной человек этого слоя, пусть даже не слишком преуспевающий, все еще чувствовал себя уверенно. Перед войной ты был либо джентльмен, либо нет, и если джентльмен, так изо всех сил, невзирая на сумму дохода, тянулся соответствовать. Широкий пролив отделял имевших четыре сотни в год от тех, кто имел

[165] notes: 165
Из англиканского псалма Генри Лайта «Пребудь со мной»

пару тысяч или хоть тысячу, но джентльмен с жалкими четырьмя сотнями упорно пытался не замечать водораздел. А знаком приобщения к верхам среднего класса являлась стойкая традиция всячески избегать занятий, как-либо связанных с коммерцией, — здесь полагалось служить по военной или чиновной части, или трудиться в какой-то другой достаточно престижной (скажем, культурной) сфере.

Землей люди такого слоя не владели, но ощущали себя владетельной знатью от Бога, предпочитая набор благородных джентльменских профессий вульгарной торговле. У мальчиков было в обычае над тарелкой с десертом гадать о своем будущем, считая изюминки пудинга с припевом: «Солдат, моряк, юрист, священник, медик» (кстати, поприще «медика» явно уступало всем перечисленным и добавлялось, главным образом, для благозвучия). Принадлежать этому социальному кругу, когда у тебя только четыре сотни годовых, штука сомнительная, ибо твой аристократизм тут почти исключительно в теории. Жить приходится как бы на двух уровнях. Теоретически ты полностью осведомлен о том, как держать слуг, как давать чаевые, хотя практически в редчайших случаях имеешь больше

одной домашней прислуги. Теоретически досконально известно, как надо одеваться и как заказывать обед, хотя на практике ты никогда не можешь пойти к приличному портному или в приличный ресторан. Теоретически ты знаешь, как охотиться верхом, хотя отроду не владел ни лошадью, ни дюймом охотничьих угодий. Понятно, чем привлекала Индия (а прежде Кения, Нигерия и пр.) людей «верхне-среднего» слоя. Служить в колониях уезжали не наживаться (ради денег в чиновники или военные не идут), а потому что в Индии, с тамошней дешевизной лошадей, охоты и множества смуглых слуг, так просто было исполнять роль джентльмена.

Надо сказать, в убого-благородных семьях, о которых идет речь, бедность осознается и переживается много сильнее, чем в домах рабочих с заработком чуть выше сумм пособия. Счета за жилье, одежду, школу преследуют вечным кошмаром, и всякое излишество, даже какая-нибудь кружка пива, считается недопустимым расточительством. Фактически все деньги уходят на соблюдение приличий. Ясно, что люди этого разряда существуют в ложном положении, но, будь их относительно немного, проблему можно было бы не замечать. Однако же число

их велико. Это большинство священников и педагогов, почти вся братия чиновников англо-индийской администрации, легион флотских и армейских офицеров, изрядное количество отраслевых специалистов и людей искусства. Реальное значение данного слоя — амортизация буржуазной машины. Для истинной, богатой буржуазии солидные капиталы, словно дамбы между ней и ограбляемой ею народной массой. С низшими сословиями респектабельный богач соприкасается лишь в лице мелких клерков, прислуги или коммивояжеров. Иная ситуация у низов буржуазной верхушки. Вот они — те, что изощряются благородно существовать на деньги, равные пролетарским доходам, — вынуждены достаточно тесно, порой вплотную контактировать с рабочим классом, и, я подозреваю, именно от них идет традиционное отношение верхов к «простому» люду.

И каково же это отношение? Отношение иронического превосходства с припадками бурной ярости. Перелистайте любой номер «Панча»[166] за последние тридцать лет. Всюду образ рабочего человека — типаж сугубо комический;

[166] notes: 166

«Панч» (*Punch*) — популярный еженедельный сатирический журнал консервативного направления.

исключения составляют моменты, когда рабочий обнаруживает признаки чрезмерной успешности и тогда из забавного увальня-недотепы превращается в жуткого демона. Обличать подобный взгляд на пролетария толку мало. Полезнее выяснить, как такое возникло, и приблизить снобов к пониманию того, что выглядит пролетарий не смешней, не ужасней их самих, только у него свои устои и привычки.

Что касается убого-благородных семейств, они в положении семьи белых, проживающих в негритянском квартале. Тут уж приходится цепляться за свои джентльменские замашки, поскольку ничего иного не имеется, а тем временем всем соседям противны твой задранный нос, твоя культурная речь, твоя благовоспитанность — приметы ненавистного начальства.

Мне было совсем немного лет, не более шести, когда я узнал насчет классовых различий. До того героями моими являлись как раз рабочие люди: ведь они — кузнецы, рыбаки, каменщики — занимались необычайно интересными делами. Помню работников фермы в Корнуолле, которые устраивали мне катание на огородной сеялке, а иногда, поймав и подоив овцу, поили меня парным молоком. И каменщиков, возводивших

рядом дом, дававших мне возиться со строительным раствором; бравых парней, от которых я подхватил первое для себя непристойное словечко. И жившего неподалеку слесаря, с детьми которого я убегал разорять птичьи гнезда. Но вскоре играть с детьми слесаря мне запретили, вообще велели держаться подальше от «простых» ребят. Ну да, это снобизм, если хотите, однако и необходимость, так как культурная семья среднего класса не может допустить, чтобы ее ребенок рос вместе с детьми малограмотных невежд. Так, очень рано, рабочее сословие перестало быть прекрасным дружественным племенем, сделавшись племенем врагов. Ощущая чью-то неприязнь и не умея понять ее причины, мы, естественно, объясняем ее чистой зловредностью. В детстве мне, как почти всем детям нашего круга, «простые» люди виделись существами даже не совсем и человеческими. Наружность у них грубая, язык ужасный, ведут они себя по-скотски, всякого, кто не из них, ненавидят и только ждут случая нагло оскорбить, — таково было наше представление о них. Ложное представление, но вполне ясное для нас.

Здесь еще надо помнить, что перед войной классовая ненависть в Англии проявлялась го-

раздо откровенней, чем сейчас. В те годы можно было нарваться на оскорбление просто за свой вид представителя высших сословий; теперь такой вид побуждает, скорее, заискивать. Всем, кому больше тридцати, памятны времена, когда прилично одетому человеку нельзя было показаться в бедняцком квартале без того, чтобы его не обругали. Целые городские районы считались опасными из-за «хулиганов» (почти исчезнувший ныне тип), и лондонские трущобные мальчишки, с их пронзительным криком и дикарским нахальством, могли отравить жизнь любому, кто считал ниже своего достоинства огрызаться в ответ. Постоянным кошмаром моих дней дома, на школьных каникулах были мальчишеские банды «хамов», способных впятером, вдесятером напасть на одного. В учебное время[167] случалось, однако, и нам оказаться в большинстве, а «хамам» — в положении гонимых; помню парочку зверских баталий холодной зимой 1917–18 годов. Традиция открытой вражды верхов и низов тогда насчитывала уже не меньше столетия. Характерная карикатура в «Панче» шестидесятых годов девятнадцатого века: хиленький, щупленький

[167] notes: 167

То есть в закрытой частной школе, учащиеся которой враждовали с местными деревенскими подростками.

джентльмен, нервно озираясь, едет верхом по трущобной улице, а ватага мальчишек, кольцом окружив его, орет: «Гляди, раздулся как! Пугнём его конягу!». Представить только уличных мальчишек, что стали бы пугать его лошадь сегодня! Сегодня, надо думать, они вились бы вокруг в смутной надежде на чаевые. За последнюю дюжину лет английский пролетариат стремительно набрался раболепия. Неудивительно: угроза страшной безработицы заставит присмиреть. Перед войной, хотя пособий не платили, но мест, в общем, хватало, полновластье боссов не было столь отчетливым, и в материальном отношении рабочий был относительно независим. Особой беды от того, что надерзишь какой-то «шишке», ему не виделось, он и дерзил во всякой безопасной для себя ситуации. По мнению Г. Ж. Ренье, автора книги «Оскар Уайльд», сопровождавший суд над Уайльдом взрыв оголтелой народной ярости имел, по сути, социальную основу: «Подловив представителя высших классов, лондонская чернь заставила его попрыгать». Все это логично и даже естественно. Если обращаться с людьми так, как на протяжении двух столетий обращались с английскими рабочими, следует ожидать, что они обидятся. Впрочем, и отпрыс-

ков убого-благородных фамилий трудно винить за ненависть к пролетариям, которые для них олицетворялись хищно бродившими поблизости шайками юных «хамов».

Имелась и другая огромная сложность. Здесь мы приближаемся к разгадке глубинного социального противостояния на Западе — к действительной причине того, почему воспитанный в буржуазной среде европеец, даже называя себя коммунистом, без специального напряжения не способен воспринять пролетария равным себе. Это сформулировано четырьмя зловещими словами, которых теперь стараются не произносить, но которые во времена моего детства употреблялись довольно свободно. А формула такая: «низшие классы дурно пахнут».

«Низшие классы дурно пахнут» — вот что было нами накрепко усвоено. Барьер, похоже, непреодолимый. Никаким чувствам приязни и неприязни не сравниться по силе с укорененным физическим ощущением. Можно умом преодолеть национальную вражду, религиозную рознь, разницу в образовании, характере, интеллекте, но физическое отвращение — невозможно. У тебя может возникнуть симпатия к убийце и маньяку, только не к человеку с запахом, просто

скверным запахом изо рта. Как бы ты ни желал ему добра, как бы тебя ни восхищали его душа и мысли, втайне ты будешь брезгливо содрогаться от его зловонного дыхания. И если юношу растили, постоянно внушая, что работяги сплошь темные, ленивые пьяницы и мошенники, это еще ничего, но если мальчик вырос с убеждением в органичной нечистоплотности пролетарского населения, пагубное дело сделано. Нас приучили твердо верить: они — вонючие грязнули. А когда с раннего детства въелась некая подспудная гадливость, живое чувство потом вряд ли переучишь. Ребенком ты смотрел, как здоровенный потный землекоп шагает по дороге с лопатой на плече, разглядывал его линялую рубаху и заскорузлые от грязи плисовые штаны, представлял мерзкие сальные тряпки его нижнего белья и под ним немытое тело, целиком темно-бурое (именно таким оно мне виделось), шибающее резким душком, как от копченой свинины. Ты видел бродягу, присевшего отдохнуть в канаве и снявшего башмаки, — ф-фу! До тебя, конечно, не доходило, что и бродяге его грязные ноги не в радость. И даже те из «низших классов», чья опрятность сомнений не вызывала (прислуга, например), все-таки слегка отвращали. Запах их

пота, сама фактура их кожи неясно чем, но чем-то неприятно отличались.

Вероятно, каждому, выросшему в доме с ванной и приученному не комкать слова, знакомы подобные чувства — чувства, которые глубокой пропастью разделяют на Западе верхи и низы общества. Странно даже, насколько редко это признается. Пока что мне встретился лишь один текст, где об этом сказано без уверток: эпизод из книги Сомерсета Моэма «На китайской ширме». Мистер Моэм описывает прибытие на постоялый двор важного китайского чиновника, который разражается неистовой бранью, дабы сразу внушить всем, что среди жалких червей явилась сановная особа. Однако совсем скоро, утвердив свой высокий ранг должным, по его мнению, образом, сановник вполне дружелюбно усаживается поболтать у стола с простым носильщиком. Как высокое должностное лицо он чувствует необходимость произвести соответственное впечатление, но у него нет чувства, что нищие кули сотворены из другой глины[168]. Подобные сцены я наблюдал в Бирме сотни раз. У народов монголоидной расы (вообще, насколько мне известно,

[168] notes: 168

Речь о рассказе «Демократия» из сборника эссе С. Моэма «На китайской ширме»

у всех азиатов) имеется врожденное сознание какого-то естественного равенства, природной близости между людьми, что просто невероятно на Западе.

«На Западе, — пишет далее мистер Моэм, — нас отделяет от собратьев обоняние. Хотя английский пролетарий — наш несколько деспотичный вождь и учитель, этим не отменяется идущий от него душок. И как иначе: на рассвете, когда с гудком торопишься поспеть на свой завод, не до тщательного мытья, а тяжкий физический труд не ароматен, а белье можно поменять не чаще, чем сварливая женушка управится с еженедельной стиркой. Я не виню рабочего за его запашок, но запашок присутствует. И это сильно затрудняет социальное общение человеку с чуткими ноздрями. Утренняя ванна делит общество на классы более эффективно, нежели рождение, воспитание и благосостояние».

Ну а действительно ли пахнут «низшие классы»? В целом, разумеется, они пахучее высших сословий. Естественно, учитывая обстоятельства их жизни, если даже сегодня ваннами снабжено менее половины английских домов. Кроме того, мода на полное ежедневное мытье в Европе завелась совсем недавно, а пролетарии в своих

привычках всегда консервативнее буржуазии. Хотя опрятность англичан явно возрастает, и есть надежда, что через сотню лет все они будут чисты почти так же, как японцы. Но зря любители идеализировать пролетариат, полагая необходимым восхвалять каждую его черту, пытаются и неряшливость причислить к пролетарским достоинствам. Любопытно, что здесь иногда рука об руку выступают социалист и честертоновского толка сентиментальный католик-демократ, дружно уверяющие, что грязь здоровей и «натуральнее», а чистота лишь прихоть, в лучшем случае — роскошь. (Согласно Честертону, грязь это просто некий «дискомфорт» и потому является для христианина своего рода добровольным подвигом смирения. К несчастью, претерпевать эти подвиги приходится и людям не столь правоверным. А ходить грязным действительно некомфортно; почти так же ужасно, как принимать зимним утром холодную ванну). Подобным радетелям пролетариата, видимо, не понять, что своими аргументами они лишь подтверждают: трудовой люд не вынужден, а склонен жить в грязи. На деле человек, имеющий возможность принять ванну, обычно это делает. Существенен, однако, вот какой пункт: люди из среднего класса

уверены не только в том, что пролетарий вечно ходит чумазым и в несвежем белье (вышеприведенная цитата свидетельствует о подобном мнении и мистера Моэма), но хуже — в том, что грязен он как-то природно, изначально. В детстве одной из самых страшных вещей мне представлялась необходимость пить из бутылки после работяги. Однажды тринадцатилетним мальчиком я ехал в поезде из рыночного городка, вагон третьего класса был битком набит распродавшими свою живность местными свинарями. Кто-то достал, пустил по кругу кварту пива; бутыль переходила от одного рта к другому, к третьему, и каждый отхлебывал глоток. Не могу описать ужас, нараставший во мне по мере приближения той бутыли. Если настанет и моя очередь глотнуть из горлышка, побывавшего в их губах, меня, я чувствовал, непременно стошнит; с другой стороны, если предложат, я не осмелюсь отказаться из опасения оскорбить этих людей. Типичная дилемма буржуазного чистоплюя. Теперь-то, слава богу, таких мук я не испытываю. Тело рабочего человека отталкивает меня не больше, чем плоть миллионера. Мне по-прежнему не нравится пить из стакана после других (точнее говоря — других мужчин; относительно женщин я не против),

но вопрос классовых различий тут абсолютно ни при чем. Походы плечом к плечу с бродягами излечили меня от социальной привередливости. Кстати, бродяги, хоть их в Англии привыкли называть «грязными», вовсе не столь уж и грязны. И когда ночуешь рядом с ними, пьешь с ними чай из одной закопченной жестянки, вещи, казавшиеся раньше жутью, ничуть тебя не ужасают.

Я подробно останавливаюсь на этих моментах, ибо они жизненно важны. Чтобы перебороть привычку делить людей на классы, сначала надо выяснить, как сословия проявляются в глазах друг друга. Клеймить представителей буржуазии «снобами» и на том ставить точку бесполезно. Далеко не продвинуться без понимания, что снобизм связан с определенного рода идеализмом, идущим от воспитания, при котором ребенку практически одновременно внушается необходимость мыть шею, готовность умереть за родину и презрение к «низшим классам».

Мне скажут, что я отстал от времени, что нынешних детей растят в системе более гуманных воззрений. Возможно, классовое чувство сегодня видоизменилось, утратив прежнюю ожесточенность. Не скрывавший своей неприязни пролетарий ныне вежлив и услужлив; дешевая

одежда и общее смягчение нравов несколько затушевали внешние различия. Но импульс сокровенных чувств, конечно, не исчез. В каждом представителе буржуазных кругов дремлет социальное предубеждение, готовое встрепенуться от любой мелочи, а если это человек за сорок, то он почти наверняка уверен, что его класс принесен в жертву рабочей массе. Сообщи джентльмену (не из интеллектуалов), который бьется соблюсти приличия на четыре-пять сотен в год, что он принадлежит к классу паразитов-эксплуататоров, он сочтет тебя сумасшедшим. Абсолютно искренне он укажет дюжину позиций, где материально ему далеко до пролетариев. Рабочие в его глазах отнюдь не племя угнетаемых рабов, — это свирепый морской вал, грозящий смыть его самого, всех его родных и близких, всю культуру и благопристойность. Отсюда боязливая тревога, как бы пролетарий не стал чересчур процветающим. В номере «Панча», вышедшем вскоре после войны, когда угольная отрасль еще была на подъеме, помещен примечательный рисунок. Пятеро шахтеров с угрюмыми, страшными физиономиями катят в дешевом автомобиле; стоящий у обочины приятель, окликнув, спрашивает, где они раздобыли такой шик, и в ответ: «А чего, купили!».

Надо же как смешно, какой юмористический сюжет: шахтеры, покупающие автомобиль, пускай один на пятерых, — да это ведь чудовищно нелепо, вопреки всем законам естества. Таков был буржуазный взгляд десяток лет назад, и никаких свидетельств его коренного изменения я не вижу. Представление, что рабочий класс до крайности избалован, безнадежно развращен системой пособий, пенсий по старости, доступным образованием и т. д., до сих пор весьма популярно и лишь едва поколеблено недавним признанием наличия безработицы. Для многих (в старшем поколении для подавляющего большинства) типичные рабочие остаются отпетыми ловкачами, которые ездят на биржу труда на мотоциклах, в построенных им ваннах хранят уголь и «ах, вы не поверите, мой друг, они с этим своим пособием еще и женятся!».

Классовая ненависть сегодня кажется почти потухшей, так как о ней практически не пишут в прессе; не пишут отчасти из-за воцарившегося стиля медовой фальши, отчасти потому, что газеты и даже книги должны теперь учитывать пролетарских читателей. Вопрос, как правило, анализируется, обсуждается в частных беседах. Но если все же обратиться к публикациям, име-

ет смысл узнать «особое мнение» покойного профессора Сентсбери[169]. Сентсбери был человеком очень знающим, порой выступал с дельной литературной критикой, но в разговоре о проблемах экономики или политики он отличался от братьев по классу только своей непрошибаемостью и верностью временам, когда еще не виделось причин подстраивать свой голос под хоровой благостный тон. Согласно Сентсбери, социальное страхование безработных просто «благотворительная помощь нерадивым лентяям», а профсоюзное движение не более чем вариант организованного нищенства:

«Почему нынче едва ли не законом запрещено говорить «попрошайка»? — восклицал он. — Разве быть попрошайкой, то есть полностью или частично существовать за счет других людей, не сделалось пылким и довольно успешным стремлением значительной доли населения и целой политической партии?»

Сентсбери, следует отметить, все-таки признал наличие безработицы. Он даже полагал ее необходимой и на столь долгий срок, сколь сможет вынести народ, лишенный рабочих мест:

---

[169] notes: 169

Сентсбери, Джордж (1845–1933) — историк литературы, профессор Эдинбургского университета.

«Разве форма временного, по потребности, рабочего найма не является невидимым предохранительным клапаном, регулятором здоровья во всём механизме трудовых отношений? ... В сложной производственно-финансовой структуре постоянная занятость с регулярной зарплатой невозможна, но безработица с гарантией пособий, сумма которых близка реальным заработкам, несет деморализацию, вслед за тем — разрушение и скорый конец».

Что делать рабочим, для которых не найдется никаких «форм временного найма», не сказано. По-видимому (Сентсбери весьма одобрительно оценивал старинные «Законы о бедных»), им придется идти в Работный дом или же ночевать на улицах. Тезис о том, что у каждого должно быть право на получение хотя бы минимальных средств к существованию, Сентсбери презрительно отверг:

«Даже «право на жизнь» ... не простирается далее права на защиту от убийства. Разумеется, будет благотворительная помощь, будет, надо надеяться, нравственный долг, возможно, к этим средствам поддержки малоимущего населения следует добавить ряд государственных коммунальных услуг, но все это вряд ли требует

юридической строгости. Что касается безумной доктрины относительно каких-то прав каждого уроженца страны на владение ее фондами, подобный вздор, пожалуй, вообще не достоин внимания».

Изящная логика последнего пассажа представляет определенный интерес. Подобного рода фразы рассеяны по всей статье Сентсбери и во множестве украшают его прежние печатные труды. Чаще люди стесняются так изъясняться на бумаге, но Сентсбери громогласно высказывает мысли тихонь, затаившихся при своих безопасных пяти сотнях в год, и тем даже внушает невольное восхищение. Крепкое надо иметь нутро, чтобы открыто являть себя таким мерзавцем.

Это позиция известного реакционера. А как насчет «прогрессивно» мыслящей персоны из среднего класса? Сильно ли отличается лицо такого прогрессиста под революционной маской?

Некий выходец из буржуазного сословия принимает идеи социализма, возможно даже вступает в партию коммунистов. И что меняется реально? Ему надо зарабатывать на жизнь, и нельзя упрекать его, если в условиях капиталистического общества он не желает терять буржуазный материальный уровень. Но происходит

ли переворот в его привычках, вкусах, манерах и представлениях — в его, на коммунистическом жаргоне, «идеологии»? Какие перемены совершаются, за исключением того, что голосует он теперь за лейбористов или даже коммунистов? По-прежнему крепки его связи с родным сословием. С людьми своего круга, где он слывет опасным большевиком, ему значительно уютнее, нежели с единоверцами из пролетариев. Его пристрастия в сфере гастрономии, гардероба, литературы, живописи, музыки, балета по-прежнему вполне буржуазны, и — самое показательное — женится он всегда на девушке своего же происхождения. Взгляните на любого такого социалиста. Вот, например, товарищ Икс, автор «Марксизма для младенцев». Товарищ Икс, так уж случилось, выпускник Итона. Он, разумеется, готов погибнуть на баррикадах, речи его сомнений в этом не оставляют, однако нижняя пуговка на жилете неизменно расстегнута, дабы не стеснять изрядное брюшко. Пролетариат для него абсолютный идеал, но удивительна его невосприимчивость к привычкам трудовых низов. Однажды он, возможно, лихо подымил самокруткой, но ему почти физически невозможно есть сыр с ножа, сидеть в помещении с кепкой на голове или пить чай

из блюдца. Я знавал множество социалистов из буржуазной среды, часами слушал их тирады, громящие буржуазию, однако не встретил ни единого, кто усвоил пролетарские манеры за столом. А почему бы нет? Отчего бы, полагая пролетария кладезем всех добродетелей, не бросить церемонии и не позволить себе от души почавкать над тарелкой? По той единственной причине, что противно. Как видите, далеко не уйдешь от воспитания, с детства приучившего бояться, ненавидеть и презирать рабочий класс.

9

В свои четырнадцать-пятнадцать лет я был гадким юным снобом, хотя не самым худшим среди однокашников. Думаю, нет на свете места, где снобизм культивировался бы так трепетно и скрупулезно, как в английской закрытой частной школе. Здесь уж не скажешь, что наше пресловутое «образование» не дает результатов. Латынь и греческий стираются из памяти через несколько месяцев после выпуска (я учил греческий лет десять, а сейчас, в тридцать три года, даже не могу наизусть вспомнить греческий алфавит), но снобизм, если постоянно не выпалывать его, как

вьюнок с грядок, держится в тебе до могилы.

Положение мое в школе было трудным, поскольку оказался я среди юнцов богаче, гораздо богаче меня; попасть затем в дорогой привилегированный колледж мне случилось лишь благодаря выигранной стипендии[170]. Обычный опыт мальчиков из низов верхушки среднего класса (детей священников, чиновников колониальной администрации и т. п.[171]), итог тоже достаточно обычен. С одной стороны, это заставило меня особенно цепляться за благородный тон, с другой — наполнило обидой и негодованием на богатых сынков, дававших мне почувствовать разницу между нами. Я презирал всякого, кто не опознавался как «джентльмен», но столь же ненавидел свинство богачей, особенно нажившихся недавно. Правильным и красивым мне казалось быть благородным по рождению, но денег не иметь. Характерное для моей социальной прослойки кредо. Даёт романтичное ощущение себя аристократом в изгнании и очень успокаивает.

---

[170] notes: 170

Стипендию для продолжения образования в Итоне Оруэлл получил благодаря своим успехам (главным образом, по истории литературы) в частной начальной школе Св. Киприана в Суффолке.

[171] notes: 171

Дед Оруэлла был англиканским священником, отец служил в администрации Британской Индии.

Однако те годы — на протяжении и сразу после войны — весьма своеобразно окрасили школьную атмосферу. Англия тогда была ближе к революции, чем потом или когда-либо прежде; чуть не всю страну охватило революционное чувство, теперь забытое или абсолютно переиначенное, хотя оставившее некий осадочный след. В сущности, под специфическими лозунгами, это был молодежный бунт, непосредственно связанный с войной. На фронте молодые жертвовали жизнью, а старые вели себя так, что и сегодня тошно вспомнить, — исполнившись непреклонным патриотизмом, отсиживались по тылам, в то время как пылких юношей на фронте выкашивал огонь немецких пулеметов. Кроме того, руководили военными действиями, в основном, старики, и руководство отличалось крайней некомпетентностью. К 1918 году каждый моложе сорока был донельзя возмущен старшим поколением, и естественный после бойни антимилитаризм перерос в общий протест против ортодоксальности и всяческих авторитетов. Возник прямо-таки культ ненависти к «старичью», на которое возлагалась ответственность за все грехи. Все утвержденные ценности, от Палаты лордов до романов Вальтера Скотта, высмеивалось лишь потому, что их

отстаивало «старичье». Вошло в моду держаться «большевиком», как это тогда называлось, и вообще отрицать, противоречить. Пацифизм, интернационализм, гуманизм, феминизм, свободная любовь, развод без сложностей, аборты, атеизм — любые, самые невнятные идеи подобного рода принимались с энтузиазмом, в мирное время не вскипающим. И, разумеется, поветрие захватило не успевших повоевать юнцов, в том числе даже учащихся закрытых школ. Считая себя новым — просвещенным! — поколением, мы негодующе отбрасывали догмы, навязанные гнусным «старичьем». Сидевший в нас классовый снобизм никуда не исчез, впереди, естественно, рисовалась варианты жить на дивиденды или занять теплое местечко, но быть «против властей» тоже казалось вполне естественным.

Мы насмехались над курсом школьной военной подготовки, христианской верой, даже над обязательным спортом и королевским семейством, не сознавая, что просто подхвачены волной всеобщего отвращения к войне. Запомнились два случая той нашей специфичной революционности. Однажды преподаватель английского устроил нам письменную контрольную с проверкой общих знаний, где среди прочего требовалось

назвать десять выдающихся современников. Нам было лет по семнадцать, и из шестнадцати учеников нашего класса пятнадцать включили в свой список Ленина. Это в снобистской дорогой закрытой школе, в 1920 году, когда еще свежи были кошмары русской революции. Второй случай связан с проводившимися в марте 1919-го так называемыми «торжествами мира». Учителя решили, что мы должны отпраздновать окончание войны в традиции победного рева над поверженным врагом: с факелами прошествовать по школьному двору, хором вопя шовинистические песни типа «Правь, Британия». Ученики же — полагаю, к их чести — шествие превратили в глумление и на известные мелодии орали всякие богохульные слова. Я сомневаюсь, что нечто подобное могло бы произойти сегодня. Знакомые мне сегодняшние воспитанники закрытых школ, даже интеллектуалы, по своим взглядам гораздо консервативнее школяров пятнадцатилетней давности.

Итак, в свои семнадцать лет я был одновременно снобом и ополчившимся на власти бунтарем. Читал, перечитывал Уэллса, Шоу, Голсуорси (они еще числились в разряде опасно «передовых» писателей) и сам себя полагал социалистом. Ни

четких представлений о социализме, ни понимания того, что рабочий класс — живые люди, у меня не имелось. Читая книги (например, «Люди бездны» Джека Лондона) я страшно переживал за пролетариев, но, оказавшись рядом с ними, по-прежнему их презирал и ненавидел. По-прежнему бесило их косноязычие, коробили их грубые привычки. А стоит напомнить, что английский трудовой люд тогда был в очень боевом настрое. Шли крупные угольные забастовки, шахтеры виделись исчадьем ада, и пожилые леди перед сном заглядывали под кровать, боясь, не прячется ли там злодейский Роберт Смилли[172]. Всю войну и некоторое время после нее на шахтах не хватало рабочих и заработки были высоки, теперь же ситуация ухудшилась так резко, что горняки восстали. Воевавшие, которых в армии держали соблазном радужных послевоенных перспектив, вернулись домой, где не оказалось ни работы, ни хотя бы жилья. Кроме того, бывшие воины возвращались с чисто солдатским — вольным, несмотря на армейскую дисциплину, отношением к жизни. Бурлили возмущенные чувства. Не забыть тогдашней песенки с припевом:

---

[172] notes: 172

Смилли, Роберт (1857–1940) — лидер профсоюзного движения британских горняков.

Только то из прежнего отыщешь,

Что богач кует деньгу, бедняк — детишек.

И удачи не видать

Ни чуточки,

А зато какая нам досталась шуточка!

Народ еще не привык разгонять скуку безработных дней бесконечными чашками чая. Люди все-таки еще ждали того счастливого житья, за которое сражались в окопах, и откровенная вражда к благополучной культурной публике выражалась даже острее прежнего. Оглядываясь назад, мне вспоминается, что половину времени я обличал капитализм, а половину — ярился на неслыханно дерзких водителей автобусов.

Мне не исполнилось и двадцати, когда я отправился в Бирму служить в индийской Имперской военной полиции. На такой дальней «заставе империи» классовый вопрос вроде бы потерял актуальность. Критерий явной социальной розни там отсутствовал: первостепенную важность имело не то, учился ли ты в благородной школе, а то, достаточно ли бела твоя кожа. Фактически большинство колониальных белых не являлись бы «джентльменами» в Англии, но кроме рядо-

вых солдат и нескольких невнятных личностей все жили самым джентльменским образом (то бишь держали слуг и называли вечернюю трапезу «обедом»), и местным обществом британцев рассматривались как единый класс — класс «белых людей», резко возвышавшийся над классом «аборигенов». Однако этот смуглый низший класс воспринимался иначе, чем пролетарии на английской земле. Существенным моментом было отсутствие физической брезгливости к «аборигенам», во всяком случае, к бирманцам. Смотрели на них свысока и, тем не менее, охотно допускали теснейший бытовой контакт; предрассудков на этот счет не я не заметил даже у закоренелых ревнителей цвета кожи. Имея много слуг, ты быстро привыкаешь к барской лени, и я, например, позволял бирманскому бою одевать, раздевать себя, хотя не вынес бы прикосновений английского лакея. Эмоционально я ощущал бирманцев как неких нянюшек. Подобно большинству народов, жители Бирмы источают свой запах — трудно описать его, от него словно покалывает зубы, — но этот запах ничуть не казался мне отвратительным. (Кстати, мы тоже для людей Востока пахнем весьма специфично. Китайцы, как я знаю, говорят, что от белого человека несет трупом.

Бирманцы тоже так считают, хотя у них хватало учтивости не сообщать об этом мне). Определенным образом я даже ощущал свою ущербность: ведь если смотреть в лицо фактам, внешними данными азиаты превосходят европейцев. Сравните гладкую как шелк кожу бирманца, которая с возрастом лишь тускнеет, но остается тугой, — и шершавую, дряблую, морщинистую кожу белого человека за сорок лет. У белого мужчины на голенях, запястьях, на груди заросли безобразной густой шерсти, а у бирманца лишь кустики жестких черных волосинок кое-где в надлежащих местах, вообще же тело безволосое, да и лицо обычно безбородое. Белый почти всегда лысеет, бирманец — крайне редко, практически никогда. Зубы бирманца идеальны, хотя красноватого цвета от сока постоянно жующегося бетеля, — у белого зубы обязательно портятся и крошатся. Белый человек от рождения скроен плоховато, а уж как растолстеет, то весь в каких-то немыслимых буграх, — у азиата стройная осанка и он до старости ладно сложен. Общепризнанно, что среди белых изредка появляются особи, в молодые годы блистающие несравненной красотой, но в целом, что ни говори, восточные люди миловиднее. Впрочем, об этом я не задумывался,

обнаружив, что «аборигены» намного симпатичнее противных английских «низших классов». Мышление мое тогда не выходило за рамки рано и прочно усвоенных предубеждений. На короткое время меня, двадцатилетнего, прикомандировали к армейскому Британскому полку. Конечно, я искренне восхищался рядовыми солдатами, как всякий юнец восхищается крепкими, бодрыми парнями, которые на пять лет старше и чья грудь увешана боевыми медалями. И все же мнилось что-то противное в них, парнях из «простонародья», сближаться с ними отнюдь не тянуло. По утрам, когда отряд отправлялся на марш, а мы с младшим лейтенантом топали сзади, от испарений сотни разогретых жарой тел у меня сводило кишки. Абсолютная, как вы понимаете, предвзятость. Физически солдат благополучен, насколько это вообще возможно для белого мужчины. Он молод и, благодаря постоянным тренировкам на свежем воздухе, здоров, строгая дисциплина понуждает его к чистоте и опрятности. Но мне чудилось иное. Я знал, что впереди шагает разящий потом низший класс, и от сознания этого меня подташнивало.

Процесс истребления (по крайней мере, убавления) моего социального снобизма шел исподволь,

растянувшись на несколько лет. Изменить отношение к проблеме классов помогли моменты, напрямую с этим не связанные, даже, казалось бы, посторонние.

Проведя пять лет офицером полиции в Бирме, я под конец возненавидел империализм, которому служил, с неописуемой яростью. В свободной атмосфере Англии этого до конца не понять. Чтобы по-настоящему возненавидеть империализм надо побыть его частью. Со стороны британские порядки в Индии (или, скажем, французские в Марокко, голландские на Борнео) видятся логичными, доброжелательными, плодотворными, и они действительно таковы: под управлением иностранцев коренному населению обычно живется лучше, чем под властью соплеменников. Но став участником системы, неизбежно придешь к признанию ее незаконной тиранией. Самому толстокожему английскому сахибу это прекрасно известно. Каждое туземное лицо на улице заставляет почувствовать себя вломившимся чудовищем. И большинство британцев в Индии вовсе не так уверены насчет своих позиций, как полагают в Англии. От совершенно неожиданных персон, от проспиртованных джином старых бандитов из верховной администрации

мне доводилось слышать фразы типа: «Зря, нас, конечно, принесло в эту треклятую страну. Но раз уж мы здесь, надо, черт побери, держаться». В наше время никто уже не верит, что есть право вторгаться в чужие страны и силой подчинять народы. Иностранный гнёт — зло значительно более явное и понятное, чем притеснение экономическое. Привычно допуская наш грабеж заморских территорий ради того, чтобы полмиллиона бездельников купались в роскоши, мы на своей земле бились бы до последнего против каких-нибудь китайских захватчиков. Так что даже праздная публика, без малейших угрызений совести живущая чужим трудом, достаточно ясно ощущает, как несправедливо было явиться с другого конца света и против воли людей завладеть их странами. В итоге индийского британца непременно преследует чувство вины, которое он тщательно скрывает, ибо свобода слова не допускается, любое нелояльное замечание может испортить карьеру. По всей Индии полно англичан, втайне ненавидящих и систему, и свое в ней участие, но только изредка, в абсолютно надежной компании позволяющих прорваться накипевшему чувству. Помню, однажды ночью мне случилось ехать в поезде с человеком из

департамента образования (имени незнакомца я так никогда и не узнал). Жара не давала уснуть, и мы всю ночь проговорили. Полчаса осторожных расспросов убедили каждого из нас, что собеседник «безопасен», после чего мы до утра, пока поезд медленно тянулся сквозь непроглядный мрак, попивали пиво и проклинали Британскую империю — проклинали от души, всем сердцем и разумом. Нам было замечательно. Но болтали мы о вещах запрещенных и под утренним ярким солнцем, когда поезд вполз в Мандалай, распрощались виновато, как согрешившие любовники.

Насколько мне удалось заметить, всех белолицых служащих в Индии временами мучает совесть. Исключение составляют те, кто занят делом нужным стране независимо от присутствия либо отсутствия британцев: врачи, инженеры, специалисты лесного хозяйства. А я служил в военной полиции, то есть был активно действующим элементом деспотического режима. К тому же, в полиции напрямую сталкиваешься с имперской гнусностью, и есть большая разница: просто качать из страны деньги или исполнять грязную работу. Большинство людей за смертную казнь, но сами в палачи бы не пошли. Даже бирманские европейцы косо посматривали на

людей из полиции, зная их зверские приемы. Помню, я инспектировал полицейский пост, и туда по какому-то поводу зашел знакомый мне американский миссионер. Подобно большинству миссионеров пуританских сект, это был совершеннейший осел, хотя довольно славный малый. Один из моих туземных подчиненных как раз измывался над арестованным (сцена эта у меня описана в романе «Дни в Бирме»). Понаблюдав происходящее, американец повернулся ко мне и задумчиво сказал: «Да-а, не хотелось бы служить на вашем месте». Меня прожгло стыдом. Хорошеньким же дельцем я занимаюсь! Даже американский миссионер, туполобый девственник-трезвенник со Среднего Запада, имеет основания снисходительно меня жалеть! Ощущение позора продолжало преследовать и тогда, когда рядом не было свидетелей, готовых устыдить. Во мне стало нарастать непередаваемое омерзение ко всей машине так называемого правосудия. Как ни крути, сама система наказаний (в Индии, между прочим, гораздо более гуманная, чем в Англии) — жуткая штука. Ей требуется персонал чрезвычайно нечувствительный. Жалкие заключенные в вонючих тюремных клетках, серые покорные лица осужденных на долгий срок,

шрамы на ягодицах провинившихся, выпоротых бамбуком, вой женщин и детей, когда уводят их родича, — подобные вещи невыносимы, если ты непосредственно причастен ко всему этому. Однажды мне довелось официально присутствовать на казни через повешение, и впечатление было — процедура эта хуже тысячи разбойных убийств. Входя в тюрьму, мне каждый раз казалось (чувство, знакомое многим посетителям тюрем), что мое место по ту сторону решетки. Я думал — и продолжаю думать, — что самый страшный преступник нравственно выше судьи, приговаривающего к виселице. Но, разумеется, такого рода мысли приходилось таить в себе, поскольку на Востоке англичанин вынужден хранить молчание. В конце концов, я выработал анархистскую теорию, согласно которой всякая государственная власть есть зло и наказание приносит вреда больше, чем преступление, а если человеку доверять и не начальствовать над ним, он будет вести себя прилично. Эту сентиментальную чушь я давно оставил. Конечно, мирных людей нужно защищать от насилия. Всюду, где существует криминал ради выгоды, необходимо иметь суровый закон и применять его безжалостно; альтернатива — Аль Капоне. Но тот,

кому положено выносить, исполнять приговоры, все-таки непременно почувствует наказание как зло. Не сомневаюсь, даже в Англии многих судей, работников полиции и тюрем нередко посещает тайный ужас из-за того, что они вытворяют. А наш гнет в Бирме был двойным: мы не только казнили людей, сажали их в кутузку и т. п., мы это делали, будучи интервентами, оккупантами. И до самих бирманцев смысл нашей юрисдикции не доходил. Посаженный в тюрьму вор не считал себя справедливо наказанным уголовником, он себя видел только жертвой чужеземных захватчиков, а примененные к нему меры — свирепым произволом. Лица за толстыми тиковыми брусьями полицейских камер или железными прутьями тюремных решеток так ясно об этом говорили. Увы, я не научился равнодушно смотреть на человеческие лица.

Отправляясь в 1927 году домой в отпуск, я уже всерьез подумывал бросить офицерскую службу, и, вдохнув английского воздуха, решился — не вернулся обслуживать адский деспотизм. Но мне хотелось большего чем просто скинуть форму. На протяжении пяти лет я был сотрудником репрессивной системы, и это подарило мне больную совесть. Впечатанные в память бесконечные

лица — лица обвиняемых на скамье подсудимых, лица приговоренных в камере смертников, лица подчиненных, над которыми я куражился, лица старых крестьян, с которыми обходился пренебрежительно, и слуг, которых я в минуты гнева учил кулаком (каждый на Востоке хоть изредка позволяет себе такое: восточные люди весьма способны спровоцировать), — нещадно терзали меня. Сознание огромной вины требовало искупления. Эмоции чрезмерные, но вы попробуйте годами делать нечто, что лично для вас неприемлемо, и, вероятно, исполнитесь тех же чувств. Я все упростил до идеи: угнетенный всегда прав, а угнетатели всегда не правы, — наивно и неверно, но естественно после того, как сам являлся одним из угнетателей. Созрела мысль бежать не только от империализма — от любой формы превосходства человека над человеком. Я хотел опуститься, оказаться на самом дне, среди жертв и вместе с ними против тиранов. Думы мои вынашивались в глухом одиночестве, благодаря чему ненависть к угнетению достигла степени невероятной. Единственно достойным мной был признан отказ от жизненных успехов. Любой намек на стремление «преуспеть», иметь хотя бы несколько сот годовых, казался духовным

уродством, видом подлости.

И вот тогда мое внимание привлек английский рабочий класс. Впервые я задумался о нем и только потому, что обнаружил некую аналогию. Пролетариат символизировал жертву несправедливости, подобно угнетаемым бирманцам. Антитеза в Бирме была крайне проста: белые наверху, темнокожие внизу; и я, понятное дело, сочувствовал темнокожим. Теперь выяснилось, что эксплуататорство и тиранию не обязательно искать так далеко. На родине, под боком имелся угнетенный класс, терпевший муки и лишения, по-своему не менее жестокие, чем имперские притеснения на Востоке. Со всех уст не сходило слово «безработица». Для меня это после Бирмы было довольно ново, однако постоянное кудахтанье среднего класса («все эти безработные просто бездельники...») меня не обмануло. Я часто думал: верят ли себе даже болваны, несущие такую дичь? Но никакого интереса к социализму, к его экономической теории я в те дни не испытывал. Мне казалось — порой, честно сказать, кажется и сейчас, — что экономический грабеж прекратится, как только нам по-настоящему захочется его прекратить, и при горячем, искреннем желании с ним покончить метод едва ли очень важен.

О жизни рабочего класса я не знал ничего. Изучал цифры безработицы, но что стоит за ними, понятия не имел. Во-первых, мне было неведомо, что худший вид бедности есть бедность «приличная». Жуткий крах выброшенного на улицу достойного честного труженика, его отчаянная битва с непонятным и всесильным законом экономики, распад семейства, разъедающий душу позор, — все это было за пределами моего опыта. Бедность мне виделась как лютый голод и грязные лохмотья. Соответственно, сознание устремилось к наиболее очевидным изгоям общества: бродягам, нищим, проституткам, криминальным элементам. «Низшие из низших» — вот с ними мне хотелось быть. Страстно мечталось вообще уйти из респектабельного мира. Я много размышлял на эту тему, планировал, как все продам, раздам, изменю имя и начну новое существование совсем без денег, лишь с костюмом из старых обносков... В жизни, однако, так не получается. Кроме необходимости принять во внимание родных и близких, сомнительно, что образованный человек сможет выбрать такую участь в спектре открытых ему путей. Но все-таки возможно было пожить среди отверженных, узнать, каков их быт, на время стать частицей их

мира. Вот я отправлюсь к ним, и меня примут, и я там окажусь на самом дне, и — так я ощущал, хоть сознавал всю неразумность ощущения, — доля вины с меня спадет.

Определив курс, я наметил порядок действий. Пойду, надлежащим образом переодевшись, в Лаймхаус, Уайтчепел или иной скверный лондонский район, устроюсь спать в ночлежке, заведу у доков знакомство с грузчиками, нищими лоточниками, попрошайками и даже, может, уголовниками. Разузнаю насчет бродяг: как присоединиться к ним, как попадают в специально созданные для бродяг ночные полутюремные приюты и т. п., а затем, набравшись необходимых знаний, сам отправлюсь бродяжничать.

Вначале было нелегко. Требовалось притворяться, а у меня ни капли актерских талантов. Я не умею, например, скрывать свой выговор, во всяком случае, долее пары минут. И поскольку мне представлялось (вот оно, наше классовое сознание!), что, едва я открою рот, во мне узнают «джентльмена», для недоверчивых была сочинена история о моих злоключениях. Убедительное тряпье я приобрел, тщательно загрязнил в нуж-

ных местах, и, хотя мой неподходящий рост[173] не спрячешь, я, по крайней мере, уже знал, на кого должен походить. (Кстати, как мало людей это знают; взгляните на любое изображение бродяги в «Панче», — всегда типаж двадцатилетней давности). Итак, однажды вечером, переодевшись в доме у приятеля, я вышел и побрел в восточном направлении, дойдя наконец до какой-то припортовой ночлежки в Лаймхаусе. Местечко выглядело довольно угрюмо. Ночлежка обнаружилась вывеской в окне: «Отличные койки для одиноких мужчин». Господи, как пришлось подхлестнуть свою отвагу, чтобы переступить порог! Теперь смешно, но я ведь, знаете ли, еще побаивался пролетариев. Хотелось найти контакт с ними, хотелось даже стать одним из них, и все-таки они казались опасными иноземцами. Темный дверной проем виделся входом в жуткое подземелье — нечто вроде полного крыс коллектора. Вошел я с тяжким предчувствием драки. Сейчас признают во мне чужака, решат, что я прибыл шпионить, накинутся, отдубасят и вышвырнут

[173] notes: 173

В произведениях Оруэлла неоднократно встречается замечание о том, что классовую принадлежность англичанина легко определить по его росту: долговязые представители буржуазии заметно отличаются от низкорослых, коренастых пролетариев.

вон. Храбрости я набрался, но перспектива не вдохновляла.

Откуда-то изнутри появился мужчина в рубашке с засученными рукавами — «управляющий» заведения. Я сказал, что хотел бы переночевать. Никакого настороженного взгляда мой выговор не вызвал, человек просто потребовал девять пенсов и показал, где спуститься в душную подвальную кухню. Внизу пили чай, играли в шашки портовые грузчики, землекопы и несколько матросов. На меня, вошедшего, компания лишь мельком глянула. Но дело было поздним субботним вечером, по комнате мотался напившийся молодой здоровяк. Мой приход привлек его внимание, он шатнулся ко мне, глаза на его мясистом багровом лице блеснули угрозой и подозрением. Я напрягся: драка не заставила себя ждать. В следующий момент здоровяк кинулся мне на грудь и обхватил ручищами за шею: «Чайку испей, браток! — жалостливо взрыдал он. — Испей чайку!».

Я выпил чашку чая. Состоялось своего рода крещение. Страхи мои исчезли. Никто не подвергал сомнению мою личность, не донимал назойливым любопытством; все были вежливы, милы и принимали меня запросто, с полным доверием. Дня три я оставался в той ночлежке,

а через несколько недель, набравшись знаний касательно привычек нищего люда, ушел в свой первый бродяжий поход.

Об этом подробно рассказано в моей книге «Фунты лиха в Париже и Лондоне» (практически все описанные эпизоды действительно имели место, только иначе скомпонованы), не стоит повторяться. Позднее я подолгу — порой по желанию, порой по необходимости — скитался и бродяжил, месяцами жил в ночлежках. Но та первая экспедиция прочнее всего в памяти, — так странно, просто фантастично было в самом деле оказаться на дне, среди «низших из низших», на равных с пролетарским людом. Бродягу, правда, не назвать типичным пролетарием; а все-таки среди бродяг ты слит с определенной группой, низшей кастой рабочего класса, и подобного единения другим путем, насколько мне известно, не добьешься. Несколько дней я бродяжил по северным предместьям Лондона вместе с одним ирландцем. На время мы стали закадычными приятелями, ночевали вдвоем в камере приюта для бродяг, он мне поведал свою историю, а я ему, фиктивную, свою. Мы клянчили объедки у внушавших надежду дверей и честно делились добычей. Я был ужасно счастлив — удалось! Я

наконец в самом презренном, нижайшем геологическом слое стран Запада! Классовый барьер рухнул (или казался рухнувшим). И там, в том жалком, бесприютном, по сути чрезвычайно скучном, бродяжьем мирке я испытал такое облегчение, что, хоть сегодня эта авантюра видится мне нелепой, переживания были весьма впечатляющие.

10

Дружба с бродягами помогает избавиться от многих предрассудков, но межклассовую проблему этим, к сожалению, не решить.

Бродяги, попрошайки, уголовники и прочие социальные отщепенцы — публика чрезвычайно специфичная, для пролетариата характерная не больше чем писательская интеллигенция для буржуазии. Довольно просто найти общий язык с заграничным «интеллектуалом», и очень нелегко — с иностранным обывателем средних слоев. Много ли англичан видели домашнюю обстановку французской рядовой буржуазной семьи? Разве что на свадебном торжестве, по-другому практически невозможно. Нечто подобное и относительно британского рабочего класса. Не

составляет труда задушевно сойтись с воришкой, если знаешь, где с ним встретиться, однако крайне сложно стать душевным другом каменщика.

Но отчего столь просто быть на равных с люмпенами? Мне часто говорили: «Бродяги, безусловно, сразу видят, что вы не из них? Они, конечно, сразу замечают, что у вас иные манеры, совсем иная речь?». Должен сказать, немалая часть, добрая четверть бродяг не замечает ничего. Во-первых, многим людям свойственно определять человека по одежде, не вслушиваясь в его произношение. Мне неоднократно доводилось с этим сталкиваться, когда я выпрашивал куски у задних дверей. Кое-кто был удивлен моей «культурной» речью, большинство же видело лишь то, что я грязный и рваный. Во-вторых, бродяги стекаются отовсюду, а диалектов на британских островах изрядно, речь некоторых бродяг необычна, едва понятна для других, и пришедший из Дархема, Кардиффа или Дублина может не различать, какой южноанглийский выговор является «культурным», какой нет. К тому же «образованные» очень редко, но встречаются среди бродяг. И даже если вдруг станет известно о твоем чуждом происхождении, отношение к тебе вряд ли изменится, поскольку для этой компании важно одно — ты,

как и все тут, «в заднице». Притом чересчур лезть с вопросами не принято. Захочется, можешь попотчевать людей своей историей (и большинство бродяг, получив хоть малейший повод, охотно это делают), но понуждать к рассказам о себе никто не будет и всякий твой сюжет сочтут достаточным. Даже епископ, обрядившись соответственно, мог бы стать своим в босяцком кругу; ему даже не надо было бы скрывать епископский ранг при условии, что бродяги полагали бы его лишенным духовного сана дерзким отступником. Когда ты топаешь с бродягами и внешне от них не отличаешься, спутников твоих мало интересует, кем тебе доводилось прежде быть. Этот особый, отринутый от мира мирок, где все равны, действительно демократичен, — возможно, к демократии он ближе, чем что-либо иное в Англии.

С обычными пролетариями ситуация совершенно другая. Ну, для начала, быстро и просто в их среду не попадешь. Надень старье, пойди в ближайший бродяжий приют, и ты уже бродяга, но грузчиком или шахтером тебе не стать. Этой работы, даже если сил хватает ее выполнять, ты не получишь. Участие в левом движении позволит наладить тесный контакт с рабочей интелли-

генцией, но для широких пролетарских масс эти товарищи не намного типичнее бродяг или карманников. Остается такой путь, как проживание квартирантом в домах пролетариев, что, впрочем, сильно смахивает на филантропические посещения трущоб. Несколько месяцев подряд я жил в шахтерских семьях. Ел за одним столом с членами семьи, спал на одной из их кроватей, умывался над их кухонной раковиной, пил с ними пиво, метал дротики в картонную мишень, часами напролет беседовал. Но, хотя я находился среди них и, надеюсь, не был им неприятен, своим я все-таки не стал, и они это сознавали еще лучше меня. Сколь бы ты не симпатизировал им, сколь бы интересными не находил беседы с ними, всегда той чертовой горошиной под периной принцессы чувствуется сквознячок классовых различий. Не отвращение или неприязнь, всего лишь некое различие — и уже по-настоящему не сблизиться. Даже с шахтерами, считавшими себя коммунистами, потребовались деликатные маневры, чтобы они не называли меня «сэр», и все они всегда, кроме моментов особенного оживления, старались ради меня смягчать их грубоватый северный говор. Они мне нравились, ко мне, кажется, тоже относились искренне и

сердечно, и все-таки я там ходил как иностранец, что всеми нами превосходно ощущалось. Какие пути не изыскивай, проклятие классовых различий встает между вами каменной стеной. Ладно, пускай не каменной стеной — тонкой стеклянной стенкой аквариума; прозрачной перегородкой, которую так легко не замечать и сквозь которую никак не проникнуть.

К сожалению, в наши дни модно делать вид, что это стекло проницаемо. Разумеется, все в курсе относительно существования классовых предрассудков, однако каждый утверждает, что лично он неким таинственным образом совершенно от них избавлен. Снобизм как раз из тех пороков, которые отлично видятся в других и никогда — в самих себе. Не только верой и правдой исповедующие социализм, но любой «интеллектуал» уверенно полагает себя абсолютно непричастным к подлой классовой розни: уж он-то в отличие от окружающих способен воспринимать реальность вне таких глупостей, как деньги, чины, звания, положение и т. п. Фраза «я не сноб» сделалась универсальным кредо. Кто нынче не глумится над Палатой лордов, армейской кастой, королевской фамилией, закрытыми школами, любителями верховой охоты, панси-

онами старых леди и джентльменов, сельским «светским» обществом и вообще над социальной иерархией? Позиция обязательная, принимается почти автоматически. Особенно это заметно в романах. Претендующий на серьезное направление романист, живописуя высший класс, настроен непременно иронически. Образ какого-нибудь пэра или баронета рисуется с насмешкой почти инстинктивной. Для подобной стилистики есть дополнительное основание — бедность современного культурного языка. Речь «образованных» людей сделалась столь бесцветной и безжизненной, что у романистов возникла проблема. Легче всего ее решить, подхлестнув юмористичность до степени фарса, то бишь изображая всякого представителя высших классов непроходимым тупицей. Прием понравился, распространился и стал употребляться практически рефлекторно.

А все же любой из нас в глубине души знает, что это чепуха. Все мы браним классовые отличия, но очень немногие всерьез хотели бы их упразднить. И становится очевидным тот существенный факт, что революционность взглядов отчасти проистекает из прочной тайной уверенности в неизменном порядке вещей.

Желающим получить яркую иллюстрацию это-

го стоит проштудировать романы и пьесы Джона Голсуорси, держа в уме даты его произведений. Голсуорси — образец сверхчувствительного, со слезинкой, довоенного гуманиста. Начинает он комплексом болезненной жалости вплоть до мысли, что каждая замужняя дама это ангел, прикованный к сатиру. Его постоянно сотрясает гневная дрожь из-за страданий переутомленных клерков, малоимущих фермерских рабочих, падших светских женщин, несчастных преступников, проституток и животных. Мир, как явствует из его книг (романы «Собственник», «Правосудие» и пр.), четко делится на угнетателей и угнетенных, причем угнетатели царят, подобно гигантским каменным идолам, сокрушить которых невозможно всем земным запасом динамита. Однако впрямь ли автору так хочется их свергнуть? О нет, в битве с несокрушимой тиранией опорой ему служит именно сознание этой несокрушимости. Когда же, совершенно неожиданно, привычный порядок начинает рассыпаться, его охватывают несколько иные чувства. Тогда, отбросив свое чемпионство в драке мопса со слоном тирании и беззакония, он устремляется к защите той позиции (см. роман «Серебряная ложка»), что излечившихся от былой

немощи пролетариев массово, как гурты скота, следует высылать в колонии. Проживи Голсуорси еще десяток лет, он, вполне вероятно, пришел бы к некоей благородной версии фашизма. Неизбежная судьба сентиментальных гуманистов. При первом же столкновении с реальностью все их убеждения изменяются диаметрально.

Той же начинкой лицемерия обычно горчит слоеный пирожок «передовых» взглядов. Возьмем, допустим, империализм. Всякий левый «интеллектуал», естественно, антиимпериалист. От имперского вымогательства он открещивается столь же автоматично и самодовольно, как от вымогательства классового. Даже интеллектуалы правого толка, определенно не борцы с британским империализмом, считают нужным кинуть со стороны брезгливо-удивленный взгляд. И как легко дается здесь остроумие: бремя белого человека, «Правь, Британия», сочинения Киплинга, занудливые бывшие сахибы — ну кто способен упомянуть об этом, не хихикнув? Ну а, с другой стороны, какой культурный человек хоть раз в жизни не повторил анекдот насчет старого солдата-индуса, сказавшего, что в Индии, если британцы ее покинут, от Дели до Пешавара не останется ни девственниц, ни рупий? Таково

отношение левых к империализму, — отношение вялое, абсолютно безвольное. А это вопрос самый главный: вы за единство или за распад Империи? И в глубине души никакой англичанин (и менее всего любители высмеивать сахибов) не желает ее развала. Кроме всего прочего, ублажающий нас довольно высокий уровень жизни напрямую зависит от прочно припаянных колоний, особенно наших тропических колоний в Индии, Африке. Чтобы Англия могла жить относительно комфортно, сотни миллионов индусов должны жить на грани голода, — ах, как жесток этот капитализм! Но каждый раз, садясь в такси или наслаждаясь земляникой со сливками, вы молчаливо признаете существующий режим. Альтернатива — скинуть за борт имперские дела, сократив британскую территорию до холодного островка, на котором нам всем придется крепко вкалывать, питаясь, в основном, селедкой и картофелем. Это последнее, чего желает представитель левого фланга, и он же продолжает ощущать, что лично не несет никакой моральной ответственности за империализм. Охотно принимает дары Империи, замаливая грех глумлением над охранителями имперской системы.

Здесь начинаешь схватывать фальшь и в отно-

шении большинства людей к классовой проблеме. Пока это просто вопрос об улучшении условий для рабочих, каждый приличный человек согласен — надо улучшать. Например, относительно шахтеров. Если бы шахтер не полз к забою на четвереньках, а катил туда в удобной тележке, если бы смена его вместо семи с половиной часов длилась всего три, если бы он жил в добротном доме с пятью спальнями и ванной и получал десять фунтов в неделю, — замечательно! Тем более что все, у кого здравые мозги, отлично понимают: такая роскошь вполне достижима. Мир наш (во всяком случае, потенциально) очень богат; умело используя его ресурсы, мы при желании могли бы жить как принцы. На поверхностный взгляд и в социальной стороне вопроса та же простота. Ведь всем желательно покончить с классовой рознью, всех уже замучила проклятая неловкость в контактах с простым народом. Отсюда соблазн разрешить проблему бодрым кличем на манер скаутских вожатых. Эй, парни, бросьте-ка величать меня «сэр»! Разве мы все не одного людского племени? Давайте помнить: мы равны, и дружно встанем рядом! Какое, к черту, имеет значение, что я умею выбрать стильный галстук, а вы нет, что я глотаю свой суп беззвучно, а вы хлебаете

свой с шумом водопада в сточной трубе... и т. д., и т. п. Вреднейшая чушь, но звучная и весьма подходящая запудривать мозги.

Увы, одним желанием снести классовый барьер далеко не продвинуться. То есть желание хорошее и нужное, однако малоэффективное, если не осознать, куда оно ведет. Глядя правде в глаза, необходимо уяснить: ликвидация классовых различий означает ликвидацию существенной части самого себя. Вот я, типичный представитель среднего класса. Заявить о своем стремлении избавиться от разделяющих классовых особенностей мне легко, но почти все в моем мышлении обусловлено именно ими. Все мои понятия — о добре и зле, приятном и неприятном, смешном и серьезном, красивом и безобразном — в сущности, понятия буржуазные. Мои вкусы в литературе, еде и одежде, мое чувство чести, мои манеры за столом и мои обороты речи, даже моя походка и жестикуляция сформированы определенным воспитанием, определенным положением где-то чуть выше середины на социальной лестнице. И если я это понимаю, хлопать пролетария по плечу и сообщать ему, что он такой же славный малый, пустое дело. Для реального сближения с пролетариатом требуется

такое усилие, к которому я, скорее всего, не готов. Требуется не только подавить собственный социальный снобизм, но заодно отказаться от множества личных вкусов и пристрастий. Во имя избавления от гнусной социальной розни мне, в конце концов, придется измениться буквально до неузнаваемости. Так что речь не просто об улучшении условий для рабочих, об изживании одиозных снобистских глупостей — речь о полной перестройке присущего высшему и среднему классу отношения к жизни. И здесь мое «да» или «нет» зависит, надо полагать, от того, в какой степени я сознаю, на что должен пойти.

Между тем многие воображают, что можно обойтись без коренной ломки своих привычек, всей своей «идеологии». Ширятся ряды энтузиастов социального выравнивания; доброхотов, искренне полагающих, что они заняты ниспровержением классовых различий. Социалист, восторженно увлеченный пролетариатом, устремляется в «летние школы», где, как предполагается, раскаявшийся буржуа и пролетарий падут в объятия друг друга и побратаются навек (те самые «летние школы», откуда благовоспитанные люди возвращаются с рассказами о том, как замечательно там было, а пролетарии — с

несколько иным словесным комментарием). И все это приторно-христианское пережевывание на удивление живучих идей Уильяма Морриса[174], сюсюканье обывателей: «Зачем же непременно всем равняться на низы? Почему бы не на верхи?» с предложением «подтянуть» рабочий класс (до их обывательских стандартов) посредством гигиены, фруктовых соков, ограничения рождаемости, высокой поэзии и пр. Даже сам герцог Йоркский (ныне уже король Георг VI) опекает ежегодный летний лагерь, где питомцы закрытых школ должны на отдыхе подружиться с трущобными мальчишками, — где эти ребята и сосуществуют наподобие цирковой «счастливой семейки» из пса, кота, двух хорьков, кролика и трех канареек, настороженно и нервно сидящих в одной клетке под зорким оком дрессировщика.

Плановые, натужные усилия снять социальный барьер, по моему убеждению, чрезвычайно ошибочны. Иногда они просто бесполезны, а когда дают результат, то, как правило, укрепляют классовые предрассудки. Собственно, этого и

---

[174] notes: 174

Моррис, Уильям (1836–1894) — английский художник и писатель. Главным современным злом полагал убивающее чувство прекрасного машинное «штампованное искусство», идеалом социального устройства видел общины, где все заняты ручным трудом и художественными ремеслами.

следовало ожидать. Если искусственно, форсированным темпом смешивать социальные слои, возникающая от неловкости и неестественности сила трения выносит на поверхность чувства, которые могли бы мирно покоиться в глубинах. Как я уже упоминал относительно Голсуорси, при первом соприкосновении с действительностью взгляды сентиментальных гуманистов полностью преображаются. Только царапни записного пацифиста — и обнаружишь ура-патриота. Пока состоящие в НРП[175] буржуа и бородатые пропагандисты фруктовых соков смотрят на пролетариев через перевернутый бинокль, они на все готовы ради бесклассового общества, но доведись им испытать реальный контакт с пролетарием (например, в субботней ночной драке с пьяным грузчиком), их мигом отшатнет к самому пошлому буржуазному снобизму. Впрочем, социалистам из среднего класса вряд ли грозят поединки с пьяными грузчиками, они общаются обычно с рабочей интеллигенцией. Но эта рабочая интеллигенция резко делится на два типа. Есть те, что продолжают трудиться механиками или простыми рабочими, — такие, может, не

[175] notes: 175

НРП — Независимая Рабочая партия Великобритании (Independent Labour Party)

очень стараются улучшить выговор, однако «развивают свое мышление» и содействуют левым лейбористам, коммунистам в свободное от работы время. А есть такие, что меняют (наружно, во всяком случае) свой жизненный уклад и, получив образование путем государственных стипендий, сами присоединяются к среднему классу. Первые представляют великолепный человеческий тип. Мое знакомство с подобными людьми позволяет думать, что они вызвали бы уважение и восхищение даже у закоренелых тори. Персоны второго типа — за исключением отдельных личностей вроде Дэвида Лоуренса — менее восхитительны.

Прежде всего, к сожалению (хотя это органичный итог системы образовательных стипендий), пролетарии очень склонны проникать в средний класс через среду литературной интеллигенции. Но человеку по натуре скромному и порядочному проторить здесь собственную дорогу непросто. В наши дни английский литературный мир — по крайней мере, его высокоинтеллектуальный сектор, — представляет собой ядовитые джунгли, благоприятные лишь для цветения сорняков. Солидно и благопристойно держаться в литературном свете могут лишь писатели с признанной популярностью, скажем, авторы детективов, а

быть умником, пишущим для заумных журналов, значит обречь себя на участие в бесконечной закулисной возне. Успеха здесь добьешься, если вообще добьешься, не столько талантом писать, сколько умением быть душою вечеринок и лизать задницу паршивым мелким львам. И как раз в этом секторе радушно привечают авторов пролетарского происхождения. «Способный» паренек из рабочей семьи — парнишка, выигрывавший стипендии и явно не приспособленный вкалывать у станка, — может найти иные пути социального подъема (допустим, сделавшись активистом НРП), но он гораздо чаще предпочитает писательство. Сегодняшний литературный Лондон изобилует получившими образование молодыми выходцами из низов. В массе это народ удручающий, для своего класса нетипичный, и обидно, что чаемое буржуазным интеллигентом товарищество с пролетарием осуществляется на встречах с этими людьми. Кончается обычно тем, что интеллигента, идеализировавшего рабочий класс, не зная о нем ничего, вновь захлестывает бешеный снобизм. Ситуация (если, конечно, сам в ней не участвуешь) выглядит довольно комично. Полный добрых намерений бедняга, торопясь обнять пролетарского брата, кидается ему на-

встречу с распростертыми объятиями, но очень скоро, не обретя братства и лишившись пяти заимствованных фунтов, пятится в негодовании: «Какого черта! Этот парень не джентльмен!».

Дабы не стать жертвой подобных досадных случаев, следовало бы хорошенько удостовериться насчет собственных, столь глубоких, убеждений. Я уже отмечал, что левизна типичного «интеллектуала», как правило, фальшива. Исключительно из подражания он глумится над вещами, фактически для него святыми. Возьмем тот же школьный кодекс чести, его пункты «дух единства» и «нельзя бить лежачего» и прочую трескучую болтовню. Кто не смеялся над этим? Кто, полагая себя «интеллектуалом», осмелился над этим не смеяться? Однако если смеешься не ты, а некто со стороны, как-то уже не по себе (так мы всю жизнь ругаем Англию, но впадаем в ярость, услышав наши ежедневные упреки из уст иностранца). Никого так не веселят традиции наших закрытых школ, как Бичкомбера, штатного юмориста «Дейли Экспресс»[176]. Он потешается, и весьма справедливо, над благородным кодек-

[176] notes: 176

Под псевдонимом Бичкомбер (на сленге это приблизительно «пляжный бродяга») юмористическую колонку «Кстати» в «Дейли Экспресс» вел писатель Джон Бингем Мортон.

сом, согласно коему нет греха хуже плутовства за карточным столом. А счел бы Бичкомбер очень забавным, если б в мошенничестве с картами был уличен его приятель? Сомневаюсь. Собственные воззрения начинаешь по-настоящему понимать, только встретившись с представителем иной культуры. Будучи «интеллектуалом», вы воображаете, что вмиг очистились от буржуазности лишь тем, что запросто труните над патриотизмом, Славным Школьным Братством и полковником Блимпом[177]. Но с точки зрения интеллектуала-пролетария (по рождению все-таки чуждого буржуазной культуре) в вас, быть может, существеннее не отличие от Блимпа, а сходство с ним. Вполне возможно, интеллектуалу из низов вы с Блимпом видитесь людьми одного клана, и он в определенной мере прав, хотя ни вы, левак и демократ, ни твердолобый шовинист-полковник этого даже в мыслях не допустите. Так что встречи буржуа и пролетария, столь успешные на митингах, в жизни не всегда оборачиваются восторгом наконец-то вновь нашедших друг друга близнецов. Слишком часто тут происходит столкновение чужеродных культур, эмоциональ-

[177] notes: 177

Полковник Блимп — олицетворяющий косность и шовинизм толстяк, персонаж популярных в 1930-е гг. карикатур Дэвида Лоу.

но характерное для военных конфликтов.

Пока коллизия рассматривалась мной с позиций буржуа, который, нарвавшись на оскорбление своих тайных святынь, испуганно бежит назад, к уютному консерватизму. Не менее важно осмыслить ненависть, вскипающую в сердце просвещенного пролетария. Своей энергией, порой со страшными мучениями, он пробился в среду, где ожидал найти больше свободы, больше интеллектуальной тонкости, но все, что он там обнаружил, оказалось чем-то пустым, тусклым, лишенным каких-либо горячих чувств — вообще какой-либо подлинной жизни. Люди нового окружения иной раз чудятся ему лишь манекенами с толстым бумажником и прохладной водицей вместо крови. Во всяком случае, об этом он говорит, к этому почти непременно сведет беседу с вами любой интеллектуал простецкого происхождения. Известный, навязший в зубах жанр его унылых причитаний: буржуазия «мертва» (любимое ныне словечко, чрезвычайно эффектное ввиду своей бессмысленности), буржуазные ценности презренны, буржуазная культура обанкротилась… Желаете примеры, загляните в любой номер «Левого обозрения» либо в тексты молодых литераторов-коммунистов

вроде Эли Брауна, Филипа Хендерсона и других. Искренность многих тут сомнительна, но даже честнейший из честнейших Дэвид Г. Лоуренс твердит о том же. Интересно, с каким упорством у него развивается идея насчет омертвевшей, по меньшей мере — выхолощенной, буржуазии. Егерь Мэллорс, герой романа «Любовник леди Чаттерлей» (а по сути, сам автор), сумел подняться из низов и не особенно жаждет туда вернуться, поскольку у английских пролетариев «несимпатичные привычки», но и тот высший слой, где он теперь неким образом пребывает, кажется ему племенем полудохлых евнухов. Символом чего муж леди Чаттерлей в романе представлен натуральным физическим импотентом. Есть у Лоуренса и стихи о юноше (опять-таки о самом авторе), который из последних сил карабкался на дерево, чтобы «добраться до верхушки», но спустился оттуда со следующим впечатлением:

Вскарабкаться на самый верх,
Чтоб обезьяной стать навек!
Забыть, что прежде парнем был,
Что по земле ходил-бродил,
Торчать на ветке, тосковать да бормотать с амбицией.

Трещат, галдят, бормочут там
Талдычат свысока,
И ни полслова от души —
Кишка у них тонка.

Еще скажу кое о чем:
Там цыпочек полно,
Но петушки-то возле них
Перевелись давно...

Яснее свое отношение не выразить. И вряд ли, говоря о «талдычащих свысока», Лоуренс подразумевает только истинных буржуев с доходом выше пары тысяч годовых. Похоже, речь обо всех, кто, так или иначе, взращен буржуазной культурой: воспитан в доме, где изъясняются деликатно и держат хоть какую-то прислугу. Вот тут осознаешь угрозу литературно-пролетарских причитаний — стонов, способных пробудить жестокую непримиримость. Ведь получив такое обвинение, ты в глухом тупике. Лоуренс сообщает мне, что я, барчук, учившийся в закрытой школе, — евнух. Ну, и что делать? Предъявить медицинское свидетельство о своей мужской состоятельности? Приговор Лоуренса этим не отменишь. Упрекнув меня в недостойном пове-

дении, мне оставляют возможность исправиться, но, уподобив калеке-кастрату, искушают тут же расквитаться как можно больнее. Нет лучше способа нажить врага, чем намекнуть человеку на его неисцелимое увечье.

Таков в сухом остатке итог большинства непосредственных контактов буржуа и пролетариев — разжигаемый принудительным сближением, непременно вызывающий обиды взаимный антагонизм. Есть лишь один разумный путь к межклассовой гармонии — продвигаться к ней медленно, не форсируя темп. И если в душе вы полагаете себя джентльменом, стоящим выше посыльного из бакалейной лавки, достойнее так и сказать без всякого притворства. Конечно, желательно поскорей прикончить свой снобизм, но роковое заблуждение изображать, что вы это уже осилили.

Уж очень тоскливо наблюдать бесконечные превращения пылких двадцатипятилетних социалистов в тридцатипятилетних спесивых консерваторов. Откат вообще-то довольно естественный для выходца из среднего класса, и ход мысли тут понятный. А что если бесклассовое общество вовсе не означает райскую жизнь, где кроме канувшей навеки социальной вражды все

останется неизменным, но означает оно мрачный мир, которому без надобности наши устои, вкусы, идеалы (наша «идеология»). А вдруг слом гадких классовых барьеров штука коварная? Вдруг это лишь безумная скачка во тьме, в конце которой нас поджидает ласково оскалившийся тигр? Со слегка снисходительным умилением мы отправились приветствовать пролетарских братьев, и нате-ка! Пролетарские братья не просят наших приветствий — просят они, чтобы мы удавились. Подойдя в своих размышлениях к этому пункту, дрогнувший интеллектуал кидается прочь и, если резво припустит, способен добежать до фашизма.

11

Ну а как же социализм?

Не требует доказательств, что мы сегодня по уши завязли в проблемах, серьезность которых очевидна последним тугодумам. Мы живем в мире, где все несвободны, где фактически никому не гарантирована безопасность, где почти невозможно существовать, сохранив честность и порядочность. У той огромной части рабочего класса, о которой речь шла в первой части этой

книги, нет шансов улучшить свое положение без кардинальных изменений всей системы. Лучшее, на что может надеться британский пролетарий, — временный спад безработицы в связи с подъемом отрасли, которая получит искусственный стимул вроде перевооружения. Даже средние классы впервые в их истории почувствовали себя ущемленными. Голод их пока не пугает, но многие и многие ощутили тягостную растерянность, им все труднее и труднее воодушевляться своим полезным делом, своим уютным достатком. Даже счастливчиков на вершине общества, настоящих богачей, нередко посещают мысли о бедствиях низов и еще чаще — страх перед зловещим будущим. И это лишь начало, начало в стране благополучной, за века накопившей горы награбленных сокровищ. Какие неведомые ужасы готовит завтрашний день, нам, укрывшимся на нашем острове, сейчас и не представить.

Тем временем каждому, у кого шевелятся мозги, известно, что есть такой выход, как мировая, искренне и честно налаженная система социализма. Социализм, даже лишив прочих даров, по крайней мере, нас накормит. Вообще социализм это же столь элементарный здравый смысл, что я порой изумляюсь, отчего он еще не

утвердился прочно и повсеместно. На плывущем сквозь пространство плоту нашего мира запасов провизии хватит для всех, а идея всеобщего сотрудничества со справедливым распределением труда и пропитания так очевидна, что никто, пожалуй, не отказался бы ее принять, разве что по каким-то особым личным мотивам цепляться за нынешний строй. И все-таки социализм не утвердился. В реальности он даже явно отступает. Почти всюду социалисты сдают позиции бешено атакующим фашистам, и зачастую это совершается с кошмарной быстротой. Сейчас, когда я пишу эти строчки, испанские фашисты бомбят Мадрид, и, может, ко дню публикации книги список фашистских государств пополнится еще одним названием, не говоря о контроле фашистов над Средиземноморьем, что со временем может и британскую внешнюю политику передать в лапы Муссолини. Впрочем, я сейчас не намерен пускаться в широкие политические дискуссии. Меня волнует, что социализм теряет почву именно там, где должен бы стоять крепко и твердо. Настолько нужная, необходимая — ведь каждый пустой желудок тут аргумент «за» — идея социализма ныне менее популярна, чем десять лет назад. В большинстве, англичане сегодня не

просто равнодушны к социализму, но отчетливо враждебны. По-видимому, главным образом, из-за ошибочных методов агитации. Социализм в том виде, в каком он преподносится, содержит нечто неприятное и отталкивает как раз тех, кто должен бы служить ему опорой.

Еще вчера это казалось не слишком важным. Совсем недавно социалисты — особенно ортодоксальные марксисты — объясняли мне со снисходительной улыбкой, что социализм настанет сам собой, согласно неким таинственным законам «исторической необходимости». Вера в такие чудеса, возможно, не иссякла, но, мягко говоря, заметно пошатнулась. Отсюда неожиданные попытки коммунистов в разных странах объединяться с демократическими силами, чего они, коммунисты, много лет чурались как огня. Момент кризисный, а потому отчаянно необходимо обнаружить, почему социализм утратил привлекательность. И бесполезно игнорировать неприязнь к социализму как проявление глупости или корысти. Хотите устранить эту неприязнь, тогда надо её понять, — разобраться в психологии противников или хотя бы внимательно рассмотреть их доводы. Спор не решить по справедливости, не выслушав обе стороны.

Так что, как ни парадоксально, защиту социалистической идеи мне придется начать с нападок на нее.

В предыдущих трех главах я пытался проанализировать препоны, созданные нашей архаичной социальной системой (и снова буду вынужден это затронуть, ибо убежден, что нынешняя тупость в трактовках классовой проблемы активно способствует бегству потенциальных социалистов в лагерь фашизма). Следующую главу хотелось бы посвятить моментам, отвращающим от социализма чуткие и тонкие умы. Теперь же просто взглянем на первые, самые общие возражения, которые слышишь от достаточно благоразумных (не тех, что сразу отмахиваются: «А деньги-то где взять?») критиков социализма. Пускай их возражения покажутся пустыми или вздорными, важно обсудить симптомы — выяснить подоплеку неприязни. И прошу обратить внимание, что сам я в этом споре на стороне социализма, хотя вынужден сейчас выступить «адвокатом дьявола». Должен же я понять, почему люди, чьим сердцам близки фундаментальные цели социализма и чей разум способен уяснить его работоспособность, при одном упоминании о социализме кидаются прочь.

Часто тебе без долгих раздумий отвечают: «Я против не социализма, я против социалистов». Логически аргумент слабоватый, но ввиду массовости довольно весомый. Как и в случае с христианством, худшая реклама социализму — его сторонники.

Первое, что бросается в глаза, — глубоким знанием социалистической теории отличаются исключительно персоны средних классов. Типичный социалист это не тот угрюмый, хрипло ворчащий пролетарий в замасленной спецовке, что видится трепетным пожилым леди. Это юный сноб-радикал, который лет через пять выгодно женится и станет ревностным католиком, а еще чаще — строгий, важный человечек, убежденный трезвенник со склонностью к вегетарианству, в прошлом отдавший дань баптизму или методизму, достигший определенного положения и, главное, ничуть не намеренный его лишаться. Последний тип необычайно характерен для социалистических партий любого толка (по-видимому, целиком воспроизводит лейбористов старого образца). Кроме того, кошмарное — вызывающее настоящую тревогу — количество непременно наводняющей левацкие собрания публики с причудами. Такое впечатление, что слова «ком-

мунизм», «социализм» магнитом стягивают со всей Англии нудистов, пламенных поборников фруктовых соков и сандалет на босу ногу, сексуальных маньяков, энтузиастов траволечения, квакеров, пацифистов и феминисток. Однажды этим летом, когда я ехал через Лечуорт[178], в автобус, запыхавшись, влезли два старика странноватого вида. Обоим было приблизительно по шестьдесят. Низенькие, толстощекие, румяные и с непокрытой головой, у одного непристойно голый череп, у другого пышная седая грива а ля Ллойд Джордж, оба в фисташкового цвета рубашках и спортивных шортах, так туго обтянувших огромные зады, что различалась каждая ямка. Появление их вызвало легкий шок. Сидевший рядом пассажир, по виду коммивояжер, глянув на них, потом на меня, снова на них и на меня, шепнул: «Социалисты! Точно говорю вам — краснокожие!». И вероятно, он был прав: под Лечуортом находился организованный социалистами учебный лагерь. Однако примечательно, что в глазах коммивояжера чудаковатость означала социализм, а социализм — чудаковатость. Обывательское мнение настроено опознавать

[178] notes: 178

Лечуорт — построенный в 1903 г. недалеко от Лондона первый город-сад.

социалиста по чертам непременной эксцентричности. Похоже, подобное представление бытует и среди самих социалистов. Вот, например, передо мной проспект другого летнего лагеря, где вслед за информацией о сроках и условиях пребывания идет просьба заранее известить устроителей о моей диете — «обычной или вегетарианской». Им, понимаете ли, обязательно нужно выяснить столь важный пункт. Одной подобной детали достаточно, чтобы оттолкнуть множество приличных людей. Инстинкт сразу говорит людям, что чудак, вопреки нормам человечества желающий гастрономическими вывертами на пяток лет продлить существование своей туши, это особь не совсем человеческой породы.

И еще безобразный факт — большинство благовоспитанных социалистов, теоретически присягнувших бесклассовому обществу, клещами цепляются за мельчайшие знаки собственного социального престижа. Помню ужас, охвативший меня при первом посещении митинга НРП в лондонском филиале партии (в северных областях, где буржуазной публики пожиже, могло быть подругому). Вот эти пошленькие скопидомы, думал я, и есть борцы за дело пролетариата? На каждом из присутствовавших леди и джентльменов пе-

чать надменной мещанской кичливости. Зайди вдруг сюда настоящий пролетарий, какой-нибудь чумазый шахтер, они поежатся в брезгливом раздражении, а кое-кто гордо покинет зал. Та же тенденция наблюдается в литературе социалистов, которая, даже если автор не демонстрирует безупречно изящный слог, абсолютно чужда рабочей аудитории и строем речи, и способом мышления. Таких авторов, как Коул, Уэбб, Стрейчи, не отнесешь к подлинно пролетарскими писателями. Сомнительно, существует ли вообще сегодня нечто, что можно назвать пролетарской литературой (даже статьи «Дейли Уокер» пишутся тщательно отцеженным южно-английским языком), и скетчи хорошего эстрадного комика ближе народной лексике, чем творения любого писателя, увлеченного социализмом. Что же касается специального жаргона коммунистов, то их тексты далеки от нормальной речи, как учебник математики. Не забыть обращенное к рабочим выступление одного профессионального коммунистического лектора — сплошная книжность, переполненная конструкциями со всякими «вопреки вышеизложенному...», «невзирая на упомянутый аспект...» и, разумеется, бренчавшими в каждой фразе «классовым сознанием»,

«пролетарской солидарностью», «идеологией». Затем, поднявшись, к толпе незатейливо и внятно обратился ланкаширский рабочий. Ясно, кто из двоих ораторов имел больший успех, хотя знанием коммунистических догматов ланкаширский работяга, прямо скажем, не блистал.

Вообще, надо усвоить, что пролетарий, пока он действительно пролетарий, исключительно редко является социалистом в прямом и полном смысле. Он может голосовать за кандидата-лейбориста, иной раз даже за коммуниста, но его понимание социализма весьма отличается от знания в головах поднаторевших в теории книжников. Для трудяг, которых видишь в любом пабе субботним вечером, социализм, главным образом, означает повышение зарплаты, сокращение рабочего дня и укрощение наглых боссов. Настроенным более революционно (участвующим в демонстрациях, занесенным в черные списки) важны еще лозунги, чтобы сплотиться против угнетения и угрозы насилия. Но, насколько позволяет судить мой опыт, ни один действительный пролетарий не добирается до теоретических основ. На мой взгляд, он часто понимает социализм точнее ортодоксального марксиста, так как в отличие от последнего всегда помнит, что

это справедливость и обычная порядочность. Того, что социализм не сводится к справедливой оплате труда, что реформа подобного масштаба призвана перестроить нашу цивилизацию и весь наш образ жизни, он, правда, не улавливает. Социалистическое будущее представляется ему как избавленное от худших пороков сегодняшнее общество с теми же центральными интересами: семья, паб, футбол и местные городские новости. А что до философской стороны марксизма, трюков с горошиной и тремя наперстками «теза» — «антитеза» — «синтез», мне еще не встречалось пролетария, который бы хоть сколько-то увлекся этой хитрой игрой. Конечно, среди социалистов-книжников немало выходцев из низов, но они не остались пролетариями, не занимаются больше физическим трудом. Это упомянутый в прошлой главе типаж получивших образование пролетарских юношей, которые проникают в средний класс через круги литературной интеллигенции, либо становятся членами парламента от лейбористов, либо входят в официальное руководство профсоюзов. Явление самое неутешительное. Призванный отстаивать интересы своих товарищей, бывший рабочий паренек все данные ему способности использует на то, чтоб заиметь

непыльное местечко и «отшлифовывать» себя. Более того, вместо борьбы с буржуазностью он сам становится типичным буржуа, что, впрочем, зачастую не мешает ему оставаться правоверным марксистом. Хотелось бы мне встретить прочно подкованного «идеологически» и продолжающего вкалывать в цеху или забое шахтера, докера, сталелитейщика.

Одна из параллелей между коммунизмом и католицизмом в том, что лишь образованный слой паствы строго внемлет учению. В английских католиках (я имею в виду не коренных папистов, а новообращенных типа Рональда Нокса, Арнольда Ланна) изумляет пафос самопознания. Им, видимо, невозможно даже думать, тем более писать о чем-либо помимо собственного пребывания в лоне католичества, и вместе с органично вытекающим отсюда самовосхвалением это весь товарный ресурс католического литератора. Но особенно интересно их стремление в опоре на догму истолковывать всякую вещь вплоть до деталей обихода. Даже напитки, как выясняется, могут быть правоверными или еретическими, о чем свидетельствует начатая Честертоном, Бичкомбером и прочими кампания во славу пива против чая. Согласно Честертону, у настоящих

христиан в обычае пить пиво, тогда как чай — напиток язычников, а кофе — «опиум пуритан». Неудачно для данной теории, что множество католиков выступает за сухой закон, а также невероятное пристрастие ирландцев, армады католичества, к чаю, но меня занимает склад ума, способного даже еду и питье сделать поводом для религиозной нетерпимости. Католик-пролетарий никогда не додумался бы до подобного абсурда. Его не тянет размышлять о католицизме, и он не слишком сознает свое отличие от некатолических соседей. Попробуйте сказать ирландскому работяге в доках Ливерпуля, что его чашка чая — примета язычества, он обзовет вас дураком. Ему не очень свойственно вникать в глубины и нюансы церковного догмата. В домах католиков Ланкашира увидишь распятие на стене и «Дейли Уокер» на столе. Идейным фанатизмом отличаются лишь люди образованные, в особенности литераторы. То же, mutatis mutandis[179], относительно коммунистов. Их символ веры в логически четкой форме у пролетария не обнаружишь.

Мне могут возразить, что даже если сам соци-

---

[179] notes: 179
Mutatis mutandis — с соответствующими изменениями (*лат.*).

алист и не из пролетариев, им движет любовь к рабочему классу. Ведь вдохновляет и ведет его стремление, презрев свой буржуазный статус, сражаться на стороне пролетариата.

Но так ли это? Иногда, глядя на социалиста — пишущего трактаты социалиста-интеллектуала с его лохматой шевелюрой, джемпером и цитатами из Маркса, я недоумеваю: что же, черт возьми, его воодушевляет? Любовь к людям, особенно из рабочего класса, у него, крайне далекого от живой действительности, предположить трудновато. Полагаю, основным движущим мотивом многих социалистов является просто гипертрофированная тяга к порядку. Существующая система раздражает их не тем, что плодит нищету, и еще менее тем, что не позволяет свободно дышать, а, главным образом, неразберихой. Им хочется свести мир к диспозиции на шахматной доске. Вот, например, пьесы такого пожизненного социалиста, как Бернард Шоу. Много ли в них понимания пролетарской жизни или хотя бы знания о ней? Сам Шоу говорит, что выводить на сцену пролетария следует «как объект сострадания»; на самом деле он не показывает его даже так, разве что,

в стиле юморесок Джекобса[180], комическими масками обитателей Ист-Энда («Майор Барбара», «Обращение капитана Брасбаунда»). Относится Шоу к рабочему человеку в лучшем случае с насмешливостью шаржей из «Панча», а иногда, в драматичных коллизиях (вспомните, скажем, неимущего юношу в пьесе «Мезальянс») рисует его просто жалким и отвратительным. Бедность, в особенности убожество бедняцкого мышления, по мнению драматурга, следует упразднить сверху, принудительно, если придется, и, может, даже лучше — принудительно. Отсюда благоговение перед «великими» людьми, влечение Шоу к диктатурам, фашистским или коммунистическим; Сталин и Муссолини для него (судя по его репликам относительно итало-абиссинской войны и бесед Сталина с Уэллсом) личности одинаково крупные, масштабные. О том же менее откровенно поведала в своей медовой автобиографии миссис Сидни Уэбб, бессознательно, но выразительно обрисовав чванливость мнящих себя социалистами посетителей трущоб. На деле для многих, именующих себя социалистами, революция не означает вбирающего их самих

[180] notes: 180

Джекобс, Уильям Уайтмарк (1863–1043) — британский писатель-юморист.

движения масс, для них это набор реформ, что «нами», мудрыми, будут назначены «им», неразумным низшим классам. Однако было бы ошибкой счесть социалистов-книжников вялыми и лишенными эмоций. Весьма редко проявляя признаки душевной симпатии к эксплуатируемым, они великолепно демонстрируют ненависть — правда, довольно специфичную, академичную — к эксплуататорам. Славный спорт обличения буржуазии в большой чести. Удивительно, с каким пылом авторы бичуют, яростно ниспровергают класс, к которому сами принадлежат по рождению или усвоенному стилю существования. Ненависть к буржуазной «идеологии» иной раз простирается даже на литературных персонажей. Согласно Анри Барбюсу, герои романов Пруста, Андре Жида и им подобных — «типы, которых страстно хотелось бы иметь по ту сторону баррикад». Очень воинственно. Читая когда-то «Огонь» Барбюса, мне казалось, что личный опыт баррикадных боев поселил в сердце автора отвращение к рекам крови. Но, разумеется, вонзать штыки в ужасно живучих буржуа на страницах статьи приятней, чем на настоящей баррикаде.

Ярчайший пример травли буржуазного сословия мне встретился в книге Мирского «Британская

интеллигенция»[181]. Интересное, выразительное сочинение, с которым стоит ознакомиться, чтобы понять возвышение фашизма. Мирский (в прошлом князь Мирский) — русский белоэмигрант, приехавший в Англию и несколько лет читавший лекции по литературе в Лондонском университете. Позднее он был обращен в коммунистическую веру, вернулся в Россию и написал свою книгу как некое разоблачение британской интеллигенции с позиций марксизма. Книга дико злобная, с откровенным подтекстом «теперь вам меня не достать и можно как угодно вас расписывать!» и кроме общего искажения картины содержит ряд конкретных, надо полагать, вполне целенаправленных подтасовок. Конрад, например, объявлен «империалистом не меньше Киплинга», произведения Лоуренса названы «порнографией» и «заметанием следов пролетарского происхождения» (словно Лоуренс был лавочником, который пролез в Палату лордов!). Подобные штучки беспокоят, памятуя, что адресованы они российскому читателю, не имеющему никакой

[181] notes: 181

Святополк-Мирский Дмитрий Петрович (1890–1939) — поэт, критик, историк литературы. В эмиграции стал одним из идеологов евразийства. По возвращении в СССР написал книгу «Интеллидженсия» (1934) о среде, творчестве и взглядах английских писателей. В 1937 был арестован, умер в лагере под Магаданом.

возможности проверить их правдивость. Но в данный момент я о впечатлении англичанина. Литератор аристократических кровей, ни разу в жизни, вероятно, не общавшийся с рабочими на равных, изрыгает потоки ядовитой клеветы, свирепо понося «буржуазных» коллег. Почему? По всей видимости, исключительно от злости. Автор воюет против британской интеллигенции, но во имя чего? На это в тексте ни намека. В итоге создается ощущение, что коммунизм не предлагает ничего кроме ненависти. Опять-таки удивительное сходство с позицией неофитов католицизма. Сочинения, равные по градусу ожесточенности, быстрей и вероятнее всего найдешь у популярных апологетов католичества. Тот же яд и то же мошенничество, хотя, надо отдать справедливость католикам, манера у них все-таки приличнее. Странно, однако, что духовным братом товарищу Мирскому оказывается не кто иной как его святейшество в Риме. Коммунист и католик говорят вещи разные, по смыслу даже противоположные, и оба они с удовольствием сварили бы друг друга в кипящей смоле, но на сторонний взгляд в них чрезвычайно много общего.

Социализм в той форме, в какой он сегодня преподносится, особенно влечет тип людей хмуро

недовольных или даже немилосердных. С одной стороны, полный гнева социалист-пролетарий — этот не очень представляет общие принципы, желает только ликвидировать нищету. С другой — социалист начитанный, теоретически постигший, что нынешней цивилизации пора на слом, и жаждущий дотла ее разрушить. Такой род интеллектуальных радикалов целиком и полностью из коренного либо свежего состава среднего класса. К вящему несчастью, здесь же (и в ужасающем, если не подавляющем, количестве) присутствует упомянутый выше разнообразно крикливый народ — громящие буржуазию на манер Шоу пустозвоны и всегда чующие, куда ветер дует, молодые социал-литераторы, сегодня коммунисты, завтра фашисты, а также это унылое племя высокоумных дам и бородатых трезвенников в сандалетах, которое слетается на запах «прогрессивного», как мухи на дохлого кота. У обычного порядочного человека, чьи душевные устремления в унисон с фундаментальной социалистической идеей, от данной публики впечатление, что все эти партии социалистов дело чуждое и сомнительное. Хуже того, его приводят к циничному выводу, что социализм, видимо, участь роковая и неминуемо грядет, но лучше

бы как можно позже. Повторюсь: судить о самом движении по его сторонникам, разумеется, не совсем справедливо. Однако люди неизменно судят именно так, а потому в общественном мнении понятие «социализм» окрашено представлением о социалистах — людях угрюмо туповатых или попросту малосимпатичных. «Социализм» чудится государственным устройством во вкусе и стиле наших умелых ораторов. Делу это наносит огромный вред. Расскажи человеку насчет диктатуры пролетариата умно, тактично, и он спокойно выслушает, но заяви ему о диктатуре формально, с бесчувственным самодовольством, — слушатель изготовится к драке.

У многих людей ощущение, что грядущая, вероятно, система социализма относительно нашей нынешней будет чем-то вроде бутылки колониального бургундского в сравнении с бокалом первоклассного божоле. Живем мы, по общему признанию, среди цивилизации гибнущей, но в прошлом великой и местами даже продолжающей цвести. Она еще сохраняет свой «букет», тогда как предполагаемое социалистическое будущее, подобно колониальному бургундскому, лишь вода с кисловатым привкусом железа. Отсюда тот печальный факт, что наиболее да-

ровитых людей искусства никак не убедить молиться в храмах социализма. Особенно это касается писателей, чье творчество с политическими взглядами связано непосредственней и очевидней, нежели, скажем, у живописцев. Не кривя душой, приходится констатировать, что всё, имеющее повод числиться в разряде социалистической литературы, тоскливо, безвкусно и просто плохо. Взгляните на нынешнюю ситуацию в Англии. Целое поколение выросло с приязнью к идее социализма, и все же У. Х. Оден (так сказать, высшая точка в лирике социалистов) это какой-то размякший Киплинг, даже слабее поэтов своего круга[182]. Все сильные авторы, все значительные произведения — по другую сторону. Хотелось бы верить, что в России (о ее сегодняшней литературе мне, впрочем, ничего не известно) по-другому; возможно, там хотя бы послереволюционное буйство прибавило писателям энергии. Но можно сказать уверенно: западноевропейский социализм литературных шедевров не создал. Прежде, когда воззрения были менее определенными, имелся ряд больших писателей, полагавших себя «социалистами», хотя употреблявших термин

[182] notes: 182

Мнение Оруэлла о поэзии Одена вскоре коренным образом изменится: см., например, его эссе 1940 года «Во чреве кита».

с туманной широтой. У Ибсена и Золя это означало немногим более чем «прогрессивный», у Анатоля Франса так обозначалась просто антиклерикальность. Что же касается сознательных пропагандистов социализма (Шоу, Барбюс, Эптон Синклер, Уильям Моррис, Уолдо Фрэнк и многие другие), их политические рассуждения всегда были пустопорожней болтовней. Я, конечно, не призываю забраковать социализм по той причине, что он не нравится крупным писателям, и не считаю, что искусство должно твориться для искусства, хотя отсутствие воодушевляющих шедевров мне видится дурным знаком. Я просто отмечаю: подлинные дарования к социализму нынче или равнодушны, или активно и болезненно враждебны. И это плохо не только для писателей — для самого социализма, который так нуждается в талантах.

Вот каков внешний аспект отвращения к социалистическим идеям. Мне хорошо известны стандартные аргументы с обеих сторон возможного здесь спора. Все сказанное выше я излагал ярым социалистам, которые старались обратить меня в свою веру, а в ответ на мои попытки их переубедить клеймили меня въедливым злопыхателем. От общения с персонами некоторых

социалистов, особенно начетчиков-марксистов, просто заболеваешь. Наивно поддаваться впечатлениям подобного рода? Глупо? И даже недостойно? Все так, но штука в том, что это существует и должно быть принято во внимание.

12

Однако есть трудности гораздо серьезнее тех временных и локальных проблем, о которых говорилось в предыдущей главе.

Явное обилие мыслящих людей на стороне противника социалисты склонны объяснять осознанной или неосознанной продажностью, косным неверием в то, что социализм «будет работать», или же просто боязнью бед и неудобств в период установления нового строя. Мотивы жизненные, тем не менее множество людей, не имея ни одного из них, социализм все-таки отвергают. Отвергают по причинам внутренним, духовным («идеологическим»). И вовсе не потому, что в их представлении социализм «не будет работать», а как раз потому, что работать он будет слишком хорошо. Страшит их не действительность собственных дней, а реальность победившего социалистического будущего.

Мне крайне редко встречались убежденные социалисты, способные понять, что думающим людям может быть неприятна цель, поставленная социализмом. Марксисты, например, заведомо пренебрегают подобными буржуазными сантиментами. Вообще, марксисты не мастера разбираться в мышлении врага или критика — будь по-другому, ситуация в Европе, возможно, оказалась бы не столь плачевной. Освоив метод, объясняющий буквально все на свете, они не часто утруждают себя изучением умов с иной начинкой. Приведу достаточно выразительный пример. Обсуждая популярный (и, безусловно, небеспочвенный) тезис о том, что фашизм это продукт коммунизма, мистер Н. Холдуэй, автор из числа наиболее даровитых нынешних марксистов, пишет:

«Старый миф о коммунизме, ведущем к фашизму... Доля истины тут есть: деятельность коммунистов предупреждает правящий класс, что либерально-демократические партии уже не способны держать пролетариат в узде и диктатура капитала, чтобы выжить, должна принять другую форму».

Изъян марксистского метода в полной красе. Обнаружив экономическую причину, автор ни

словом не касается духовной, для него совершенно несущественной, стороны явления. Фашизм у него — исключительно маневр «правящих классов». Но это могло бы объяснить лишь профашистский настрой капиталистов. А как же миллионы тех, кто не владеют капиталами, не получают, зачастую и не ждут здесь выгоды, но, тем не менее, активно пополняют собой ряды фашистов? Очевидно, ими движут мотивы чисто идеологические. Он ищут укрытия в фашизме, поскольку коммунизм, явно или мнимо, нападает на некие их ценности (патриотизм, религия и пр.), лежащие гораздо глубже материальных интересов; и в этом смысле коммунизм действительно ведет к фашизму. Увы, марксист почти всегда нацелен доставать экономических кошек из идеологических мешков, чем выявляется часть истины, но с ущербом едва ли не гибельным для задач пропаганды. И мне хотелось бы теперь обсудить именно этот — духовный — отказ от социализма, который ярко проявляется у людей чутких и восприимчивых. На этой проблеме придется задержаться, ибо она мощно заявила о себе, однако в среде социалистов ее практически игнорируют.

Первое, что стоит отметить, — социалисти-

ческая идея тесно связана с идеей машинного производства. Вероучение социализма в основе урбанистично. Взраставший одновременно с индустриализацией, идейный социализм всегда опирался на городской пролетариат, городских интеллектуалов, и вряд ли сама его концепция могла возникнуть в каком-либо обществе, кроме индустриального. Для этой эпохи идея социализма органична, поскольку частная собственность терпима лишь в системе хотя бы относительного самообеспечения индивидуумов, семейств и прочих общественных единиц, что в новых условиях делается абсолютно невозможным. Индустриализация просто требует форм коллективизма. Не обязательно социализма, разумеется, — возможно, некоего, уже предвещаемого фашистским порядком, рабовладельческого строя. Верна и обратная зависимость: машинное производство внушает идею социализма, но и социализм как мировая система подразумевает машинное производство, так как нуждается во многом, чего требует модернизация жизнеустройства. Ему, например, требуется постоянная связь и товарообмен между частями земли, требуется достаточно централизованный контроль, приблизительно равный для всех уровень жизни и, вероятно,

некий общий стандарт образования. Стало быть, мы можем представить, что социализм в любом реальном варианте будет механизирован не меньше, чем ныне Соединенные Штаты, а скорее гораздо больше. Этого уж ни один социалист не станет отрицать. Социалистический мир всегда изображается чрезвычайно организованным и полностью механизированным, зависящим от машин, как древние цивилизации от рабов.

Такая вот прелесть (или гадость). Многие, пожалуй большинство, мыслящих людей, не влюблены в машинную цивилизацию, но лишь болван сегодня может нести вздор с призывом выкинуть машины. Беда, однако, в том, что технический прогресс обычно связывается с идеей социализма не в качестве нужного компонента, но как самоцель, объект почти религиозный. Недаром же столько пропагандистских материалов посвящается быстрому подъему промышленности в Советской России (плотина на Днепре, тракторные заводы и т. д.). Карел Чапек тут попал в точку жутким финалом своей пьесы «РУР», когда роботы, уничтожив последнего человека, заявляют о намерении «построить много домов» (так, исключительно ради строительства). Наиболее рьяные сторонники социализма являются

столь же рьяными энтузиастами технического прогресса. И опять социалисты не способны представить, что на сей счет имеется чье-то совсем другое мнение. Самый убедительный, как им кажется, аргумент — потрясти вас сообщением, что нынешняя техника ничто в сравнении с завтрашней, при всемирном социализме. Вместо одного аэроплана будет полсотни! Всю ручную работу будут выполнять техника, и все, изготовляемое нынче из кожи, дерева и камня, будет делаться из стали, стекла и резины! Ни беспорядка, ни расхлябанности, ни пустынь, ни диких животных, ни сорняков, ни болезней, ни бедности, ни боли... Сплошной порядок и эффективность! Но от видений будущего в духе лучезарных уэллсовских фантазий чуткую душу бросает в дрожь. Обратите внимание, что эта роскошная версия «прогресса» не является неотъемлемой частью социалистической доктрины, но декларируется как единственная. А в результате свойственный всякой человеческой натуре потенциал консервативных чувства легко мобилизуется против социализма.

Чувствительную личность непременно посещают моменты сомнения насчет техники, да и порождающей её научной мысли. Важно, однако,

различать исторические причины такого недоверия, оставив в стороне ревность современных литераторов к ненавистной науке, переплюнувшей высокое искусство. Самое раннее из известных мне нападений на науку и технику, обнаруживается в третьей части «Путешествий Гулливера»[183]. Впрочем, атака Свифта — по-своему блестящая — все-таки неуместна и даже глуповата, поскольку у обличителя здесь явный (как ни странно это звучит относительно автора «Гулливера») недостаток воображения. Свифту наука представлялась копанием в ерунде, а механизмы — бессмысленным изобретательством. Ему, с его критерием очевидной практической пользы, не хватило прозорливости увидеть, что новинка, сегодня никчемная, завтра может стать весьма результативной. Лучшим из всех достижений он называет «умение вырастить два колоска на стебле, где прежде рос только один», хотя не видит «при чем тут механика». Чуть позже презираемые механизмы начали действовать, сфера применения научной мысли расширилась, и вспыхнул знаменитый, так волновавший наших дедушек конфликт науки и религии. Бой закон-

[183] notes: 183
«Путешествие в Лапуту».

чился тем, что обе стороны объявили о своей победе, но предвзятое отношение к машинным новшествам у наиболее стойких сторонников веры сохраняется до сих пор. На протяжении всего девятнадцатого века слышались их протесты (читай, например, роман Диккенса «Тяжелые времена»), хотя основой обычно служили просто бесчеловечность и уродливость начальной стадии промышленной индустрии. Другое дело — нападки Сэмюэля Батлера в широко известной главе его сатиры «Едгин»[184]. Правда, живя в более благодушную эпоху, когда у личности высшего разряда еще была возможность оставаться вольным дилетантом и многое воспринимать как сугубо интеллектуальный экзерсис, Батлер, ясно разглядевший нашу жалкую зависимость от машины, вместо тревоги за последствия предпочел шутливый гротеск. Только в наши дни, видя полное торжество механизации, можно, наконец, почувствовать машинную угрозу самому человеческому существованию. Вряд ли человек способный думать и переживать хоть раз, глядя на стулья из гнутых железных труб, не ощутил, что техника — враг жизни. Ощущается

[184] notes: 184

Название является анаграммой слова «нигде» (в оригинале «Erewhon» от «nowhere»).

угроза, впрочем, не столько разумом, сколько инстинктом.

Люди в общем-то понимают, что «прогресс» это надувательство, но приходят к такому выводу путем, так сказать, мыслительной стенографии. Попробую логически восстановить обычно опускаемые звенья. Прежде всего, вопрос: в чем назначение машины? Очевидно, первейшая ее функция в экономии усилий, и те, кого машинная цивилизация вполне устраивает, редко видят причины заглянуть несколько глубже. Вот, например, человек, заявляющий, даже кричащий, что в современном механизированном мире ему замечательно, — мистер Джон Биверс, автор книги «Мир без суеверий». Цитирую:

«Безумие утверждать, что сегодняшний рабочий с недельным заработком три-четыре фунта чем-то ниже скотника на ферме восемнадцатого века. Или вообще любого, занятого в сельском хозяйстве прошлого и настоящего. Это просто выдумка. Чертовски глупо голосить насчет облагораживающих трудов в полях, на фермах, противопоставляя их труду в паровозных депо или цехах автомобильного завода. Работа — досадная неприятность. Работать мы должны, но все наши труды имеют целью обеспечить нам

досуг и средства провести этот досуг наиболее приятным образом».

И еще:

«У человека будет достаточно времени и возможностей, чтобы устроить на земле собственный рай, не беспокоясь о сверхъестественном. Земная жизнь станет такой приятной, что попам не о чем будет рассказывать нам свои байки. Половину ерунды выбьет из них одним метким ударом...».

Целая глава (четвертая глава книги мистера Биверса) об этом, и чтение ее представляет определенный интерес как пример поклонения машине в самой пошлой, вульгарной и грубой форме. Искренняя позиция достаточно значительной части современного общества. Всякий пожиратель аспирина из столичных предместий горячо поддержит подобную тираду. Притом заметьте, с каким гневом («а вот уж не-ет!») мистер Биверс реагирует на предположение, что дед его, возможно, был лучше него, и еще более ужасное предположение, что возврат к старомодным простому обиходу заставит усиленно напрягать мускулы. Смысл работы, понимаете ли, — «обеспечить нас досугом». Досугом для чего? Видимо, чтобы поскорее стать мистером

Биверсом. Однако из речей насчет «земного рая» хорошо вырисовывается цивилизация его грез: нечто вроде сетевых ресторанчиков «Лайонз», где saecula saeculorum[185] можно вволю наслаждаться шумом и толчеей. У всех ценителей машинного мира — скажем, в произведениях Герберта Уэллса — найдешь подобные пассажи, и как часто мы пропускаем мимо ушей их патетичную трескотню в стиле «машины, новое племя наших рабов, которые освободят человечество...». Единственная опасность техники им видится в применении разрушительных машин, например, боевых самолетов. За исключением войн и стихийных катастроф будущее в их глазах это шагающий невиданными темпами технический прогресс. Машины, чтобы меньше трудиться, меньше думать, меньше страдать, повышать гигиеничность, эффективность, организованность и давать еще больше гигиены, порядка, машин... и до финальной вершины по образцу уэллсовской утопии, что так метко спародирована в романе Хаксли «Дивный новый мир» как рай вконец отупевших людишек. Разумеется, будущими отупевшими людишками мечтатели себя не видят,

[185] notes: 185
Во веки веков (*лат.*).

в грядущем видятся они себе Людьми-Богами. Только с чего бы это? Весь машинный прогресс направлен к растущей и растущей эффективности, то есть, в конечном счете, нам обещается мир, где уже нет ничего нехорошего. Но в таком мире целый ряд «богоподобных» качеств будет иметь ценность не большую, чем умение животных шевелить ушами. В сочинениях Уэллса «Люди как боги» и «Сон» жители будущего изображены смелыми, благородными, сильными. Но сохранится ли смелость в том мире, где опасности исчезнут (ведь машинный прогресс нацелен их ликвидировать). Возможна ли там смелость? И зачем сила в мире, где не нужно будет никаких усилий? И как насчет верности или великодушия? В мире, где все правильно и прекрасно, такие качества будут не только лишними, но, вероятно, невообразимыми. Многое из того, что восхищает в людях, обусловлено противостоянием горю, бедам, трудностям, но все эти несчастья машинный прогресс призван устранить. В книгах, подобных утопиям Уэллса, людям оставлены и сила, и отвага, поскольку это свойства симпатичные, необходимые полноценному человеку. Что ж, может быть, жители блаженного завтра будут искусственно творить опасности, дабы

являть отвагу, а вялые от безделья мышцы станут накачивать гимнастикой с гирями. Здесь перед нами колоссальное противоречие в идеях прогрессистов. Развитие техники стремится сделать условия твоего существования мягкими и безопасными, а сам ты все равно стремишься быть храбрым и твердым, — неистово рвешься вперед, крепко держась за старину. Совсем как если бы лондонский брокер ходил в офис в кольчуге и желал изъясняться на церковной латыни. Так вот поборник прогресса одновременно выступает поборником архаики.

Между тем технический прогресс, я думаю, постепенно изымает из жизни риск и трудности. Мнение мое можно оспорить, поскольку в данный момент новшества вроде бы демонстрируют обратное. Например, переход от лошади к автомобилю. На первый взгляд, учитывая огромную смертность от дорожных аварий, автомобиль явно не способствует снижению риска. Кроме того, лихая езда по колдобинам требует мужества и выдержки столько же, сколько укрощение мустангов или скачка с препятствиями. Однако все машины совершенствуются в направлении большей безопасности и легкости управления. Угроза автомобильных аварий исчезнет, если

мы наконец всерьез займемся состоянием дорог (а рано или поздно проблемой этой придется заняться), да и автомобиль тем временем станет таким, что всем кроме слепых и паралитиков после пары уроков не составит труда справиться с вождением. Даже теперь, чтобы прилично водить автомобиль нервов и навыков нужно меньше, чем для умения прилично держаться в седле, а через двадцать лет, возможно, автомобилисту вообще не понадобится ни этих навыков, ни этих нервов. Стало быть, пересадка с лошади на автомобиль в итоге окажется шагом к отупению человечества. Или совсем уж, кажется, небезопасное изобретение — самолет. Первые летчики отличались высочайшей смелостью, и пока еще пилоту требуется исключительное самообладание. Но тенденция в действии: самолеты, подобно автомобилям, будут становиться надежнее; миллионы инженеров, совершенствуя летательные аппараты, работают над этим. В конце концов, хоть совершенство и недостижимо, появится самолет, пилот которого будет нуждаться в смелости и ловкости не больше, чем новорожденный младенец в шагомере. Так развивается весь машинный прогресс. Техника, усложняясь, становится все проще в пользова-

нии, все надежнее защищенной от неумелого, неосторожного обращения, — соответственно, строится мир для вялых, дряблых недоумков. Мистер Уэллс, вероятно, парировал бы это тем, что абсолютной надежности никогда не достичь и, сколько не повышай эффективность, всегда останутся не взятые барьеры. Например (любимая, бесконечно провозглашаемая мистером Уэллсом мысль), наведя на планете полнейший порядок, человечество поставит задачу исследовать и колонизовать другие звезды. Но это лишь продление цели, а цель-то прежняя. Населите другую планету, и вновь пойдет та же игра: от четко отлаженной земной жизни к отлаженной солнечной системе, галактике, вселенной... Присягнув идеалу технической эффективности, присягаешь идеалу слабости и слабоумия. Неприятная штука, а потому весь грезящийся прогресс сводится к неистовой борьбе за достижение цели, до которой не дай боже когда-нибудь добраться. Нечасто, но время от времени встречаешь людей, уловивших, что нечто под названием «прогресс» влечет за собой нечто под названием «вырождение», и все же остающихся на стороне прогресса. И примечательно, что мистером Шоу в мечтах воздвигнут памятник Фальстафу как первому

оратору, восславившему трусость.

Но ситуация еще печальнее. Я отметил абсурдность стремления к техническому прогрессу с параллельным желанием сохранить человеческие качества, прогрессу этому не нужные. А есть ли вообще какая-либо область наших деяний, которая не пострадает от господства машин?

Функция машин — экономия труда. В мире, полностью оснащенном техникой, машины будут выполнять всю скучную тяжелую работу, освобождая нам время для более интересных занятий. Звучит великолепно. Больно видеть, как полдюжины мужчин надрываются, копая водопроводную траншею, когда простейший механизм вычерпал бы эту землю за пару минут. Почему бы не поручить такой труд машине, а людям не заняться чем-то еще. Только вопрос: чем именно? Видимо, чтобы, освободившись от «работы», заняться какой-то «не работой». Но что является работой, а что нет? Столярничать, сажать деревья, корчевать пни, охотиться, рыбачить, кормить цыплят, фотографировать, играть на рояле, строить дом, жарить омлет, шить платье, делать шляпку, чинить мотоцикл — это работа? Одному — работа, другому — забава. Фактически очень немного видов деятельно-

сти поддается тут объективной, независимой от конкретного варианта классификации. Землекоп, может быть, хочет посвятить досуг игре на фортепиано, а профессиональный пианист, быть может, мечтает отдохнуть, копая грядки. Следовательно, противопоставление тяжкой «работы» и вожделенной «не работы» весьма условно. Когда у человека через край еды, питья, сна, любовных утех, общения, развлечений или просто возможности бездельничать, ему все же чего-то не хватает, он ищет и обычно находит себе какое-нибудь дело, хотя не обязательно считает его работой. На уровне выше последней или предпоследней степени кретинизма жизнь, главным образом, означает постоянные усилия. Человек не брюхо на ножках, как представляется вульгарным гедонистам; ему также даны мозги, глаза и руки. Оставляя руки без работы, отключаешь огромную часть сознания. Вернемся к рабочим, копавшим водопроводную траншею. Машина освободила их от рытья земли, и они собираются чем-то себя развлечь — столярничеством, например. Но какое бы занятие они ни выбрали, найдется освобождающий от него механизм. С техникой на любой случай столярничать, шить, чинить мотоцикл уже не понадобится так

же, как рыть ямы лопатами. От ловли кита до удаления косточек из вишен все будет делаться машинами. Техника посягнет даже на сферу, обозначенную у нас «высоким искусством», и это уже происходит, если вспомнить кино и радио. Предельно оснастите мир машинами, и они полностью избавят вас от любых действий, — иначе говоря, от самой жизни.

На первый взгляд, проблема небольшая. Ну, почему бы, несмотря на все машины, нам не потешить себя «рукотворчеством»? А это не так просто, как кажется. Допустим, я решил по вечерам, отслужив свои восемь часов в офисе, заняться «ремеслом»: соорудить себе, к примеру, стол. Заметьте, здесь сразу есть надуманность, так как заранее понятно, что мой самодельный стол будет значительно хуже фабричных. Но даже если, не обескураженный, я начну делать стол, мне не почувствовать эмоций старинного краснодеревщика, тем более не испытать чувств Робинзона Крузо. Ведь всю основную работу за меня уже выполнила техника. Инструменты, которыми я пользуюсь, требуют минимальных навыков. Набор рубанков позволяет быстро выстругать брусок любой конфигурации — не надо ни сноровки, ни глазомера мастера, действо-

вавшего лишь долотом и стамеской. Доски для столешницы я покупаю уже отшлифованными, ножки стола — уже выточенными на токарном станке. Можно вообще пойти купить готовые части стола и лишь собрать их дома, ограничившись в своих трудах прилаживанием деталей и подчисткой соединений с помощью наждачной бумаги. Так в наши дни, а дальше еще больше. С доступными в будущем инструментами и материалами не останется никакой возможности ошибиться, то есть приобрести навык. Сделать стол будет легче и скучней, чем почистить картошку. И о каком же «рукотворчестве» тогда болтать? Искусный ручной труд (которому надо долго учиться) исчезнет совершенно. Некоторые его виды уже исчезли, не выдержав конкуренции с машиной. Пройдитесь по любому кладбищу и попытайтесь найти красивую искусную резьбу на плитах, установленных после 1820 года. Камнерезное мастерство пало так низко, что на возрождение его нужны столетия.

Но отчего все-таки невозможно сохранить для человека и технику и «рукотворчество»? Разве нельзя культивировать старинные ремесла в виде украшающего досуг творческого хобби? Многих увлекает эта идея, столь изящно разре-

шающая проблему машинной цивилизации. Гражданин Утопии, нам говорят, после работы, где он ежедневно два часа щелкает кнопкой на заводе томатных консервов, дома будет услаждать себя старинным примитивным ремеслом, удовлетворять свой творческий инстинкт выпиливанием узорных дощечек, росписью глиняных горшочков или ручным ткачеством. А почему ж такой нелепостью выглядит (и, безусловно, является) эта идиллия? Потому что есть не всегда осознаваемый, но всегда действующий принцип: наличие механизма обязывает его использовать. Никто не ходит за водой с ведром, если вода течет из крана. Это очень ярко проявляется видами туристического транспорта. Всякий, кому доводилось пользоваться древним способом передвижения в отсталых странах, знает, что разница между таким путешествием и современным вояжем на поезде или в автомобиле, как разница между жизнью и смертью. Неудобств у человека, который странствует на верблюде или на воловьей телеге, предостаточно, зато он, по крайней мере, во время поездки живет, тогда как пассажиру железнодорожного экспресса или пароходного лайнера его очередной переезд — только пауза, интервал, сорт временного

небытия. И все-таки, раз существуют железные дороги, расстояния лучше преодолевать поездом (или пароходом, автомобилем, самолетом). Вот я, живущий в сорока милях от Лондона, — почему, собравшись туда, я не навьючиваю мула и не отправляюсь в двухдневный пеший поход до столицы? Потому что проносящиеся мимо каждые десять минут скоростные пригородные автобусы превратят мой черепаший поход в пытку. Для наслаждения способом древних странствий надо чтобы иной вариант был недоступен. Не настроено человеческое существо зря надрываться. Так что нелепость утопического спасения души возней с лобзиком очевидна. Там, где всё смогут выполнять машины, они и будут всё выполнять. А развлекаться в будущем архаичными приемами труда, зачем-то измышляя себе сложности, было бы только дурацким любительством, фальшивым и никчемным. Все равно что усесться ужинать с каменными топорами вместо вилок и ножей. Заняться «творческим ремеслом» в грядущую эру машин значило бы откатить назад, к цивилизации нынешних вилл и ресторанчиков, бутафорски разделанных «под старину».

Тенденция развития техники подразумевает намерение истребить человеческую потребность

действовать и напрягаться. Сделать ненужной, даже невозможной активность человеческих рук и глаз. Апостол «прогресса» заявит, что это ерунда, но от картины кошмарных отдаленных последствий не отмахнешься. Зачем, например, утруждать свои руки и такими мелочами, как необходимость высморкаться или заточить карандаш? Наверняка для этого можно приделать к плечам какую-то ловкую штукенцию из стали и резины, а рукам дать возможность свисать безвольными плетьми. И так со всеми органами, всеми способностями. И у людей в конце концов никаких дел, сохранилась лишь надобность дышать, есть, пить, спать и плодить потомство; все остальное выполнятся машинами. Логическим итогом станет низведение человека до чего-то наподобие упрятанных в склянку мозгов. Вот цель, к которой мы движемся, хотя стремимся, разумеется, не к этому; ну, так и тип, дующий ежедневно по бутылке виски, пьет не с целью нажить цирроз печени. «Прогресс» не то чтобы нацелен упрятать мозг в стеклянный сейф, но, безусловно, он предполагает впереди какой-то жуткий, недочеловеческий уровень дряблости и беззащитности. И очень скверно, что сегодня в общественном мнении «социализм» неразрывно

связан с «прогрессом». Неприязнь к машинной технике воспринимается враждой к социализму, ведь социалисты всегда ратуют за механизацию, рационализацию, модернизацию; во всяком случае, считают это своим долгом. Недавно, к примеру, видный деятель НРП смущенно, с покаянной грустью признался мне, что «обожает лошадей». Лошади, понимаете ли, принадлежат уходящему сельскому прошлому, а любые нежные чувства к старине отдают ересью. Не верю в такую установку, но обязан верить. Одного этого достаточно для объяснения, почему стольких порядочных людей от социализма с души воротит.

Поколение назад интеллектуала отличала некая революционность, сегодня его скорее отличает реакционность. В этой связи интересно сравнить роман Уэллса «Спящий просыпается» с написанным через тридцать лет романом Хаксли «Дивный новый мир». У обоих писателей картина рая, где сбылись мечты прогрессистов, весьма мрачна. По части конструктивной фантазии «Спящий», на мой взгляд, сильнее, но роман многое теряет из-за противоречий, неизбежных для Уэллса, первосвященника «прогресса», не способного критически относиться к своему идолу. Читателю представлен сверкающий великоле-

пием, странно зловещий мир, где изнеженные привилегированные классы вкушают свое хилое блаженство, а рабочие, низведенные до первобытного рабства и животного невежества, тяжко трудятся в подземных пещерах. Вдумавшись в этот образ (он развит и в замечательном рассказе из «Историй о времени и пространстве»), увидишь его нелогичность. Почему в мире технических чудес рабочим потребовалось вкалывать больше чем теперь? Машины изобретают, чтобы избавляться от труда, а не увеличивать его тяжесть. Пролетариев в таком будущем могут поработить, третировать, даже заставить голодать, но участь приговоренных ишачить как скот им не грозит, иначе для чего же обилие техники? Либо все делают машины, либо люди — одно из двух. Армия полудиких, косноязычных рабочих в синих спецовках загнана под землю только чтобы превратить их в «ползающих тварей». Уэллс хочет предупредить о возможном сбое, неверно взятом направлении «прогресса», но единственным злом ему тут представляется неравенство, при котором один класс — видимо, лишь по причине врожденного жестокосердия — подавляет другой и захватывает всю власть, все богатство. Слегка разверните ситуацию (ав-

тор достаточно внятно зовет свергнуть богатых владык), смените этот мировой капитализм на мировой социализм, и все будет отлично. Машинная цивилизация продолжит свой ход, но продукция будет делиться поровну. Мысль, на которую автор не отважился, — сама машина может стать врагом. В более характерных для себя утопиях («Люди как боги», «Сон») он вновь дает оптимистичную картину человечества, «освобожденного» техникой и ставшего лучезарным просвещенным племенем, занятым, в основном, беседами о своем превосходстве над предками. «Дивный новый мир» принадлежит литературе следующего поколения, ясно увидевшего надувательство «прогресса». Здесь тоже имеются неувязки (наиболее важные отмечены Джоном Стрейчи в «Грядущей борьбе за власть»), тем не менее это незабываемая атака на тупиц с их абсолютным счастьем. Остротой сатирической гиперболы Хаксли, надо полагать, выразил мнение большинства думающих людей о цивилизации машин.

Враждебность чуткого человека к машине нежизненна в том смысле, что налицо факт: машина появилась и ее не отменишь. Так что обсудим разумное отношение к ней. Принять

машину надо, но лучше, пожалуй, принимать ее так же, как лекарство, то есть неохотно и подозрительно. Подобно медицинским препаратам она и полезна, и опасна, и формирует привычку (при постоянном употреблении — до полной зависимости). Достаточно взглянуть вокруг, чтобы понять, с какой зловещей скоростью машина подчиняет нас. Взять хотя бы произошедшую за столетие активной машинизации ужасную порчу вкуса. Упадок слишком явный и очевидный чтобы его доказывать. Но как отдельный пример, вот вам вкус в его самом прямом значении — вкус к еде. В технически развитых странах благодаря консервированию, холодильникам и различным синтетическим продуктам человеческое нёбо почти омертвело. Английские овощные лавки под видом столь любимых у нас яблок предлагают сверкающие ярким глянцем комья ваты из Америки или Австралии, и народ, видимо, с удовольствием их потребляет, позволяя английским яблокам гнить под деревьями. Гладкие, ровные, словно наштампованные американские яблоки людям милее, а чудесный вкус английских яблок они просто перестали ощущать. В любой бакалее брикеты упакованного в фольгу фабричного сыра и пачки маргарина с ярлыком «масло комбиниро-

ванное», полки всех, даже молочных магазинов забиты рядами отвратительных жестяных банок, всюду обилие шестипенсовых сладких рулетов и двухпенсовых стаканчиков мороженного, а также химической отравы, заливаемой в горло как пиво, поскольку так значится на этикетке. Куда ни глянь, гадость машинного изготовления торжествует над старомодным продовольствием, вкус которого отличается от опилок. Ситуация с пищей повторяется относительно мебели, зданий, одежды, книг, увеселений — всего, что составляет нашу жизненную среду. Для миллионов людей, их число растет с каждым годом, ревущее радио стало привычнее, даже органичнее, чем мычание стад и щебет птиц. Сохранись у человека, хотя бы у него во рту, уровень нормальных вкусовых ощущений, машинизация не продвинулась бы так далеко, поскольку масса ее изделий оказалась бы попросту отвергнутой. В здоровом мире не было бы спроса на консервы, аспирин, патефоны, стулья из железных труб, ежедневные газеты, пулеметы, телефоны, автомобили и т. п., зато имелся бы устойчивый спрос на продукцию, сделать которую машина не способна. Однако машинное производство процветает, неодолимо разлагая мир. Против него возражают, но остают-

ся его потребителями. Даже голозадый дикарь, явись он среди нас, за пару месяцев уразумел бы дефект нашей цивилизации. Машинный продукт портит вкус, испорченный вкус повышает спрос на машинные изделия, что ведет к еще большей машинизации, — порочной круг утвердился крепко.

Плюс еще одна тенденция, благодаря которой мир почти автоматически, хотим мы того или нет, стремительно машинизируется. Речь о том, что, постоянно имея стимул и материальную подпитку, способность современного западного человека изобретать, совершенствовать технику сделалась почти инстинктом. Новые машины изобретаются и улучшаются почти бессознательно, будто в сомнамбулическом сне. Раньше, когда жизнь на этой планете воспринималась не иначе как тяжкой и требующей огромных усилий, естественным виделось использовать неуклюжие орудия предков. Крайне редко какие-нибудь чрезвычайно оригинальные личности предлагали новшества; так что веками и тысячелетиями предметы вроде телеги, серпа или плуга оставались практически неизменными. Нам кажется, что шуруп известен с давних пор, однако до середины девятнадцатого века никто

не додумался заострить его кончик, и многие столетия для ввинчивания тупоконечных шурупов приходилось сначала выдалбливать отверстия. Невероятная в наши дни косность. Теперь едва ли не у каждого на Западе есть хоть способность придумать какую-то новинку; западный человек изобретает технику так же органично, как полинезиец плавает. Дайте западному человеку задание что-то изготовить вручную, он тут же начнет придумывать механизм для выполнения работы, а дайте ему механизм, он тут же займется его усовершенствованием. Мне хорошо известна данная наклонность, поскольку — пусть в самом малопродуктивном варианте — она имеется и у меня. Не обладающему ни умением, ни терпением изобрести что-то реальное, мне все же постоянно видятся призраки устройств, способных облегчить труд моих мускулов или мозгов. Какие-то из этих призрачных штуковин человек технически более одаренный сумел бы, вероятно, даже соорудить и применить. Правда, в нашей экономической системе создание (точней, внедрение в производство) самой полезной вещи целиком зависит от ее коммерческой выгоды, а потому социалисты правы, утверждая, что при социализме технический прогресс пойдет

много быстрей. Хотя прогресс при любом строе не остановить, капитализм пренебрегает всем, не обещающим скорую прибыль, а порой хоронит изобретения столь же безжалостно, как гибкое стекло из рассказа Петрония[186]. Например, несколько лет назад один талант изобрел патефонную иглу, способную служить десятки лет; крупная патефонная фирма купила у него патент, и больше об этой игле никто не слышал. Устранив критерий наживы, социализм даст волю изобретателям; машинизация уже не пойдет, а помчится.

Перспектива довольно жуткая, ибо уже сегодня ясно, что процесс вышел из-под контроля. Ускоряется он теперь в силу привычки. Химик совершенствует синтетический каучук, механик конструирует новый поршневой палец... зачем? Цель несколько туманна — инстинктивно действует импульс изобретать и улучшать. Отправьте пацифиста трудиться на пушечном заводе, через два месяца он вам представит улучшенный снаряд. Отсюда появление отравляющих

---

[186] notes: 186

Речь об эпизоде из «Сатирикона» римского писателя Гая Петрония Арбитра. Рассказ о стекольщике, который изобрел и продемонстрировал Цезарю гибкий, небьющийся стеклянный фиал, после чего правитель из страха, что такое стекло обесценит золото, повелел казнить изобретателя.

газов и прочих адских кошмаров, от которых сами изобретатели не ждали блага для человечества. К вещам вроде отравляющих газов мы обязаны относиться, как король Бробдингнега к пороху[187]. Однако нас, живущих в научно-техническую эпоху, гипнотизирует убеждение в том, что нельзя тормозить «прогресс», ограничивать знание. На словах мы согласны — машина для человека, а не человек для машины. На практике любая попытка усомниться в правильном развитии техники воспринимается как покушение на святость знаний, а потому своего рода кощунство. И даже если человечество дружно восстало бы против машин, решило бы бежать в спасительно простой, надежный образ жизни, спастись оказалось бы трудновато. Мало было бы, как в «Едгине» Батлера, разломать все современную механику — пришлось бы сокрушить привычное мышление, которое быстро создаст уйму новых машин на обломках старых. А это мышление в разной мере, но свойственно нам всем. Всемирная армия ученых и инженеров тащит по пути «прогресса» нас, остальных, еле поспевающих, но торопящих-

[187] notes: 187

В романе Свифта Гулливер предлагает королю Бробдингнега, страны великанов, получить секрет пороха и завладеть всем миром, но добрый король гневно отвергает «столь выгодное предложение».

ся за ними со слепым муравьиным упорством. Меньшинство людей хочет, большинство очень не хочет так двигаться, и все-таки движение продолжается. Процесс машинизации сам стал машиной, сверкающим огромным лимузином, мчащим нас невесть куда. По-видимому, к пуховым перинам светлых утопий и закупоренным в склянке мозгам.

Вот отчего возникает протест против машины. Неважно даже, насколько он обоснован. Важно, что подобные возражения отзываются в каждой душе, не приемлющей машинную цивилизацию. И, к сожалению, из-за вбитой в головы связки «социализм — прогресс — техника — Россия — трактор — гигиена — техника — прогресс» людям, которых машинная среда угнетает, обычно противен и социализм. Тот, кому ненавистны центральное отопление и стулья из железных труб, это, как правило, тот же, кто при упоминании социализма бормочет насчет «общинного муравейника» и, страдальчески морщась, удаляется. По моим наблюдениям, редкие социалисты понимают, отчего так, или хотя бы это замечают. Отловите социалиста из самых речистых, изложите ему основные пункты этой главы и послушайте его ответы. Я их выслушал столько

раз, что знаю наизусть.

Во-первых, вам скажут, что невозможно «отменить прогресс», «повернуть его вспять» (словно это сотни раз не случалось в человеческой истории!). Далее вас обвинят в апологии средневековья и начнут разливаться насчет стародавних ужасов, не забыв о проказе, инквизиции и т. п. Впрочем, обличение канувших веков для певцов современности тема побочная, главным номером их программы является дифирамб сегодняшнему человеку, с его невиданно высокими запросами, его неслыханно высоким жизненным стандартом. Обратите внимание, что все это пока не ответ. Нелюбовь к механизированному будущему вовсе не означает непременных реверансов перед какой-либо прошлой эпохой. Превзойдя ученых-историков расторопным умом, Герберт Лоуренс нашел идеал в жизни этрусков (чрезвычайно подходящих по причине почти полной нашей неосведомленности о них). Но в идеализации этрусков и пеласгов, шумеров и ацтеков, иных исчезнувших экзотических народов нет надобности. Картина чаемой прекрасной жизни не нуждается в подтверждающих реальностях исторических аналогий с указанием времени и места. Вернув собеседника к теме разговора, на-

стоятельно объясните, что вас не тянет к жизни замысловатой и комфортной, что вам, напротив, хочется жить проще и трудней. Тогда социалист определит это желанием вернуться к «натуральности», подразумевая вонючую первобытную пещеру, словно ничего не имелось между кремневым скребком и сталелитейными заводами Шеффилда, плетеными лодками и океанским лайнером «Куин Мэри».

В конце концов, вы все-таки получите достаточно внятный ответ, звучащий примерно так: «То, что вы говорите, может быть, неплохо. Да, несомненно, было бы достойно и красиво стать крепче, жить без аспирина, центрального отопления и т. д. Но дело, видите ли, в том, что всерьез никто не стремится к этому. Это означало бы вести крестьянскую жизнь, то есть зверски надрываться, а не играть в селянина, возделывая клумбы. Но я не хочу непосильной работы, вы не хотите и никого, изведавшего деревенский труд, подобный путь не манит. А у вас такие мечты лишь потому, что вам не приходилось пахать от зари до зари...».

Вот это уже ближе к правде, к тому, что можно было бы выразить честно и коротко: «Мы слабы, так давайте и дальше нежить нашу слабость!».

Машина, повторю это, нас подчинила, сбежать от нее будет весьма трудно. Однако и конечный ответ социалиста все-таки снова отговорка, поскольку огрублен ёмкий глагола «хотеть». Допустим, я тот самый, до некоторой степени разумный современный человек, который умрет, если утром не выпьет чашку чая и не получит в пятницу очередной номер «Нью Стейтсмена». Ясно, что изнурять себя крестьянскими трудами мне «не хочется» в том смысле, в каком мне «не хочется» поменьше пьянствовать, платить долги, делать зарядку, хранить верность жене и пр. Но в ином, более глубоком смысле хочется мне как раз всего перечисленного, и в этом смысле я хочу цивилизации, где «прогресс» не сводится к сотворению теплицы для отупевших людишек. Аргументы, приведенные мною от лица социалистов, книжных социалистов-теоретиков, фактически исчерпывают все, что удалось от них услышать, когда я тщился рассказать, чем они отгоняют возможных сторонников. Ну и еще, конечно, излюбленный их аргумент насчет того, что, нравится это людям или не нравится, социализм неизбежно победит в силу такой успокоительно-спасительной штуки, как «историческая необходимость». Хотя этой всесильной

«исторической необходимости» (точнее, горячей вере в нее) отчего-то не удалось пересилить Гитлера.

Между тем думающий человек, разумом склонный к левизне, а по чувствам скорее консерватор, нерешительно медлит у врат храмовой общины социалистов. Идея видится ему прекрасной и насущной, но, поглядев на занудных прихожан, не вдохновившись их тусклыми идеалами, он сворачивает в сторону. До недавнего времени ему естественно было свернуть к индифферентности. Лет пять-десять назад типичный благородный литератор писал книги о барочной архитектуре и презирал политику. Но это стало менее уютным, вышло из моды. Эпоха ужесточилась, проблемы не прояснились, уверенность, что все навеки останется неизменным (то есть на ваши дивиденды никто не покусится), пошатнулась. Сидеть на ограде, сверху наблюдая события, раньше было комфортно, как на подушках церковных скамей высшего духовенства, но забор стал неудобным сидением и заставляет ерзать — у благородного литератора все больше оснований занять определенную сторону. Интересно отметить, что большинство наших значительных авторов, еще недавно исповедовавших искусство для искус-

ства и полагавших чересчур вульгарным даже голосовать на выборах, сегодня обретают личный политический взгляд, а молодые писатели (по крайней мере, не из числа явных трепачей) с юности увлечены политикой. Я очень опасаюсь, что в момент угрожающего кризиса интеллигенция массово рванет к фашизму. Когда именно грянет кризис, сказать трудно; все, надо полагать, зависит от ситуации в Европе, но, возможно, в пределах двух ближайших лет, а может, даже года. Тогда человек с мозгами и достоинством нутром почувствует необходимость принять сторону социалистов. Однако ввиду груза старых предрассудков далеко не каждый сам на это решится. И потому надо успеть убедить человека — убедить методами, принимающими в расчет его точку зрения. Социалистам непозволительно и дальше впустую тратить время на свои догматичные проповеди. Их задача — быстро, безотлагательно ширить ряды приверженцев социализма, а не плодить фашистов, как это часто у них получается.

Говоря о фашизме в Англии, я не обязательно представляю Мосли[188] и его прыщавых почита-

[188] notes: 188

Мосли, Освальд (1896–1980) — английский политик, баронет, основатель Британского союза фашистов.

телей. Английский фашизм, если он возникнет, будет, конечно, солидней, элегантней (поначалу, наверное, и называться фашизмом не будет); вообще сомнительно, что опереточный вождь типа Мосли у большинства англичан способен вызвать что-либо кроме насмешки. Впрочем, шутовской вид Мосли может ему и поспособствовать. Для политического восхождения (вспомним карьеры Гитлера, Наполеона III) иногда полезно, чтобы лидера не сразу восприняли всерьез. Но меня сейчас занимает явная у некоторых искушенных мудрецов симпатия к фашистам. Фашизм, каким он видится такому интеллектуалу, это своего рода зеркальное отражение социализма, неверно понятого, пародийного конечно, но вызывающего протест из желания во всем идти наперекор «социалистам». И если вы позволяете видеть социализм в дурном и ложном свете — позволяете по указке самодовольных узколобых марксистов считать его идеи пренебрежительным выплескиванием за борт европейской культуры, вы рискуете толкнуть людей к фашизму, заставляете нервного интеллектуала занять такую яростно-оборонительную позицию, в которой он глохнет для любых доводов. Подобные настроения уже вполне отчетливы у ряда крупных мастеров

(Эзра Паунд, Уиндхем Льюис, Рой Кэмпбелл...), у многих католических авторов, у сторонников «кредита Дугласа»[189], некоторых популярных романистов и даже, если копнуть поглубже, у столь превосходящего обычных консервативных умников Элиота и его бесчисленных последователей. Хотите наглядно убедиться в растущем среди англичан сочувствии фашизму, почитайте газетные читательские письма с поддержкой действий итальянцев в Абиссинской войне, а также восторги (см. «Дейли Мэйл» от 17 августа 1936) англиканского и англокатолического клира по поводу фашистского мятежа в Испании.

Чтобы сражаться с фашизмом, надо уяснить то привлекательное, что содержится в нем наряду с основной мерзостью. На деле фашизм, конечно, просто бесстыдная тирания; методы достижения им власти таковы, что даже апологеты фашизма предпочитают о них не говорить. Но чувство — чувство, импульсивно влекущее в лагерь фашистов, — может быть вовсе не столь низменным. Не всегда это ужас от рассказов о большевистской кровожадности, которыми обожают пугать воскресные еженедельники. По-

[189] notes: 189

Дуглас, Клиффорд (1879–1952) — британский инженер, автор популярной в свое время экономической теории «социального кредита».

трудившийся кинуть свой взгляд обнаружит, что рядовой фашист зачастую представляет собой благонамеренного обывателя, встревоженного, например, ужасным положением безработных. Фашизм притягивает не только консерваторов крайне скверного пошиба, но и вполне порядочных консервативно настроенных людей. Уважение к традиции и дисциплине — уже почва для этой притягательности. А тому, кто по горло сыт топорной, абсолютно бестактной социалистической пропагандой, легче, вероятно, увидеть фашизм последним бастионом западной культуры. Даже отъявленный фашистский бандит с дубинкой и касторкой для допросов не обязательно ощущает себя бандитом, скорее — Роландом в Ронсевальском ущелье, защитником христианского мира от варваров. И нельзя не признать, что повсеместному росту фашизма в значительной мере способствовали промахи самих социалистов. Отчасти ошибочная коммунистическая тактика саботировать демократию (рубить сук, на котором сидишь), но главным образом неумение представить людям свои доводы, так сказать, верной стороной. Социалисты не старались ясно донести, что цель социализма — справедливость и свобода. Сосредоточившись

на факторах экономических, игнорируя наличие человеческой души, явно или неявно они декларировали идеал сугубо материалистический. В итоге фашизм получил возможность играть на инстинктивно возникающем у человека протесте против гедонизма и дешевой концепции «прогресса», получил возможность изображать себя опорой европейской традиции, апеллировать к христианской вере, патриотизму и воинской чести. Речи о фашизме как о «повальном истерическом садизме» или ином массовом психозе не просто тщетны, они пагубны. Убеждая себя и других, что это лишь временное умопомрачение, которое пройдет само собой, вы грезите во сне, от которого вас разбудят ударом резиновой дубинки. Единственно необходимый путь — исследовать фашистскую аргументацию, понять ее позитивные моменты и ясно показать людям, что все, способное привлечь в фашизме, изначально содержит и социализм.

Ситуация отчаянная. Даже если не произойдет ничего худшего, улучшения обстоятельств, описанных в первой части данной книги, при нашей нынешней системе не предвидится. Зато угроза фашизации Европы стремительно растет. И если не удастся очень быстро и широко

распространить систему живых, действенных социалистических идей, нет никакой уверенности, что фашизм когда-нибудь будет низвергнут. Перед социализмом сейчас единственный враг — фашизм. Власти империалистических стран, хотя им тоже грозит пасть жертвой бандитов, по-настоящему бороться с фашизмом не станут. Правители наши (те из них, кто способен оценить проблему) скорее раздадут все заморские территории Британии итальянцам, немцам и японцам, чем позволят социализму восторжествовать. Легко было смеяться над фашистами, пока их знаменем виделся лишь кликушеский шовинизм, пока казалось, что эти государства «избранных» наций вот-вот сцепятся в драке и перебьют друг друга. Но ничего подобного; фашизм стал международным движением, обнаружив не только способность к объединению ради грабежа, но и некие, может еще не до конца оформленные, претензии на весь мир. Мечту о государстве сменила мечта о планетарном господстве. Как мной уже отмечалось, развитие техники непременно ведет к той или иной форме коллективизма, однако совсем не обязательно требует равенства, то есть социализма. При всем уважении к марксистам-экономистам, отчего

ж не представить единое мировое общество, в экономической части коллективистское (изгнавшее критерий наживы), но в сфере политики и культуры полностью подавленное узкой кастой повелителей с их головорезами. Примерно этого и добиваются фашисты. Режим подобного государственного, точнее мирового рабовладельческого строя мог бы оказаться весьма прочным — рационально используемых ресурсов земли хватило бы надолго; да и рабы, возможно, содержались бы в сытости и довольстве. Называть фашистский предел мечтаний «муравейником» это незаслуженно обижать муравьев — уместнее образ курятника под управлением хорьков. Вот против такой гнусной перспективы мы и должны объединиться.

А единственное, за что нам надо бороться, — свобода и справедливость, ведущий принцип социализма. Хотя «ведущий» как-то перестало соответствовать. Идеал почти полностью забыт. Погребен под горой догматизма, доктринерства, партийных склок и скудоумных панегириков «прогрессу», как бриллиант под грудами навоза. Задача социалиста вновь извлечь алмаз на свет. Свобода и справедливость! Эти слова должны разбудить мир призывом сигнального

горна. Последние годы, последние десять лет уже явственно, все шло кувырком, вдохновенная музыка заглохла. Мы достигли той точки, когда само слово «социализм», с одной стороны, вызывает представление о самолетах, тракторах, заводах из бетона и стекла, а с другой — о толпе странных фигур, среди которых козлобородые вегетарианцы, большевистские комиссары из породы гибридов гангстера с граммофоном, возвышенные леди в сандалетах, лохматые марксисты с их жвачкой многомудрых терминов, бывшие квакеры, фанатики ограничения рождаемости и подлипалы парламентских лейбористов. Социализм — по крайней мере, на нашем острове — не пахнет более бунтарством и свержением тиранов; пахнет он нелепым чудачеством, культом машин и тупым преклонением перед Россией. Не получится, причем очень быстро, выветрить этот запашок — победу одержит фашизм.

13

И, наконец, что же конкретно можно сделать?

Заметки в первой части моей книги иллюстрируют наше общее бедственное положение; во второй части я пытался показать, почему, на

мой взгляд, столько нормальных порядочных людей, отвергая единственный способ выбраться из ямы, не приемлют социализм. Очевидная неотложная необходимость — привлечь к себе этих людей, пока фашизм не пустил в ход свои козыри. Не хочу поднимать вопрос различных партийно-политических методов. (Разногласия неактуальны: сегодняшняя угроза фашизма несомненно создаст тот или иной Народный фронт). Важнее любых партийных ярлыков — эффективное распространение социалистической идеи, с тем чтобы подготовить людей к соответствующим действиям. Имеются, я верю, миллионы тех, кто бессознательно сочувствует кардинальным целям социализма, кого удалось бы достаточно быстро убедить, найдя слова, способные их тронуть. Каждый, кто испытал материальные тяготы, каждый, в чьем сердце ненависть к войне и тирании, потенциально на стороне социалистов. Ну, а моя задача сейчас предложить, кратко наметить, пути восстановления дружбы между социализмом и наиболее разумной частью его противников.

Я подразумеваю здесь противников, которые сами себе враги, ибо им ясно, что капитализм есть зло, да только их мутит и передергивает при упо-

минании социализма. Причин отвращения, как уже отмечалось, две: персональная узколобость многих социалистов, а также привычное отождествление социализма с концепцией вульгарно примитивного «прогресса», чему противится чувство традиций, врожденное эстетическое чувство. Позвольте начать со второго пункта.

Столь характерная для чутких людей неприязнь к «прогрессу» и машинной цивилизации — позиция исключительно оборонительная. Неприязнь эта, однако, еще не причина отвергать социализм, поскольку никакой хоть сколько-то реальной альтернативы неприятному прогрессу нет. Утверждая: «Я против механизации, стандартизации и потому против социализма», вы тем самым говорите: «Мне было бы стократ лучше без всяких машин», а это уже чепуха. Все мы иждивенцы техники, и если бы она вдруг разом отключилась, большинство из нас не вынесло бы катастрофы. Вы вправе, и у вас, пожалуй, есть все основания ненавидеть засилье машин, но о том, чтобы их принять либо отвергнуть, вопрос не стоит. Машинная цивилизация состоялась, мы стали ее частью, критиковать ее теперь возможно лишь изнутри. Только романтичные олухи способны растабаривать о своем бегстве от нее,

вторя литературным господам в их живописных виллах с ванной и теплым клозетом или «настоящим мужчинам», которые отправляются жить «первобытной жизнью», прихватив автоматическую винтовку и четыре фургона консервов. И почти нет сомнений в дальнейшем победном шествии машин, ибо надежд на то, что они сами себя остановят или уничтожат, маловато. Какое-то время назад в моде были рассуждения о войне, которая теперь обернется «гибелью цивилизации», но, хотя в сравнении с грядущей большой войной все прежние покажутся играми, вряд ли даже такой кошмар положит конец развитию техники. Конечно, столь уязвимую для воздушных атак страну, как Англия (а то и всю Западную Европу) можно обессилить несколькими тысячами метко сброшенных бомб, но битва, разом истребляющая промышленность всех стран на свете, пока невозможна и немыслима. В общем, как ни желательно многим вернуться к более простому, не зависящему от машин существованию, желанного возвращения не предвидится. Это не фатализм, а констатация факта. Что же касается неприятия социализма ввиду нежелания получить государство-муравейник, так ведь и муравейник, увы, тоже состоялся. В данный

момент выбор не между большей или меньшей степенью гуманности. Просто — между социализмом и фашизмом, который несколько лучших своих пунктов заимствовал из социализма, а вот достоинства его не взял.

Так что задача тонко мыслящих людей не списывать социализм в утиль, но делать социализм умнее, человечнее, духовнее. Когда социалистическая система обретет реальность, тогда умеющие видеть фальшь «прогресса» ему воспротивятся, и вот тогда это будет их долгом, их специальной миссией. В мире машин они должны будут стать некоей постоянной оппозицией, что не имеет ничего общего с обструкционизмом либо предательством. Однако все это относительно будущего. Теперь же всякий порядочный человек, будь по характеру он консерватор или анархист, обязан содействовать социалистам. Ничто иное не спасет нас от нынешних бед и грядущих кошмаров. Противостоять социализму сегодня, когда двадцать миллионов англичан едва сводят концы с концами, а фашизм подчинил пол-Европы, самоубийственно. Это как развязать гражданскую войну в момент вторжения варваров.

И конечно, надо преодолеть барьер предубеж-

дений чисто нервических. Упоминалось о большом количестве людей, которых отвращает не социализм, а племя социалистов. Социализм в нынешнем его бытовании противен часто оттого, что видится забавой чудаков, доктринеров, салонных большевиков. Но нужно понимать, что подобная публика на авансцене лишь до поры, пока движением не овладел народ пристойный, с более крепкими мозгами. Когда движение облагородится, странные неприятные типы отхлынут, уйдут в тень. Пока же следует, сжав зубы, их игнорировать, для дела они не нужны. А наше дело, наш долг — борьба за свободу и справедливость. За истинный социализм, который, если отсеять всякую шелуху, означает именно это — свобода и справедливость. И сейчас надо помнить только суть. Чураться социализма из-за обилия толпящихся при нем тупиц и клоунов так же абсурдно, как отказаться ехать поездом, поскольку вам противно лицо вагонного проводника.

И относительно самих социалистов — социалистов из числа теоретически подкованных, активно выступающих на митингах и в прессе.

Мы в ситуации, когда всем представителям левого лагеря отчаянно необходимо, притушив свои разногласия, сплотиться. Понемногу это уже

начинает происходить. Далее, очевидно, бескомпромиссным социалистам все же потребуется наладить союз с людьми не столь твердых левых убеждений. Недоверие социалиста к подобным союзам, как правило, резонно: пугает опасность превратить красное движение в нечто бледно-розовое, еще менее полезное, чем парламентская группа лейбористов. Скажем, действительно есть риск, что наметившийся вроде социалистический по духу Народный фронт явится просто политическим маневром против итальянского и немецкого (не английского) фашизма. Необходимость объединиться перед лицом фашистской угрозы и впрямь может втянуть социалиста в альянс с его худшими врагами. Но обязательно надо искать соратников; тактические союзы с кем бы то ни было не опасны, если на первом плане у тебя основы твоего движения. А каковы они? Что отличает настоящего социалиста? Я полагаю, истинный социалист — тот, кто стремится — не только мечтает, но стремится — увидеть тиранию павшей. Правда, большинство ортодоксальных марксистов не приняли бы, вероятно, мое определение или приняли бы весьма неохотно. Иногда, слушая их, особенно читая их работы, появляется впечатление, что для них все занятие

социализмом сводится к охоте на ересь: прыгать бешеным колдуном и бить в тамтамы, завывая: «Чую-чую, веет духом правых уклонистов!». Из-за таких вещей гораздо легче и приятней ощущать себя социалистом среди пролетариев. Пролетарский социалист, как и пролетарский католик, в доктрине не силен и, открыв рот, частенько завирается, зато ухватывает суть. Ему понятно главное: социализм уничтожает гнет, и «Марсельеза», если бы ему перевести текст песни, тронула бы его глубже трактатов по диалектике материализма. Ни к чему сегодня настаивать, чтобы вступление в ряды социалистов означало присягу марксистской философии плюс льстивое поклонение России. Нет времени формировать лигу диалектических материалистов, необходим блок угнетенных против угнетателей. Нужно, привлекая дельных людей, отмести краснобаев-либералов, жаждущих убрать иностранных фашистов, дабы по-прежнему беспрепятственно получать свои заграничные дивиденды; надо отогнать пустозвонов с резолюциями «против фашизма и коммунизма», то есть против и крыс и крысиного яда. Социализм — ниспровержение тирании всюду: как за границей, так и у себя. Установите этот твердый ориентир, и у вас не воз-

никнет больших сомнений относительно того, с кем вам по пути. Что касается некоторых разногласий, глубочайшее философское расхождение — мелочь в сравнении со спасением двадцати миллионов англичан, чьи организмы хиреют из-за скверного питания; так что давайте-ка отложим теоретические споры.

Я не считаю, что социалисты должны поступаться принципами, но многим из привычных атрибутов пожертвовать просто необходимо. Было бы, например, крайне полезно устранить въевшийся в образ социалиста привкус нелепой эксцентричности. Хорошо было бы собрать в кучу и сжечь все эти сандалеты, балахоны, зеленые рубахи, а всем этим вегетарианцам, трезвенника, сладко блеющим мистикам уехать заниматься йогой в их замечательный Уэлвин-Гарден-Сити[190]! Но это, боюсь, недостижимо. Однако тем социалистам, кто поумней, вполне возможно прекратить отпугивать потенциальных сторонников вредным и совершенно неуместным стилем поведения. Так много мелкого самодовольства, которое легко попридержать.

---

[190] notes: 190

Имеется в виду не только данный городок в Хартфордшире, но тип подобных общинных поселений, где культивировался специфичный образ жизни «в гармонии с красотой и природой».

Скажем, угрюмо-начетнический взгляд типичного марксиста на литературу. Из массы памятных примеров приведу лишь один. Он ярок при всей тривиальности. В газете «Уокер Уикли» (одной из предшественниц «Дейли Уокер») имелась колонка бесед с читателями под названием «Книги на редакторском столе». Несколько недель там изображалось обсуждение творчества Шекспира, и один из подписчиков в досаде написал: «Дорогой товарищ! Надоело слушать про буржуазных авторов вроде Шекспира. Разве нельзя поговорить о писателях пролетарских... и т. д.». Ответ редактора был прост: «Просмотрев алфавитный указатель к тексту «Капитала», — сообщил он, — вы обнаружите, что Шекспир несколько раз был упомянут Марксом». Читатель, конечно, притих. С благословения Маркса Шекспир обрел уважение. Вот уровень ментальности, из-за которой нормальный человек шарахается от социалистов. Не стоит укреплять авторитет Шекспира подобным методом. И затем ужасный жаргон, который полагают обязательным практически все социалисты. Не вдохновляют эти «буржуазная идеология», «пролетарская солидарность», «экспроприация экспроприаторов» — от них становится тошно. Даже затертое и потерявшее

значение «товарищ» подрывает доверие к социализму. Сколько прохожих раздумывали, не пойти ли на митинг, но, поглядев на сознательных социалистов, величающих друг друга «товарищ», решительно шагали в ближайший паб! Здоровый инстинкт — кому нужно, чтоб ему прилепили смешной бессмысленный ярлык, который даже после долгой практики не выговаривается без некоторого стыда? Поддерживать представление о том, что социалисты непременно носят сандалеты и бубнят насчет «диалектики материализма», губительно. Либо наглядно убедить, что в социалистическом движении можно быть человеком, либо дело проиграно.

За всем этим встает огромная, сложнейшая проблема. И означает она, что к вопросу социальных различий помимо грубой мерки материального достатка надо подходить честнее, внимательнее чем до сих пор.

Сложностям в связи с расслоением общества, я посвятил три главы. Главное тут, на мой взгляд, что английская классовая система, пережив свой расцвет, продолжает жить и не показывает никаких признаков отмирания. Это так запутывает ситуацию, что ортодоксальные марксисты (к примеру, Эли Браун в небезынтересной ра-

боте «Судьба средних классов») предпочитают определять социальный статус по цифре дохода. С экономической точки зрения, действительно есть лишь два класса: богачи и бедняки, но социально существует хитрая иерархия слоев, традиции которых впитываются с раннего детства и — главное — прочно сохраняются до конца жизни. Индивидуальные примеры несоответствия делению по простому экономическому принципу всюду. Вот такие писатели, как Герберт Уэллс и Арнольд Беннет, которые, достигнув высот материального благополучия, сохранили пуританскую честность низов среднего класса, а вот миллионеры, так и не сумевшие освоить грамотное произношение верхов. Вот лавочники, чей доход гораздо ниже, чем у каменщиков, однако сами они (и все общество) считают положение мелких торговцев несравненно более высоким. Вот ученик обычной муниципальной школы, ставший управителем заморской провинции, а вот воспитанник элитной школы, ныне торгующий по домам пылесосами. Если бы социальная стратификация четко определялась материальным положением, воспитанник элитной школы, как только заработки у него сравнялись с бедняцкими финансами, заговорил бы языком

малоимущих масс. А он? Напротив, он вдесятеро крепче, как за спасательный трос, хватается за любой знак своего благородного воспитания. И полуграмотный миллионер хоть и копирует произношение дикторов Би-би-си, но редко достигает успехов в маскировке. В культурном отношении покинуть слой, которому принадлежишь от рождения, необычайно трудно.

С общим падением благосостояния социальные аномалии становятся массовым явлением. Невежд-миллионеров, правда, не прибавляется, зато все чаще питомцы престижных школ торгуют пылесосами, все больше разорившихся мелких хозяев вынуждены идти в Работные дома. Целыми группами населения люди среднего класса постепенно пролетаризируются, хотя — и это важный пункт — перспективу пролетаризации они (по крайней мере, в первом поколении) не приемлют. Взять, например, меня, с моим буржуазным воспитанием и пролетарским доходом. Какому классу я принадлежу? Экономически — явно «рабочему», но как представить себя не принадлежащим «буржуазному»? И, предположим, надо занять чью-то сторону — на чью же сторону я должен встать: верхов, сживающих меня со света, или же пролетариев с их абсолютно

чуждым обиходом? Что касается лично меня, в критический момент я буду с рабочим классом. Ну а десятки, сотни тысяч других, оказавшихся в этой позиции? А как насчет гораздо более многочисленной, включающей уже миллионы, армии клерков и других мелких служащих, чьи традиции не столь уж буржуазны, но кому наверняка не понравится, если назвать их пролетариями? У этих представителей среднего класса те же заботы и те же враги, что у рабочих: всех грабит, унижает та же система. Но сколько из них это понимают? Слегка поднимется уровень жизни, и они снова, в одной фаланге с притеснителями, встанут против естественных своих союзников. Средний класс, доведенный до края нищеты и все-таки хранящий в сердце непримиримость антипролетарских чувств, — готовая опора фашистским лидерам.

Ясно, что надо пока не поздно увлечь этот эксплуатируемый средний класс движением социалистическим. Прежде всего, увлечь конторских служащих — их ведь такое множество, что, грамотно объединившись, они будут огромной силой. Ясно и то, что ничего подобного еще не делалось. Известный стереотип: последний, в ком можно надеяться найти искру бунтар-

ства, — клерк или коммивояжер. Но почему? В значительной степени, думаю, по причине «пролетарского» перекоса пропаганды социалистов. Символом классовой борьбы в ней избраны мифические образы: «пролетарий», вольнолюбивый богатырь в темном фартуке молотобойца, и злой жирный «капиталист» в цилиндре и меховом пальто. Теоретически предполагается, что никого между этими фигурами не существует, а фактически в странах типа Англии примерно четверть населения — между. Твердя о «диктатуре пролетариата», позаботьтесь вначале элементарно объяснить, кто есть пролетариат. Ввиду тенденции идеализировать мускулистых работяг это всегда остается неясным. И кто из жалкого дрожащего полчища клерков и коммерческих агентов с заработком ниже, чем у шахтеров или портовых грузчиков, причислит себя к пролетариям? Пролетарий для них (так уж их научили) это человек без крахмального воротничка. Так что, пытаясь привлечь их речами о «классовой борьбе», удается лишь отпугнуть их: позабыв о цифре дохода и дорожа своим воротничком, они устремляются защищать класс, выжимающий из них все соки.

Здесь у социалистов работы непочатый край.

Необходимо четко, внятно показывать, где линия, разделяющая эксплуататоров и наемных работников. Прояснять главное: весь небогатый, незащищенный от угрозы увольнения народ в одной лодке и должен бороться сообща. Может быть, стоило бы чуть пореже рассуждать о «буржуа и пролетариях», почаще — о жертвах и грабителях. Во всяком случае, надо отбросить вводящую в заблуждение привычку изображать, что пролетарий это исключительно рабочий с молотом или киркой. До каждого клерка, инженера, коммивояжера, до любого оказавшегося на мели лавочника или мелкого чиновника необходимо донести, что они — пролетариат, что так же, как для землекопа или станочника, социализм это флаг их команды. Нельзя оставлять их с привычным представлением, что идет борьба между теми, кто изъясняется культурно, и теми, кто малограмотно комкает слова, — тогда они, конечно, будут держаться на «культурной» стороне.

Я говорю о том, что надо убедить людей разных сословий объединиться, уговорить их на время отставить моменты классовых различий. Звучит, конечно, подозрительно. Слишком напоминает летний лагерь герцога Йоркского, где разглагольствуют о солидарности британской нации и

дружных всенародных усилиях преодолеть тяготы, что отдает не то дурью, не то фашизмом, не то тем и другим. Не может быть сотрудничества классов, интересы которых противоположны. Какая дружба у капиталиста с рабочим? Кот не может сотрудничать с мышью, а если мышка так глупа, чтоб согласиться, недолго ждать, когда ее проглотят. Но вот на основании общих жизненных интересов сотрудничать вполне возможно. Все, у кого страх перед боссом и мороз по коже при мысли об арендной плате, должны действовать сообща: мелкий фермер и фабричный слесарь, конторская машинистка и шахтер, учитель и автомеханик. Есть некоторая надежда побудить их к этому, если удастся втолковать, в чем заключается их общий интерес. Но успеха тут не добиться, если агитировать, задевая социальные предрассудки, которые у многих столь же сильны, как соображения материальные. В конце концов, привычки и манеры банковского клерка действительно отличаются от манер и привычек портового грузчика, и ощущение превосходства сидит у клерка очень глубоко. Когда-нибудь, конечно, ему надо будет избавиться от своей спеси, но сейчас не лучший момент отчитывать, перевоспитывать его. Огромным преимуществом

обернулось бы прекращение бессмысленной травли, которую социалистическая пропаганда ведет относительно всяких житейских проявлений буржуазности. Все речи и тексты левых авторов — от первополосных статей в «Дейли Уокер» до отдела юмора в «Ньюс Кроникл» — украшены массой набивших оскомину и зачастую очень глупых насмешек над такими, по терминологии коммунистов «буржуазными ценностями», как благородное изящество или джентльменская честь. Стиль подобных уничижительных сарказмов когда-то и с определенным основанием был введен самими буржуа, но сегодня он просто вреден, поскольку подменяет мелочами главный вопрос. Отвлекает внимание от того важнейшего факта, что бедность есть бедность, орудуешь ты кувалдой или авторучкой.

Опять-таки вот я, с моим происхождением и моим средним заработком около трех фунтов в неделю. Такого, как я, было бы наверно полезнее иметь на стороне социалистов, нежели подталкивать к фашизму. Но если постоянно измываться над моей «буржуазной идеологией», если назойливо намекать на мою второсортность по причине неумелых физических трудов, добиться можно только моей враждебности.

Зачем-то вдруг понадобилось сообщать, что я уж от природы никудышный и должен изменить себя каким-то неведомым и неподвластным мне способом. Я не способен переделать на пролетарский лад свой выговор и, разумеется, свои вкусы, свой идеал, да и не стал бы никогда менять их. С какой стати? Я не прошу никого говорить в моей манере, так почему же меня призывают следовать чужим образцам? Гораздо лучше было бы принять как данность все эти непростительные классовые отметины и вообще минимально их касаться. Здесь есть подобие проблеме национальных, расовых различий, и опыт показал, что даже с чужеземцами, самыми неприятными из чужеземцев, можно сотрудничать, когда действительно необходимо. Экономически я в одной лодке с шахтером, землекопом, сельским пахарем, — напомните об этом, и я буду бороться в одном строю с ними. Но культурно я отличаюсь от шахтера, пахаря, землекопа, — уязвите меня этим, и я, возможно, пойду биться против них. Будь я отдельным странным типом, ну и ладно; но то, что верно для меня, верно для множества, колоссального множества людей. Каждый банковский клерк, в кошмарах видящий себя с нищенской торбой, каждый лавочник, баланси-

рующий на грани банкротства, примерно в том же положении. Они — тонущий средний класс, и большинство цепляется за старые сословные привычки с верой, что это держит их на плаву. Жестоко и неумно начинать разговор с ними приказом отбросить спасательные пояса. Велика опасность, что в ближайшие годы целые слои среднего класса резко повлечет вправо. И они станут грозной силой. Пока они слабы, поскольку не умеют объединяться, но если, отпугнув, вы их сплотите в союз против вас, считайте, что разбудили дьявола. Намек на такую вероятность мы наблюдали во время всеобщей забастовки.

Подведем итог. Нет шансов выправить внутреннюю ситуацию, описанную в первых главах этой книги, нет шансов уберечь Англию от фашизма, если не сделать социалистическую партию действительно эффективной. Партия должна стать по-настоящему решительной и достаточно сильной численно. И это достижимо, если мы предложим цель, желательность которой признает обычный приличный народ. Поэтому кроме всего прочего пропаганде следует поумнеть. Меньше насчет «классового сознания», «экспроприации экспроприаторов», «буржуазной идеологии» «пролетарской солидарности» и

неразлучных священных сестрах Тезе, Антитезе, Синтезе, — больше о справедливости, свободе и тяжелом положении безработных. И поменьше насчет индустриального прогресса, тракторов, Днепровской плотины, новой рыбоконсервной фабрики в Москве — прямого отношения к идее социализма эти вещи не имеют, но отгоняют многих, в том числе большинство владеющих пером. Все, что необходимо, это впечатать в сознание общества два пункта: первый — интересы всех, кого эксплуатируют, едины; второй — социализм совместим с традиционной благопристойностью.

Что касается чрезвычайно сложного вопроса классовых различий, единственно возможная сегодня тактика это вести себя тоньше и не распугивать людей успешнее, чем привлекать. И, прежде всего, охладить пыл чересчур назойливых стремлений изменить чей-то классовый стереотип. Если вы представитель буржуазии, наберитесь терпения и не кидайтесь заключить в объятия пролетарского брата — ему это, возможно, не понравится, а вы, не встретив понимания, обнаружите, что ваш снобизм не так мертв, как вам думалось. Если же по рождению или промыслу божьему вы пролетарий, не спешите глумиться над Славным Школьным Братством —

оно ведь, в частности, символизирует терпимость и благожелательность, которые, быть может, со временем пригодятся и вам.

Я все же верю, я надеюсь, что в живом действенном социализме, обеспеченном поддержкой большинства англичан, вопрос классовых противоречий решится быстрее, чем кажется сегодня. В ближайшие годы у нас получится или не получится создать ту партию социалистов, в которой мы нуждаемся. Не получится — вспухнет свой фашизм, гнусный по-своему: приторно-елейный и благородно переименованный, с вежливым полисменом вместо нацистских горилл, львом и единорогом[191] вместо свастики. Получится — будет борьба, самая настоящая, поскольку наши плутократы смириться с властью подлинно революционной не захотят. И когда народ действительно разойдется на два враждебных лагеря, то все сторонники социализма, встав в один ряд, смогут иначе взглянуть друг на друга. И тогда, может быть, вся эта хмарь классовых предрассудков рассеется, и мы, тонущий средний класс — школьный учитель, полуголодный журналист-внештатник, живущая на мизерную

[191] notes: 191
Лев и единорог — геральдические звери на гербе Великобритании.

пенсию одинокая дочь полковника, безработный выпускник Кембриджа, морской офицер без корабля, клерки, торговые агенты, трижды разоренные сельские бакалейщики — все мы плавно опустимся еще ниже, став рабочим классом, которым, собственно, давно являемся. И, вероятно, там окажется не так ужасно, как мы боялись. Ведь кроме безупречного произношения терять нам, в общем-то, и нечего.

1937